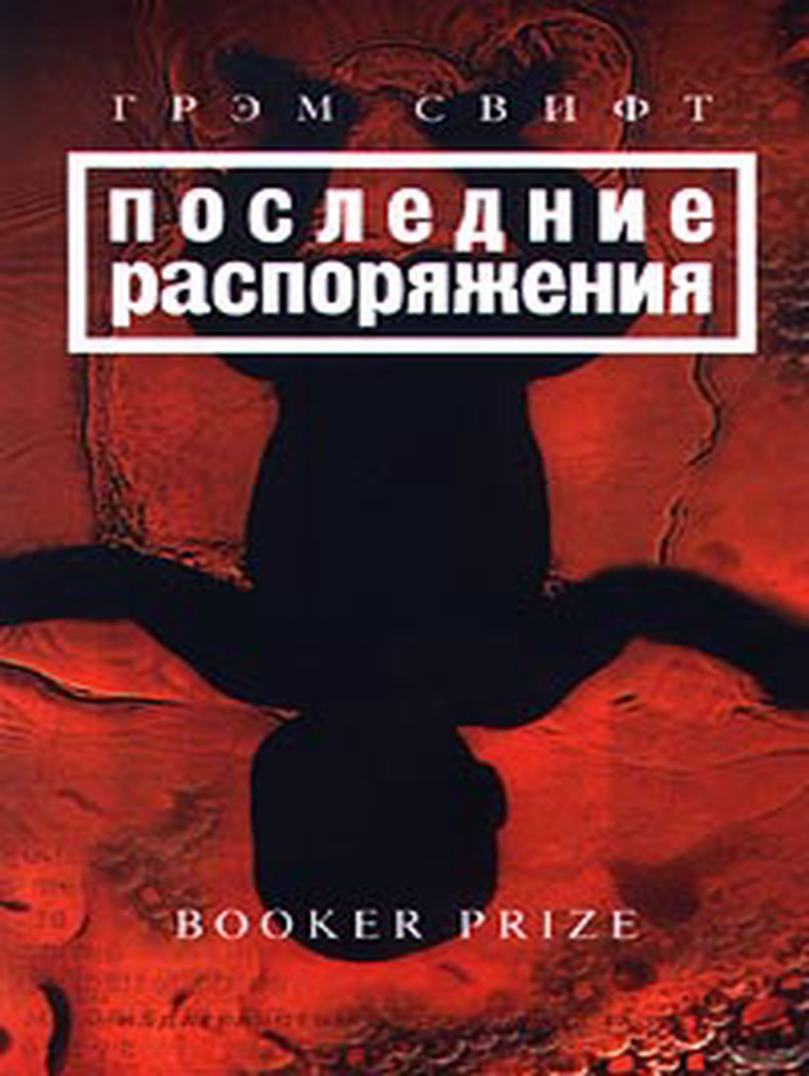
ГРЭМ СВИФТ

последние распоряжения



BOOKER PRIZE

Последние распоряжения
Грэм Свифт

Аннотация
Грэм СВИФТ. ПОСЛЕДНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
Бермондси
Рэй
Бермондси
Рэй
Олд-Кент-роуд
Эми
Нью-кросс
Винс
Рэй
Блэкхит
Винс
Рэй
Ленни
Дартфорд
Рэй
Винс
Ленни
Винс
Грейвсенд
Вик

Рэй
Винс
Рэй
Винс
Рочестер
Рэй
Четем
Вик
Рэй
Винс
Ленни
Рэй
Винс
Ленни
Четем
Вик
Ферма Уика
Рэй
Мэнди
Винс
Рэй
Ленни
Ферма Уика
Рэй
Винс
Рэй

Кентербери
Ленни
Вик
Винс
Рэй
Правила Рэя
Ленни
Вик
Рэй
Ленни
Вик
Рэй
Кентербери
Вик
Эми
Рэй
Эми
Вик
Рэй
Эми
Рэй
Маргейт
Винс
Эми
Маргейт
Эми

Рэй
Джек
Маргейт

Аннотация

Четверо мужчин, близких друзей покойного Джека Доддса, лондонского мясника, встретились, чтобы выполнить его необычную последнюю волю — рассеять над морем его прах. Несмотря на столь незамысловатый сюжет, роман «Последние распоряжения» — самое увлекательное произведение Грэма Свифта, трогательное, забавное и удивительно человечное.

Лауреат премии Букера за 1996 год.

Грэм СВИФТ
ПОСЛЕДНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

Посвящается Элу

Но человек есть Животное, полное Благородства, — он величав во прахе и торжествен в могиле.

Сэр Томас Браун. «Захоронения в урнах»

Как славно быть поблизости от моря.

Джон Гловер-Кайнд

Бермондси

День нынче, прямо скажем, необычный.

Берни наливает пинту и ставит ее передо мной. Он смотрит на меня, и я вижу на его нескладном собачьем лице вопрос, но он понимает, что у меня нет охоты болтать. Потому я и пришел сюда через пять минут после открытия — просто тихонько посидеть один на один со стаканом. Он видит мой черный галстук, хотя похороны были уже четыре дня назад. Я даю ему пятерку, он несет ее в кассу и возвращается со сдачей. Не сводя с меня глаз, очень аккуратно кладет монеты на стойку рядом с моим пивом.

— Теперь уж не то будет, верно? — говорит он, качая головой, и обводит бар таким взглядом, точно тут больше никого нет. — Не то.

Я отвечаю:

— Ты еще не видал, что от него осталось.

— Чего? — спрашивает он.

Я прихлебываю из своего стакана пену.

— Я говорю, не видал, что от него осталось.

Он хмурится, почесывая щеку, глядя на меня.

— Ну ясно, Рэй, — говорит он и отодвигается от

меня вдоль стойки.

Я и не думал с этим шутить.

Я делаю хороший глоток и закуриваю. Кроме меня, сюда залетели еще три-четыре ранние пташки, и место выглядит не лучшим образом. Здесь как-то голо, зябковато, тянет дезинфекцией. Из окошка падает пыльный солнечный луч. Сразу вспоминаешь церковь.

Я сижу и смотрю на старые часы, которые висят над стойкой. «Томас Слэттери, часовых дел мастер, Саутуорк». И бутылки рядами, как органные трубы.

Следующим появляется Ленни. Черного галстука на нем нет, он вообще без галстука. Кидает на меня быстрый взгляд, и мы оба чувствуем, что оделись неправильно.

— Я ставлю, Ленни, — говорю я. — Пинту?

— Не откажусь, — отвечает он.

Подходит Берни. Он говорит:

— Работаем по новому графику?

— Приветствую, — говорит Ленни.

— Пинту для Ленни, — говорю я.

— На пенсию вышел, Ленни? — говорит Берни.

— По годам-то пора бы, правда, Берн? Но я ж не Рэйси, вольная птица. Кто будет овощишками торговать?

— Но не сегодня, да? — отзывается Берни. Он наливает пинту и идет к кассе.

— Ты ему не сказал? — говорит Ленни, глядя на Берни.

— Нет, — отвечаю я, глядя в свой стакан, а потом на Ленни.

Ленни поднимает брови. Лицо у него грубое, красное. Оно всегда такое — кажется, вот-вот пойдет синяками. Он тянет себя за воротник там, где нет галстука.

— Да, не ждали, не гадали, — говорит он. — А Эми-то едет или как? В смысле, не передумала?

— Нет, — говорю я. — Похоже, едем только мы. Самые близкие.

— Он же муж ей, — говорит он.

Он берется за свой стакан, но пить медлит, точно сегодня даже пиво пьют по другим правилам.

— К Вику зайдем? — спрашивает он.

— Нет, Вик сам сюда придет, — говорю я.

Он кивает, поднимает свое пиво, потом вдруг останавливается, не донеся его до рта. Его брови подымаются еще выше. Я говорю:

— Вик придет сюда. С Джеком. Пей давай.

Вик появляется минут через пять. На нем черный галстук, да оно и понятно — ведь он владелец похоронного бюро, оттуда и пришел.

Но вообще-то он не при полном параде. На нем бежевый плащ, из кармана торчит кепка, словно он решил сразу взять правильный тон: он просто один из нас, это не официальное мероприятие, это другое.

— Доброе утро, — говорит он.

Я все думал, что он с собой принесет. Наверно, и Ленни тоже. Мерещилось что-то вроде такой картины: Вик открывает дверь в бар и шагает к нам, этак торжественно, а в руках держит маленький дубовый гробик с латунными украшениями. Но у него всего-навсего обычная картонная коробка под мышкой, коричневая, высотой с фут, а длиной и шириной дюймов по шесть. Он похож на человека, который только что разжился в магазине кафельной плиткой.

Он садится на табурет рядом с Ленни, кладет свою ношу на стойку, расстегивает плащ.

— Свежо на улице, — говорит он.

— Так это оно? — спрашивает Ленни, косясь на коробку. — Это он и есть?

— Да, — говорит Вик. — Что пьем?

— А что внутри? — говорит Ленни.

— А ты как думаешь? — отвечает Вик.

Он поворачивает коробку, и мы видим на другой ее стороне белую карточку, приклеенную

липкой лентой. Там стоит число, номер и имя: «ДЖЕК АРТУР ДОДДС». Ленни говорит:

— Я имею в виду, он же не просто так в коробке, верно?

Вместо ответа Вик берет коробку и открывает ее, подцепляя картонные клапаны большим пальцем.

— Мне виски, — говорит он, — сегодня такой день, пожалуй.

Он шарит в коробке и медленно вынимает оттуда пластмассовый контейнер. Он похож на большую банку растворимого кофе, с такой же завинчивающейся крышкой. Но это не стекло, а пластмасса — матовая, с легким бронзовым отливом. На его крышке еще один ярлычок.

— Вот, — говорит Вик и дает его Ленни.

Ленни неуверенно принимает контейнер, словно он не готов его взять, но и не взять не может, словно жалеет, что не успел лишний раз помыть руки. Похоже, он не ожидал такой тяжести. Он сидит на своем табурете, держа эту банку, не зная, что сказать, но я думаю, что у нас примерно одни и те же мысли. Все ли там внутри Джек, или это Джек, перемешанный с остатками других — тех, кто опередил его или отправился за ним следом. Так что в руках у Ленни может быть немножко от

Джека и немножко от жены кого-нибудь другого, например. А если это только Джек, то весь ли он там уместился или взяли сколько влезло в банку, ведь он был крупный мужик.

Он говорит:

— Не верится, правда? — Потом передает банку мне: давай, мол, твоя очередь, будто мы решили сыграть в какую-то игру. Кто точней угадает вес.

— Тяжелая, — говорю я.

— Насыпано под завязку, — говорит Вик.

Мне бы такую не наполнить, думаю я: не те габариты. Поразмыслив, решаю, что отворачивать крышку не стоит. Я возвращаю контейнер Ленни. Тот — Вику. Вик говорит:

— Куда Берн подевался?

Вик — крепкий, спокойный малый, из тех, на кого можно положиться, кто потирает руки, когда берется за дело. Руки у него всегда чистые. Он глядит на меня, держа банку, как будто только что преподнес мне подарок. Приятно думать, что хоронить тебя будет твой друг. Наверно, и Джеку это было приятно. Приятно знать, что твой дружок и обрядит тебя, и в гроб уложит, и сделает все как надо. Так что хорошо бы помереть раньше Вика.

Наверное, Джеку было приятно и то, что как раз

напротив его лавки, «Доддс и сын, свежее мясо», прямо через улицу, находится контора Вика с ее восковыми цветами, и мраморными плитами, и ангелом в окне со склоненной головой: «Таккер и сыновья, похоронные услуги». Приятно и утешительно, да и подходяще в некотором роде: трупы животных с одной стороны, человечьи с другой.

Может, потому-то Джек и не хотел оттуда перебираться.

Рэй

Я сказал Джеку: «Так она никуда и не доехала», а Джек сказал: «Чего, Рэйси? Не расслышал». Он сидел, наклонившись к Винсу.

Дело шло к последним заказам.

Я сказал: «Назвали ее „Карета четвериком“, а она так никуда и не доехала».

«Чего?» — отозвался он.

Мы сидели на табуретах у стойки, обычная позиция. Джек, Ленни, Винс и я. У самого молодого, Винса, был день рождения, сорок лет, так что мы все как следует поддали. А «Карете», если судить по часам, стукнула уже сотня. Я как раз смотрел на медные буквы, идущие полукругом по верху циферблата: «КАРЕТА ЧЕТВЕРИКОМ». И ниже: «Слэттери. 1884». Раньше я и внимания на это не обращал. А Винс уставился на новую барменшу Берни Скиннера — то ли Бренду, то ли Гленду. Вернее, на юбку, в которую она была втиснута — у нее, наверно, и сесть бы не получилось.

Я тоже не то чтобы на одни часы смотрел.

Джек сказал: «Винс, у тебя сейчас глаза лопнут».

«А у нее юбка», — откликнулся Винс.

Джек засмеялся. Видно было, как всем нам хочется снова стать такими, как Винси.

Я уж давненько не слыхал, чтобы Джек болтал с Винсом вот так запросто, по-приятельски. Может, оно и надо было — все ж таки у Винси праздник. Если, конечно, этот праздник был настоящий, потому что в тот же вечер, когда мы пошли отлить, Ленни сказал мне: «Как по-твоему, с чего он решил, что у него день рожденья? Джек-то с Эми ничего про это не знают. Они и метрики его никогда не видали. Моя Джоан думает, что Эми просто так взяла да и выбрала третье марта. Первое апреля лучше бы подошло, ты как считаешь?»

Ленни хлебом не корми, дай съязвить.

Мы стояли у писсуаров, покачиваясь, и я сказал: «Не, я про это как-то не думал. Ни разу за все годы».

«А про свой день рожденья я уж забывать начинаю, — сказал Ленни. — С тех пор как нам всем было по сорок, много воды утекло, верно, Рэй?»

«Порядочно», — сказал я.

«Ладно, чего теперь завидовать этому говнюку», — сказал Ленни. Он застегнулся и побрел прочь, пошатываясь, а я стоял, упершись взглядом в белый фаянс.

* * *

«Идиотское название для пивной», — сказал я.

«Чего-чего?» — сказал Джек.

«Да „Карета“, „Карета“, — сказал я. — Говорю ж тебе».

«Шутка в духе Рэя», — сказал Винс, глядя на Бренду.

«Если она стоит как вкопанная».

Джек отозвался: «Ну что ж, исправь это дело, Рэйси. Ты у нас спец по лошадиной части. Скажи Берни, чтобы погонял свой четверик».

«Кого я погонял бы, так это ее, — сказал Винс. — Ух, погонял бы».

«Я тебе погонялку оборву, — сказал Джек. — Если Мэнди этого вперед не сделает».

И вовремя он это сказал, потому что не прошло и полминуты, как входит Мэнди собственной персоной — забирать Винса домой. Она сидела у Джека, неподалеку, болтала там с Эми и Джоан. Винси ее не видит — глаза другим заняты, — а мы с Джеком видим, но помалкиваем, и она подходит к Винсу сзади, закрывает ему лицо ладонями и говорит: «Салют, лупоглазый, угадай кто?»

По фигуре ей уже с Брендой не тягаться, но для своих сорока без малого выглядит она неплохо.

Взять хотя бы шмотки — красная кожаная куртка поверх чего-то черного, кружевного. Она говорит: «Я за тобой, именинничек», и Винси тянет вниз ее руку, прикидывается, будто хочет укусить. На нем один из его фасонистых галстуков, в синих и желтых молниях, узел распущен. Он покусывает Мэнди за руку, а она снимает другую руку с его лица и шутливо сгребает его за грудки. Потом они поворачиваются к двери, а мы глядим на них, и Ленни говорит: «Экие голубочки», — и упирается языком в уголок рта.

Но не успевают они уйти, как Джек говорит: «А я, значит, не заслужил поцелуя?», и Мэнди отвечает: «Конечно заслужил, Джек», улыбается, и мы все смотрим, как она обнимает Джека за шею, словно бы всерьез, и со смаком чмокает его по очереди в обе щеки, и мы все видим, как сзади появляется рука Джека — похлопать ее по заднице, пока она висит у него на шее. Ручища у него здоровая. Мы все видим, как у Мэнди одна пятка вылезает из туфли. Она небось тоже тяпнула чего-нибудь, пока сидела у Эми. Потом Джек говорит, отпуская ее: «Ну ладно, давай чеши отсюда. И этого клоуна забирай», — и кивает на Винса.

Потом Джек с Винсом смотрят друг на друга, и Джек говорит: «С днем рожденья, сынок. Рад

был повидаться» — точно не может видеться с Винсом хоть каждый день, было бы желание.

«Пока, Джек», — говорит Винс, снимая пиджак с крючка под стойкой, и на мгновение кажется, что он вот-вот протянет Джеку руку. Прости и забудь. Вместо этого он кладет ее Джеку на плечо, точно хочет помочь себе встать, но по лицу Джека я догадываюсь, что его оделили легким пожатием.

«Тебе и остался-то всего часок праздника», — говорит Джек.

«Так что использовать его надо с толком», — говорит Мэнди.

«Обещаем», — говорит Ленни.

«Не знаешь, где тебе повезет», — говорит Винс.

Мэнди тянет Винса за руку, а он берет свой стакан и не торопясь допивает то, что в нем осталось. И говорит: «Нечего их баловать, я так считаю. — Он вытирает рот рукой. — Иначе с ними нельзя».

«Ты теперь старичок, Бугор, — говорит Ленни. — Еще лавочку не закрыли, а тебя уж домой увозят».

«Карета отправляется», — говорю я.

«Не обращай на Рэя внимания, — говорит Ленни. — Не его день. Не на ту лошадку поставил. Спи сладко, ага, Мэнди?»

Эта красная куртка рядом с лицом Ленни — то

еще сочетаньице.

«Пока, ребята», — говорит Мэнди.

Джек улыбается. «Пока, детки».

И когда они идут к выходу — Винси похлопывает Мэнди по спине, пропуская вперед, — всякому видно, что в этом пабе они единственные, у кого жизнь малина. Снаружи стоит хорошая тачка — чем торгуешь, то имеешь. А дома ждет славная дочурка четырнадцати лет. Хотя по нашим дням это, считай, все равно что восемнадцать.

«Голубок и горлица, а? — говорит Ленни, берясь за пустой стакан. — Ну, кто командует?» И Джек отвечает: «Я» — с таким видом, будто и он сегодня именинник.

Дело шло к последним заказам, последним распоряжениям, когда Берни начинает трезвонить в свой колокольчик, точно у него не карета, а пожарная машина. Но она и тут не трогается. Вокруг шум, смех, галдеж, дым коромыслом, Бренда что-то подбирает, на стойке лужи. Субботний вечер. И я сказал: «В этом году сотня, никто не заметил?»

«Чего сотня?» — спросил Джек.

«Да пабу сотня, „Карете“, — сказал я. — Погляди на часы».

«Без десяти одиннадцать», — сказал Джек.

«И до сих пор ни тпру ни ну, верно?»

«Часы, что ли?»

Да «Карета», «Карета»?

И Джек сказал: «А куда ей, по-твоему, ехать, Рэйси? Куда, по-твоему, эта долбаная карета должна нас всех отвезти?»

Бермондси

Вик берет банку и начинает снова заправлять ее в коробку, но это непросто, и коробка соскальзывает с его коленей на пол, так что он ставит банку обратно на стойку.

Она размером с большой стакан для пива.

— Берн! — окликает Вик.

Берни у другого конца стойки, как обычно, с полотенцем на плече. Он поворачивается и идет к нам. Хочет сказать что-то Вику, потом замечает банку рядом со стаканом Ленни. И говорит вместо того, что собирался:

— Что это?

Но голос у него такой, словно он уже знает ответ.

— Это Джек, — говорит Вик. — Прах Джека.

Берни смотрит на банку, потом на Вика, потом быстро обводит взглядом весь зал. У него такой вид, как будто он готовится выкинуть за дверь надоедливого клиента, а это ему не впервой. Вроде как накачивает себя. Потом его лицо разглаживается, становится почти робким.

— Вот это Джек? — говорит он, наклоняясь

ближе, точно банка может ему ответить, может сказать: «Привет, Берни». — Господи Боже, — говорит Берни, — что он тут делает?

И Вик объясняет ему. Лучше, когда объясняет Вик, он ведь профессионал. Если бы за это взялся Ленни или я, людям показалось бы, что мы порем чушь. Потом я говорю:

— Так что мы решили, ему надо в последний разок заглянуть в «Карету».

— Понятно, — говорит Берни, но в его голосе слышится недоумение.

— Не ждали, не гадали, — говорит Ленни.

— Налей мне большой скотч, Берни, — говорит Вик. — И себе тоже.

— Сейчас-сейчас, Вик, спасибо, — говорит Берни, весь внимание и почтение, словно скотч — это именно то, что надо, и негоже отказываться, когда тебе предлагает выпить похоронных дел мастер.

Он берет два чистых стакана, подставляет один под бутылку со скотчем и нажимает два раза, потом другой — только раз, для себя. Поворачивается и ставит двойную порцию перед Виком. Вик вынимает пятерку, но Берни подымает ладонь.

— За счет заведения, Вик, — говорит он. — Такое ведь не каждый день бывает, правда? — Потом сам берет стакан, глядя на банку, точно хочет

произнести какой-нибудь торжественный тост, но говорит только: — Господи Боже, да он ведь полтора месяца назад еще здесь сидел.

Мы все глядим в свои стаканы.

— Ну, за него, — говорит Вик.

Мы поднимаем стаканы с невнятным бормотанием: ДжекДжекДжек.

— И за тебя, Вик, — говорю я. — Ты в четверг хорошо поработал.

— Это точно, — говорит Ленни.

— Ничего особенного, — говорит Вик. — Как там Эми?

— Справляется, — говорю я.

— Значит, она не передумала насчет нашей поездки?

— Нет, она решила повидать Джун, как обычно.

Все молчат. Потом Вик говорит:

— Ее дело, правда?

Ленни прячет нос в свой стакан — видно, не желает ничего говорить.

Берни смотрит на банку, потом беспокойно оглядывает зал. Потом переводит взгляд на Вика, как будто давая понять, что не хочет подымать этот вопрос, но тем не менее. Вик говорит:

— Намек понял, Берни, — и забирает банку со

стойки. Нагибается за упавшей коробкой. — Твоему бизнесу это не на пользу, верно?

— Твоему небось тоже, Вик, — говорит Ленни.

Вик аккуратно вставляет банку обратно в коробку. На часах Слэттери одиннадцать двадцать, и в пабе уже не как в церкви. Народ постепенно подтягивается. Кто-то включил музыкальный автомат. «Пусть идут года, будем помнить всегда дом у заводи голубой…» Так-то оно лучше, гораздо лучше.

Первые мокрые круги на полировке, первые нити сизого дыма.

— Ну вот, — говорит Вик. — Чего нам теперь не хватает, так это нашего шофера.

— Его песенку завели, — откликается Ленни. — Интересно, на чем он прикатит. Сколько я заметил, он в последнее время каждую неделю на новой.

Берни говорит:

— Всем повторить?

Вместе с его словами на улице раздаются автомобильные гудки. Пауза, потом снова. Ленни говорит:

— Вроде он. Вроде как Винси.

На улице опять сигналят.

— Он что, сюда не зайдет? — спрашивает Вик.

— Видать, хочет, чтоб мы вышли, — говорит Ленни.

Мы не выходим из бара, но встаем и перебираемся к окну. Вик крепко держит коробку, точно ее могут украсть. Мы подымаемся на цыпочки, головы рядом, чтобы выглянуть на улицу: нижняя половина стекла матовая. Я все равно ничего толком не вижу, но молчу.

— Это ж надо! — говорит Ленни.

— «Мерседес», — говорит Вик.

— Бугор не подвел, — говорит Ленни.

Я опираюсь на подоконник, чтобы приподняться еще немножко. Снаружи, на апрельском солнце, блестит ярко-синий «мерседес» с кремовыми сиденьями.

— С ума сойти, — говорю я. — «Мерс».

Ленни говорит — и это звучит как шутка, которую он берег лет пятьдесят:

— Роммель бы, поди, от зависти лопнул!

Рэй

Когда я поднимаю глаза от письма, Эми смотрит на меня. И говорит «Видно, он решил попасть туда в конце концов, так или иначе».

«Когда он это написал?» — спрашиваю я.

Она отвечает: «За несколько дней до того, как…»

Я гляжу на нее и говорю: «Он же мог просто сказать тебе, и все. Зачем писать-то?»

«Наверно, боялся, что я приму это за шутку, — говорит она. — Наверно, решил, что письмом надежней».

Письмо недлинное, но могло бы быть и короче, если бы Джек не написал его тем языком, каким обычно пишут мелкие примечания на оборотах анкет. Это совсем не похоже на Джека. Но я думаю, когда человек чувствует близкий конец, он может вдруг стать и многословным, и официальным.

Однако смысл письма в общем-то ясен. Джек хочет, чтобы его прах высыпали в море с Маргейтского пирса.

Он даже не написал вначале «Дорогая Эми!».

Он начал свое письмо словами: «Тому, кого это может касаться».

«Я рассказала Вику, — говорит Эми. — Он ответил, что тут нет противоречия. В его завещании указано, что он должен быть кремирован, но куда потом девать прах — это не оговаривается. Его можно рассыпать где угодно, лишь бы не в чужих частных владениях».

«И?..»

И Вик сказал: «Как хочешь, Эми, тебе решать. Хочешь, чтобы это сделал я, — я сделаю. И постараюсь, чтобы это не слишком отразилось на твоих расходах. Но одну вещь могу утверждать наверняка, — сказал он, — если ты этого не сделаешь, Джек никогда об этом не узнает».

«И?..»

Мы сидим во дворе больницы Святого Фомы, напротив Биг-Бена.

Она смотрит на реку, точно размышляет, как она поступила бы, если бы прах был уже у нее, а Джек попросил бы ее высыпать его в Темзу, под звон Биг-Бена. Но праха у нас пока нет. Все, что у нас есть, — это пижамы Джека, две штуки, его зубная щетка, и бритва, и часы, и еще кое-какие мелочи, которые выдают тебе в полиэтиленовой сумке, когда приходишь за документами. Так что

больше нам туда идти не надо, с этим покончено. Не надо шагать по этому скрипучему коридору, тоскливо сидеть над чашками чая. И на его кровати теперь лежит кто-нибудь другой, еще какой-нибудь доходяга.

Сегодня тепло и пасмурно, вода в реке серая, и она все глядит молча туда, на воду, поэтому я говорю, думая, что она ждет от меня таких слов: «Если ты хочешь это сделать, Эми, я тебя отвезу».

«В твоем старом фургоне?» — спрашивает она, оборачиваясь.

«Конечно», — отвечаю я. И жду, что она улыбнется и скажет: «Давай». И хмарь сегодня должна разойтись. Но она говорит: «Я не могу этого сделать, Рэй. То есть… спасибо. Но я все равно не хочу этого делать».

Она снова переводит взгляд на реку, и я гадаю, не считает ли она все это плохой шуткой, если учесть, что Джек таки собрался под конец сделать то, на что у него никогда не хватало духу: продать лавку, повесить на гвоздь свой полосатый фартук и поискать другой способ коротать время. Если учесть, что они с Джеком присмотрели себе уютный домик там, в Маргейте. В Уэстгейте. И все вот-вот должно было закрутиться. Но тут Джек возьми и свались с раком желудка.

Не мне говорить это, но я все-таки говорю: «А как же воля умирающего, Эми?»

Она смотрит на меня.

«Может быть, ты это сделаешь, Рэй? — По ее лицу видно, как она вымоталась. — Тогда все будет в порядке, правда? Тогда его воля будет исполнена. Он же написал „тому, кого это может касаться“, разве не так?»

Я медлю с ответом, самую малость.

«Хорошо, я сделаю это. Конечно сделаю. Но как насчет Винса?»

«Винсу я ничего не говорила. Ну, про это, — она кивает на письмо. — Но я скажу. Может, вы вместе…»

«Я поговорю с Винсом», — отвечаю я.

И отдаю ей письмо. Оно написано рукой Джека, но уже слабой, неверной, дрожащей рукой. Так что почерк совсем не похож на тот, какой я привык видеть на доске в витрине его лавки. Свиные отбивные — со скидкой. Я говорю: «Могло быть хуже, Эми. Если бы вы успели купить этот домик и собрались переезжать. Или уже переехали бы, и тут…»

«Как бы там ни было, — говорит она, — а он, похоже, все-таки настоял на своем».

Я смотрю на нее.

«Работать, пока не свалится с ног. — Она складывает письмо. — В конце концов, возражала-то я. Это я была против. А ты не знал? Когда я поняла, что он настроен серьезно, что он действительно готов все бросить, я сказала: „А что мне делать с Джун?“ И он ответил: „В том-то и штука, девочка. Если я могу отказаться от того, чтобы быть Джеком Доддсом, потомственным мясником, тогда и ты можешь отказаться от своих дурацких поездок каждую неделю“. Так и назвал это — дурацкими поездками».

Она снова глядит на воду. «Ты же знаешь: стоило ему самому изменить мнение о чем-нибудь, как он начинал требовать перемен от всего мира. Говорил, мы теперь станем другими людьми. — Она хмыкает себе под нос. — Другими людьми!»

Я смотрю вдаль через двор, потому что не хочу, чтобы она заметила на моем лице отражение промелькнувшей у меня мысли: это не очень-то хорошая закладка для новой жизни — домик в Маргейте. Тоже мне, земля обетованная.

В дальнем углу, на скамейке, жует сандвич медсестра в белом халате. Вокруг бродят голуби.

Может быть, Эми думает о том же, а может быть, эта мысль и раньше приходила ей на ум. Маргейт — не земля обетованная.

«Ты уверена, что не хочешь поехать с нами?» — говорю я.

Она качает головой. «У меня есть причины, ведь правда же, Рэй?»

Она глядит на меня.

«Наверно, и у Джека они были», — говорю я и кладу письмо ей в руку. Потом слегка пожимаю ее локоть.

«Насчет морского-то берега? — Она снова смотрит на воду. — Точно, были». И замолкает.

Медсестра — блондинка, волосы уложены, как принято у медсестер. Черные ноги.

«В любом случае, — говорит она, — не думаю, что нам это удалось бы. Если все посчитать. Если вычесть то, что Джек оставался должен за магазин. — По ее лицу проскальзывает легкая тень. — Нам бы порядочно не хватило».

Сестра расправляется с сандвичем, отряхивает подол. Голуби ускоряют шаг, клюют. Они пепельного цвета — будто комки пепла с крыльями. Я говорю: «Сколько вам не хватило бы?»

Олд-Кент-роуд

Мы едем мимо Олбани-роуд, мимо Трафальгар авеню и поворота на Ротерхайт. «Зеленый Человек», «Томас Бекет», «Лорд Нельсон».[1] Небо почти такое же синее, как наш автомобиль.

— Мягко идет, правда? — говорит Винс. И снимает руки с руля, чтобы мы могли оценить, как машина держит направление без его помощи. Кажется, ее малость уводит влево.

Он уже объяснил нам, что хотел устроить Джеку почетные проводы, обслужить его по первому разряду. Все равно этот «мерс» стои́т у него в салоне почти целый месяц — клиент никак не может решиться на покупку, — и немножко лишку на счетчике не повредит, а простаивать машине вредно. И потом, Джек заслуживает самого лучшего.

Но и для нас это неплохо, для Вика, Ленни и для меня, — мы сидим и дышим полной грудью. Когда сидишь на кремовой коже и смотришь на мир сквозь голубоватые тонированные стекла, даже Олд-Кент-роуд и та радует глаз.

---

1 Примечания: 1

Названия пабов на Олд-Кент-роуд. (Здесь и далее — примеч. пер.)

Машину чуть-чуть уводит влево. Ленни говорит:

— Слышь, Бугор, гляди не стукнись. Помнешь — придется цену скинуть.

Винс отвечает, что он еще в жизни ни одной машины не помял, а сегодня и вовсе едет сверхосторожно, не торопясь — особый ведь случай.

— А баранку-то отпустил, — говорит Ленни.

Потом Винс спрашивает Вика, что они делают, если приходится выводить катафалк на автостраду.

— Жмем на газ, — отвечает Вик.

Винс явился без черного галстука. Черные только у нас с Виком. А на нем яркий, красный с белым, и темно-синий костюм. Так он ходит у себя в салоне, оттуда и приехал, но галстук мог бы надеть другой. Пиджак он снял и аккуратно положил на заднее сиденье, между Ленни и мной. Матерьяльчик что надо. Похоже, у Винса все типтоп, не так уж плохо он устроился в жизни. Он говорит, теперь, когда в Сити закрутили гайки, народ старается в обеденный перерыв проворачивать дела за наличные.

— Зря ты ему сказал, Вик, — говорит Ленни.

— Катафалк другое дело, — говорит Вик. — Катафалку все уступают.

— По-твоему, Винси на такой тачке да не уступят? — говорит Ленни.

Вик сидит впереди, рядом с Винсом, и держит коробку у себя на коленях. По-моему, так и должно быть, с учетом его профессии, но вряд ли годится, чтобы он держал ее всю дорогу. Может быть, нам стоит делать это по очереди.

Винс бросает косой взгляд на Вика. Говорит улыбаясь:

— И в выходной работаем, а, Вик?

На Винсе белая рубашка с серебряными запонками, от него несет лосьоном. Волосы гладко зачесаны назад. Костюм новый, с иголочки.

Мы проезжаем мимо газового завода, мимо Илдертон-роуд, под железнодорожным мостом. «Принц Виндзорский».[2] Солнце выглядывает из-за высоких домов, светит нам в лицо, и Винс достает из-под приборной панели шикарные черные очки. Ленни принимается напевать, тихонько, сквозь зубы: «Дом у заводи голубо-о-ой…» И мы все чувствуем, благодаря солнцу и выпитому пиву и путешествию впереди: как будто это Джек позаботился о нас, сделал так, чтобы мы настроились на особый лад, чтобы у нас было

---

2 Примечания: 2
Еще один паб на Олд-Кент-роуд.

приподнятое настроение. Как будто мы выехали на увеселительную прогулку, на пикник, и мир кажется таким чудесным, точно он создан для нас одних.

Эми

Ну и пускай едут, правда, Джун? Пусть сделают все сами, своей компанией. Только без меня. И без тебя. Одним мальчишником. Прогулка пойдет им на пользу.

Джек это оценил бы. А то все работа, и никакого отдыха. Если не считать подпирания стойки в «Карете».

Как раз об этом я и говорила ему тогда, давным-давно. Нам надо отдохнуть, расслабиться, надо устроить себе отпуск. Его мужественная малютка Эми. Если ты упала с лошади, надо сразу забираться обратно. Мы должны избавить себя от самих себя. Должны стать другими людьми.

А ведь дело могло бы никогда не дойти до выбора между тобой и им.

Мой мужественный бедняга Джек.

Снова туда, на качели-карусели. К пляжным развлечениям. Там столько всего, о чем ты, Джун, и понятия не имеешь. Катанье на осликах, куличики из песка, Панч и Джуди. Волны набегают на берег, толпы отдыхающих, и дети вопят, носятся кругом, куда ни глянь — везде дети, а он

смотрит на это, словно все это какой-то обман. Сейчас птичка вылетит, поцелуй меня скорей, конец пирса.

Но это был не Пирс, он даже тут перепутал. Это была Дамба. Ему бы следовало запомнить: Пирс и Дамба — две разные вещи, несмотря на то что Дамба была больше похожа на пирс, а Пирс был просто стеной гавани. А теперь Дамбы и вовсе нет — смыло штормом, сколько лет назад, ну и Бог с ней, если б меня спросили, туда и дорога. Так что, может, это и не было его ошибкой, может, он специально так выбрал. Раз уж надо, чтобы его пустили по ветру, раз об этом речь, раз уж его надо выбросить на ветер с конца чего-то, только меня уволь, Джек, я никого не стану бросать на ветер, тогда этим чем-то будет Пирс. Хотя на самом деле это должна была быть Дамба.

Нью-кросс

— Привет от Памелы, — говорит Вик. — Она мысленно с нами.

— И Джоан тоже, — говорит Ленни.

— И Мэнди, — добавляет Винс.

Когда речь заходит о женах, мне, пожалуй что, лучше помалкивать.

— Спасибо Пам, что пришла на похороны, — говорит Винс. — Нечасто нам выпадает удовольствие с ней повидаться.

— Повод был не лучший, — говорит Вик.

— Но все прошло как надо, — говорит Ленни.

Мы подъезжаем к светофору у станции Нью-кросс-гейт, и все машины, включая нашу, еле ползут.

А Кэрол, наверно, и не слыхала ничего. Я бы здорово удивился, заявись она вдруг на похороны.

— Они все тоже думали присоединиться, — говорит Ленни. — Джоан совсем было собралась. Но раз Эми решила не ехать, так чего уж…

— Не знаю, как мы всемером влезли бы, даже в такое чудо-юдо, — говорю я.

— А вчетвером со всеми удобствами, — говорит

Винс. — И потом, может, оно и дело-то мужское.

— Впятером, — поправляю я.

— Впятером, — говорит Винс. Потом добавляет. — Это не чудо-юдо, Рэйси, а «мерседес».

Ленни глядит на меня, потом на машины вокруг.

— Все равно, еще не придумали такую тачку, чтоб пробки ей не мешали, а, Бугор?

Хлебом не корми, дай съязвить.

— Пам собиралась нарезать нам бутербродов и термос дать, — говорит Вик. — Но я ей сказал, что мы не дети малые и как-нибудь о себе позаботимся. — Он держит коробку так, будто она с завтраком.

— Она у тебя молодец, Вик, — говорит Винс. — Рад был ее повидать.

— А Джоан уж совсем было собралась, — говорит Ленни.

Мы проползаем ярдов пять, потом встаем снова. Люди идут мимо нас по мостовой и заходят в метро, точно сегодня самый обыкновенный день. Нам бы на крышу мигалку с надписью «ПРАХ».

— В заторе все тачки равны, верно? — говорит Ленни.

Винс барабанит пальцами по рулю.

— Все равно, Пам сказала, у него хороший по-

четный караул, — говорит Вик.

Мы все приосаниваемся, точно мы — это не мы, а члены королевской семьи и народ на мостовой должен был бы останавливаться и приветственно махать нам руками.

Винс

Это модель 380-супер, вот что это такое. Восемь цилиндров, автоматическая система управления. Ему шесть лет, но сто тридцать он делает запросто. Хотя, конечно, не по Нью-кросс-роуд.

Ручная покраска, внутри сплошь натуральная кожа.

Так что пускай лучше Хуссейн берет его поживее, да за наличные. Иначе я сгорю.

Я никому не сказал, ни Эми, ни Мэнди, насчет той последней просьбы Джека и насчет моего маленького подарка. А я ведь всегда говорил: не приходи ко мне, Джек, не думай, что я тебе отстегну.

Сдается мне, всякий человек может получить то, что хочет, только когда он при смерти. Правда, он не заказывал такого «мерса» — супермодели с удлиненной колесной базой, с приборной доской из ореха. Но надеюсь, он оценил это, черт побери, очень надеюсь.

А эта скотина Хуссейн пусть лучше пошевелится.

У моего «мерса» покрышки с белыми боками.

А левое переднее надо бы подкачать. Я сказал: «Давай угощу тебя еще разок, Джек, и домой. Я ведь теперь человек семейный, верно?» Но он смотрит на меня и вдруг поднимает руку вверх — помолчите, мол, все, — точно эти мои последние слова были последней каплей, и я вижу, как Рэй с Ленни утыкаются носами в свои стаканы.

Но разве это не так, насчет семьи? Я, Мэнди и малышка Кэт. Она тогда еще под стол пешком ходила.

«Прошу прощенья, джентльмены, — говорит Джек. — Нам с Винсом надо перекинуться словечком с глазу на глаз», — и оттесняет меня к угловому столику. Он говорит, что неделя была тяжелая и не ссужу ли я ему пятерку, чтобы он мог поставить по пиву Рэю с Ленни и не выглядеть дураком, но я-то знаю, что дело не в пяти фунтах, знаю, что не поэтому он попросил меня заскочить сюда, коли на то пошло. Пять фунтов. Пять штук — это было бы больше похоже на правду. Уж если решился просить, так не виляй.

Но он не собирается разыгрывать из себя скромного просителя. Он глядит на меня так, точно это я его о чем-то прошу, точно это не ему нужны деньги, а я обязан вернуть ему долг. Точно самое малое, что я должен был сделать (как мне надо-

ела его вечная долбежка!), — это еще несколько лет назад войти к нему в долю и вести себя так, словно мы с ним и впрямь одной плоти и крови. Хотя суть вовсе не в плоти и крови, а в обычной говядине. Говядина или машины. Вот из чего мне пришлось выбирать.

Я говорю: «Не думай, что я стану выкупать твою лавочку».

Но он сверлит меня взглядом, точно именно это от меня и требуется, точно мы уже заключили сделку и теперь моя очередь вносить пай. Как будто я сам ничего не понимаю в сделках, а разве я не торговец, разве я не торгую подержанными машинами? Можно подумать, что подержанные машины — это дрянь какая-нибудь, а на его паршивое мясо все молиться должны.

«Ты не видишь, что происходит у тебя под носом, — говорю я. — В двух шагах выстроили новый супермаркет, тебе первому предлагают заведовать мясным отделом. У тебя же нет выбора!»

«Да ну?» — отвечает он.

«Не хочешь — как хочешь, — говорю я. — Тогда твое дело труба».

«Зато буду сам себе хозяин», — отвечает он.

«Сам себе хозяин? — говорю я. — Да ты никогда

не был себе хозяином. Твой папаша был тебе хозяином, нет, что ли? Как у тебя на вывеске-то написано?»

Он глядит так, словно хочет меня ударить. Потом говорит:

«Тут ведь и с другой стороны можно посмотреть, верно?»

«Короче, выкупать твою лавку я не буду, — говорю я. И даю ему пятерку. — На меня не рассчитывай. — И вынимаю еще пятерку. — Итого десять, — говорю я. — Иди и поставь своим приятелям пива. Себе тоже возьми. А я линяю отсюда».

* * *

И за что его вообще благодарить-то, скажите на милость? Это все Эми. Он просто вернулся победителем с войны — а тут здрасте, подарочек, я лежу. В той самой кроватке, что была куплена для Джун.

У него автоматический контроль скорости, рулевое управление с усилителем.

И вот вам пожалуйста, прошло сорок лет, и он лежит там с этими трубками — сам себе хозяин, ничего не скажешь, — и говорит мне: «Поди-ка сюда, Винс. Хочу тебя кое о чем спросить». Все

никак не уймется.

Это отличный автомобиль.

А ихний хирург — Стрикленд, что ли, — смотрит на меня так, будто я его следующая жертва, будто он меня следующего собирается потрошить. Я думаю: «Это потому, что он знает: я ему не настоящий родственник». Но потом мне приходит в голову другое: «Нет, это потому, что старикан ему уже печенку проел, вот он на мне и вымещает. Это как раз в духе Джека: он может донять даже того, от кого зависит его жизнь».

Он начинает объяснять. Говорит: «Знаете, как выглядит ваш желудок?» — точно я полный кретин. И продолжает: «А знаете, где он находится?»

Я могу представить себе это только одним способом. В виде ремонта. Примерно как подшлифовать что-нибудь или от нагара очистить. Не знаю, как мы там устроены внутри, но хороший двигатель я с первого взгляда отличу, мотор разобрать — это мне раз плюнуть. Я считаю, что плоть и кровь не слишком чисто сработаны, по крайней мере не у всех, зато хороший мотор — он и есть хороший мотор.

Так что Хуссейн пусть почешется.

Рэй

Джек говаривал: «Привидения, вот вы кто, Рэйси, в этой вашей конторе. Зомби несчастные». Он говаривал: «Ты б лучше приходил как-нибудь к нам на Смитфилд[3] да поглядел, как зарабатывают на хлеб нормальные мужики».

Бывало, я так и делал. Ранехонько поутру, особенно когда у нас с Кэрол совсем все разладилось, когда мы и говорить-то друг с другом перестали. Я выходил пораньше и садился на шестьдесят третий, как обычно, только проезжал две лишние остановки и шел пешком от Фаррингдон-роуд, по Чартерхаус-стрит, еще в сумерках. Завтрак на Смитфилде. Мы отправлялись в кафетерий на Лонг-лейн или в одну из тех забегаловок, где можно глотнуть пива и перекусить в полвосьмого утра. Брали с собой Теда Уайта из Пекема, и Джо Малоуна из Ротерхайта, и Джимми Фелпса из Камберуэлла. Ну и Винса, конечно, в ту пору, когда он еще в учениках ходил. Когда еще не записался в армию.

Они говорили: чего тебе надо, Рэйси, так это

---

3 Примечания: 3
Смитфилд — лондонский мясной рынок.

подкормиться. А то ты совсем отощал. Надо бы тебе мясца на костях нарастить. А я отвечал: такая уж у меня конституция. Наилегчайший вес. Хоть лопатой загружай, толку чуть.

Удивительное дело, но среди мясников тощего не найдешь.

И еще, он вечно пересказывал мне ихние смитфилдовские байки, вешал на уши ихнюю смитфилдовскую лапшу. Что Смитфилд — это-де настоящий центр, истинное сердце Лондона. Окровавленное, понятно, — такой уж товар. Что Смитфилд — это не просто Смитфилд, а Жизнь и Смерть. Вот что он такое — Жизнь и Смерть. Потому что как раз напротив мясных рядов стоит больница Святого Варфоломея, а от нее рукой подать до Центрального уголовного суда Олд-Бейли, выстроенного на месте старой Ньюгейтской тюрьмы, где раньше что ни день кого-нибудь вздергивали. Так что тут тебе все три М — Мясо, Медицина и Мокрые дела.

Но Джимми Фелпс как-то объяснил мне, что Джек просто повторяет то, что рассказывал ему его отец Ронни Доддс, слово в слово. И от того же Джимми Фелпса я узнал — когда Джека поблизости не было, когда они с Винсом уже погрузились и уехали в Бермондси, — что Джек вовсе и не хо-

тел становиться мясником, коли уж на то пошло. Это отец у него уперся. «Доддс и сын», потомственные мясники с 1903 года, и хоть ты тресни.

Джимми сказал мне: «Знаешь, кем Джек хотел стать? Только ему не говори, ладно? — и улыбается этак опасливо, точно Джек еще здесь и может вдруг подкрасться к нему сзади. — Когда Джек был вроде Винса, учеником, как и я, он все свободное время глазел на сестричек, которые выходят из больницы. Я думаю, это они виноваты — он, понимаешь, решил, что у каждого доктора всегда под рукой парочка медсестер, только свистни, — но он как-то сказал мне, причем не шутя, что бросит все — пусть, мол, его старик сам жрет свое вонючее мясо, потому что он хочет заделаться доктором».

Джимми сникает. Он сидит напротив меня в своем заляпанном комбинезоне, обхватив ладонями кружку с чаем, весь какой-то поникший. Потом говорит: «И он ведь серьезно. Чего, мол, там сложного — надел белый халат и вперед. Можешь себе представить? Доктор Доддс».

Но он видит, что мне не смешно, и меняет тон. «Ты только Джеку не говори», — просит он.

«Не буду», — отвечаю я вроде как с сомнением, точно мог бы и сказать.

А про себя думаю: ну а он-то, Джимми Фелпс, — хотел ли он сам стать мясником? Вспоминаю, что Джек как-то сказал в пустыне: под одежкой мы все одинаковы, будь ты хоть офицер, хоть рядовой, все из одного теста. Звездочки на погонах — они гроша ломаного не стоят.

Можно подумать, я сильно хотел работать в страховой конторе.

Но я никогда ничего не говорил Джеку, как и он мне. Хотя, когда он лежал в больнице, со всеми этими докторами и сиделками вокруг, — тут ему, казалось бы, самое время проговориться. Но он сказал только: «Мне бы попасть в Варфоломея, а я угодил в Фому. Несправедливо, а, Рэйси?»

Но я считаю, что как бы там ни было, хотел он стать доктором или не хотел, а благодаря всем этим годам за мясным прилавком, всем этим ежедневным поездкам на Смитфилд он таки заработал право посмеяться над врачами последним. Потому что он рассказал мне, что, когда хирург пришел к нему потолковать по душам, пошептать на ушко, как у них принято, он велел ему выкладывать все без обиняков. Без туману.

«Рэйси, — сказал он, — я его попросил прямо назвать мои шансы. Он стал отнекиваться, не на скачках, мол, но я на него нажал. Тогда он

говорит: «Ну, допустим, два к одному». Я говорю: «Что ж, выходит, я фаворит?» Тогда он начинает расписывать, что он, мол, сделает то да сделает се, а я говорю: «Хватит меня баснями кормить». Расстегиваю свою пижаму. И говорю: «Где вы, стало быть, резать будете?» А он глядит на меня так, точно его вокруг пальца обвели, точно я не по правилам играю, и тогда я говорю ему: «Профессиональное любопытство, понимаете ли. Профессиональное». Он смотрит, вроде как ничего не понимает, и я говорю: «Разве у вас в папке не написано, чем я зарабатываю на жизнь? Извиняюсь, зарабатывал». Он быстренько заглядывает в свои бумаги, теперь уже присмиревший. И отвечает: «А-а! Так вы были мясником, мистер Доддс». А я говорю: «Мясником экстра-класса».

Блэкхит

— Так скажет мне кто-нибудь? — говорит Вик. — Почему?

— Туда мы обычно ездили, — отвечает Винс. — По воскресеньям. В старом фургоне для мяса.

— А то я не знаю, Бугор, — говорит Ленни. — Думаешь, я не помню? Но сегодня-то у нас не воскресный выезд.

— Они там медовый месяц провели, — говорю я.

— А я думал, у них не было медового месяца, — говорит Ленни. — Я думал, они тогда на коляску копили.

— Медовый месяц был потом, — говорю я. — После того как родилась Джун. Они решили, что имеют право все-таки устроить себе медовый месяц.

Ленни косится на меня.

— Знатный небось получился отдых.

— Все верно, — говорит Винс. — Летом тридцать девятого.

— Ты что, был там, Бугор? — говорит Ленни.

Все молчат.

— Из мясного фургона в «мерседес», а? — говорит Ленни. — Слушай, Рэйси, кажется, и тебя ведь тогда здесь не было?

Винс смотрит на нас в зеркальце заднего обзора. Его глаз не видно за темными очками. Я говорю:

— Мне Эми рассказывала.

— Эми, значит, — говорит Ленни. — А сказала она тебе, почему она не поехала с нами?

Все молчат. Потом Вик говорит:

— Ну а какая, собственно, разница? Джеку-то все равно, правда? Вообще-то я так и сказал ей: если она хочет забыть про все это дело, Джеку хуже не будет. Если б его прах развеяли на кладбище, он бы все равно не узнал, правда?

— Твоя профессия — тебе видней, — говорит Ленни.

— Она к Джун поехала, — говорю я. — Сегодня ее день.

— Это все чепуха, — говорит Ленни. — Если б Эми один раз и не съездила к Джун, та бы ничего не заметила. Джун-то ведь точно без разницы, правда? А если Эми хотела собраться с духом, так можно было и обождать, не обязательно было ехать сегодня.

— Не суди, — говорит Вик.

— Прах есть прах, — отвечает Ленни.

— Лучше такие вещи не откладывать, — говорит Вик.

— А последняя воля есть последняя воля, — отвечает Ленни.

— Почем мы знаем, все равно ему или нет? — говорит Винс.

— Я не к тому, что сам написал бы в завещании такую чушь, — говорит Ленни.

— Там не уточняется, — говорю я.

— Что не уточняется? — спрашивает Ленни.

— Я про завещание Джека. Там не написано, что это должна сделать Эми. Он просто хотел, чтобы это было сделано.

— А ты откуда знаешь? — спрашивает Ленни.

— Мне Эми показывала.

— Тебе? Похоже, тут только я один ничего не знаю. — Он выглядывает в окно. Мы приближаемся к Блэкхиту, едем мимо дальнего конца Гринвичского парка. На его лужайках желтеют нарциссы. — А Рэйси сидит да помалкивает.

Винс смотрит в зеркальце.

Лицо Вика становится напряженным, на нем заметно неодобрение, как будто пора сменить тему. Он говорит:

— Это как с лошадьми. Пока из него вытрясешь.

Вик держит коробку. Не думаю, что ему стоит держать ее у себя до самого конца. Ленни говорит:

— И даже когда вытрясешь, не факт, что правду.

— Последний раз я нормально подсказал, — говорю я.

Винс все смотрит.

— Только не нам, — говорит Ленни.

— А кому, Рэйси? — спрашивает Вик. Из него получился бы неплохой рефери.

— Это ж не только меня касается, — говорю я.

И гляжу в окошко. «Блэкхит» значит «черная пустошь», но ничего похожего тут нет. Кругом зеленеет травка под синим небом. Кабы не дороги, бегущие во всех направлениях, тут было бы где расскакаться на лошади. А когда-то здесь разбойничали. Грабили дуврские почтовые кареты. Кошелек или жизнь.

— И все равно непонятно, — говорит Вик. — Почему именно в Маргейте?

— По-моему, просто для интересу: сделаем или нет? — говорит Ленни.

Винс слегка поворачивает голову назад.

— Так по-твоему, он знает? По-твоему, он нас видит?

Ленни моргает и не торопится с ответом. Он глядит на меня, потом на Вика, точно хочет, чтобы и тут вмешался рефери.

— Это я фигурально, Винси, фигурально. Конечно, он нас не видит. Ничего он видеть не может.

Руки Вика поправляют коробку. Потом Ленни испускает смешок.

— Слушай, Бугор, а если он все равно ничего не видит и видеть не может, чего ты тогда решил прокатить его на «мерсе»?

Винс смотрит на дорогу перед собой.

Трава блестит под солнцем. Джеку этого не увидеть.

Вик говорит, медленно и мягко:

— Это ты хорошо придумал, Винс. Замечательно. Отличная машина.

— Да уж не мясной фургон, — говорит Винс.

Винс

Глаза у Джека закрыты, он вроде бы спит, и я думаю, не удрать ли мне потихоньку, смыться, и все, но если он не спит, он заметит, что я смылся, — может, он меня проверяет. Поэтому я говорю: «Джек?» — и он мигом открывает глаза.

Сегодня дежурит сестра по имени Келли, та, что мне нравится, черноволосая. Я думаю: а что, может, попробовать? Все ж таки исключительные обстоятельства. Что-то типа конца света. Как ты на это смотришь, сестричка, — удерем вместе? Ты да я.

«Эми сказала, ты меня звал, — говорю я. — Одного».

Сначала он ничего не говорит, потом отвечает: «Я сказал Эми, что хочу повидать Рэя. Сказал, пусть попросит Рэя зайти».

Он глядит на меня. Я говорю: «Это я, Джек. Винс». А то кто его знает, с этими лекарствами. И вообще.

«Я в своем уме», — говорит он. И не сводит с меня глаз.

Мне кажется, теперь он знает, по-настоящему

знает. Похоже, он уже это переварил и свыкся с этим, свыкся, а это вам не шутка. Когда вам говорят, что все, финиш, а вы еще и близко не подошли, вы еще и не думали о финише.

Наверное, знает. Но я-то не знаю, каково это. Да и знать не хочу. Он говорит: «Я знаю, что ты это ты, Винс, а я это я. Махнемся?»

Я улыбаюсь, слегка глуповато.

«Поди-ка сюда, Винс, — говорит он. — Хочу у тебя кое-что спросить».

Вечер нынче паршивый — сыро, ветрено. За окном в конце палаты видно, как мотается морось. Но здесь-то, наверно, без разницы, что там снаружи, дождь или засуха, здесь нет смысла толковать о погоде.

Я мысленно вижу, как сестра Келли уходит со смены и ее платье вздувается на ветру.

«Подойди ко мне, Винс».

Я и без того недалеко, но все равно подвигаюсь ближе к кровати и наклоняюсь вперед. Его рука лежит на одеяле, пальцы полусогнуты, а выше, на запястье, где трубки входят в вену, — пластырь и все остальное. Я знаю, он хочет, чтобы я взял его за руку. Не так уж это трудно — взять его руку, но я чувствую, что, если возьму ее, он как бы поймает меня и никогда больше не отпустит.

«Я сказал Эми, что хочу побеседовать с Рэем, наедине», — говорит он.

«Это ты правильно, — говорю я. — Кореш все-таки».

«Рэй — кореш», — повторяет он.

И глядит на меня. Потом говорит: «Эми уже не понимает, что происходит, верно? Не соображает, что вокруг творится».

«Ничего, она справится, — говорю я. — Она справляется».

Хотя знаю, что ей совсем плохо, по крайней мере сейчас. Знаю, что этой ночью она снова придет в комнату для гостей, где спим мы с Мэнди, и захочет, чтобы я обнял ее и Держал так, прямо перед Мэнди, точно я ее новый муж, точно я — это Джек.

«Мне-то легче», — говорит он.

Я гляжу на него.

«Не сказал бы, что это плевое дело», — говорю.

«Некоторые паникуют», — отвечает он.

Сестра Келли наклоняется над каким-то другим бедолагой. Когда я в первый раз ее увидел, я сказал ему: «Ну, Джек, тебе свезло, ты тут живо поправишься». Но теперь помалкиваю. Я не знаю, радость это или пытка — когда тебя, умирающего, накрывает одеялом такая соблазнительная

девочка.

Ее зовут Джой. Сестра Джой Келли. Так написано у нее на значке, на левой груди.

Джек при смерти, а у меня стоит.

«Так что тебе сказал этот чудила Стрикленд? — спрашивает он. — Я имею в виду, перед операцией. Зубы небось заговаривал?»

Я собираюсь с мыслями, потом отвечаю: «Ладно, теперь-то уж можно не делать из этого секрета. Сказал, что у тебя один шанс из десяти».

Он смотрит на меня. «Десять к одному. И ты не стал держать пари, верно? Держу пари, что не стал».

Я уверен: он понимает, что я знал с самого начала, шестое чувство подсказывало. Что я не загадывал, не надеялся.

Ты прав, Джек.

«Помоги-ка мне приподняться, Винс», — говорит он и хватает меня за руку, и я напрягаю ее, чтобы он смог подтянуться. Это, наверное, больно, с таким швом на животе, я вижу на повязке красное пятно, но он и не шелохнется, крепко держится, пока я свободной рукой поправляю подушки. Немного он теперь весит, наш Большой Джек.

«Так-то оно лучше», — говорит он. Но не успе-

вает закончить, как у него начинается спазм — я вижу это по его задвигавшемуся горлу. Сейчас беднягу опять стошнит. Я хватаю новую картонную мисочку, держу наготове пеленку. Мне вспоминается время, когда Кэт была маленькой.

Он откидывается назад, вытирая губы. Я ставлю мисочку обратно. Можно было бы ожидать, что он будет меньше похож на себя, но это не так — наоборот, теперь он еще больше похож на себя. Как будто, когда тело отказалось работать, все перешло в его лицо, и хотя оно изменилось, стало совсем худым — кожа да череп, — это только помогает увидеть главное, точно кто-то включил внутри маленькую лампочку.

Я говорю: «Так зачем ты меня звал?» — будто я человек занятой и мне некогда тут рассусоливать. Неловко получилось.

Он глядит на меня. Смотрит прямо мне в лицо, словно тоже ищет там маленькую лампочку, словно ищет в моем лице свое, и я чувствую себя так, будто я пустой, прозрачный, потому что у меня нет его глаз, его голоса, его скул, его манеры выдвигать челюсть и глядеть прямо на тебя, даже ни разу не смигнув.

А будь все иначе, не было бы ощущения конца, потому что и конца этого не было бы.

Я чувствую, что я ненастоящий и никогда не был настоящим. Зато Джек настоящий — он более настоящий, чем когда-либо. Хоть и недолго ему осталось таким быть.

«Я хочу, чтобы ты дал мне взаймы», — говорит он.

«Наличными?» — спрашиваю я.

«Наличными», — говорит он.

«Тебе нужны наличные?» — спрашиваю я.

Он трогает ящик своей тумбочки. «Тут у меня бумажник, вместе с часами и гребешком». Он слегка выдвигает ящик, этак осторожно, будто по секрету. Точно прячет там самое дорогое.

Я спрашиваю: «Хочешь, чтобы я положил туда денег?»

«Да, сынок», — говорит он.

Но у меня такое чувство, словно теперь я его отец. Пора спать, Джек, хватит кувыркаться, я пришел сказать бай-бай.

Я гляжу на него, пожимаю плечами и лезу во внутренний карман, но он хватает меня за руку. И говорит: «Мне нужна тысяча фунтов».

«Тысяча фунтов? — говорю я. — Тебе нужна тысяча?»

«Скажем так — к пятнице, — говорит он. — И чтоб никому ни словечка».

Он смотрит на меня, а я — на него. Он держит меня за руку. И говорит: «Не спрашивай меня, Винс, не спрашивай. Это просьба, а не распоряжение».

Я гляжу на него. Над его изголовьем висит плакатик: «СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ». И спрашиваю: «Взаймы, значит?»

Рэй

«Смелей, Рэйси, — говорит он. — Бери вожжи. Папка разрешает».

На телеге, прямо за сиденьем, была доска с надписью: «Фрэнк Джонсон — сбор металлолома», и иногда он разрешал мне прокатиться вместе с ним, просто так. Но он говорил, что собирать металлолом не мое дело. Что я должен пойти на сидячую работу, с моими-то мозгами, и я так и не узнал, в чем тут была причина: то ли в моей хилости, то ли в мозгах, а может, и в том, что он считал сидячую работу более благородным призванием. Впрочем, если б я даже был горой мускулов, это ничего бы не изменило, он все равно не давал бы мне разгружать телегу. Для этого у него имелся Чарли Диксон.

Он и сам не был таким уж силачом, просто долговязый, и все его туловище словно болталось на его собственных плечах, как плащ на вешалке, — так и хотелось укоротить его на дюйм-другой. Потом я часто удивлялся, как такой верзила мог произвести на свет малявку вроде меня, и гадал, не было ли тут греха: матери-то я не помнил.

Не то чтобы он стыдился своей профессии — сборщик металлолома. Не старьевщик все-таки. Он не орал до хрипоты, разъезжая на своей телеге, да и не смог бы орать, с его-то слабой грудью. И не навязывался людям, а работал по уговору, по контрактам. Но тем не менее.

И я пошел работать в страховую компанию. Он гордился, что меня взяли рассыльным. И собой гордился, что сам себе начальник. Начальник над грудой железа. Потом наступило военное время, сбор металлолома стал важным делом, и лишняя пара рук вроде моих ему здорово пригодилась бы, но мне пришлось переквалифицироваться из рассыльных в солдаты. Он говорил: «Да тебя и не возьмут, такую кроху». Но меня взяли. Тогда он сказал: «Ну что же, зато тебе легче будет не высовываться. Вот мой совет: не высовывайся». Я так и делал. И пережил войну — а вот он нет. Виновата была не бомба, а его грудь. Но я все равно вернулся в свою контору. После маршей по пустыне с Джеком Доддсом я снова пришел работать туда же, в Блэкфрайарс. У меня был двор и домишко, не пострадавший от налетов, — две комнаты внизу, две наверху. Двор я сдавал Чарли Диксону, и это гасило расходы на дом. Человек с собственностью, скажете вы, но я каждый день

ходил на работу, как обычный служащий. Наверное, я уже тогда понимал, что это без разницы, поскольку то, чем ты занимаешься, и то, чем ты живешь в мыслях, совершенно разные вещи. Но, с другой стороны, это было и в память о нем, как будто он смотрел на меня оттуда.

Он разрешал мне чистить конюшню и кормить Дюка, а еще, иногда, прокатиться с ним на телеге. Только не грузить металлолом. Цок-цок, цок-цок. Потом пришел день, когда он доверил мне вожжи, я взял их и полегоньку выучился править запряженной в телегу лошадью. «Не дергай их, — говорил он, — просто потряхивай и щелкай языком, как будто только собираешься дернуть». А я так и не сказал ему, что эта работа как раз для малышей, только для малышей. В смысле, управляться с лошадьми.

Мы в Бермондси, Рэй. Это тебе не Аскот.[4]

По-моему, именно на телеге, когда я сидел рядом с ним, глядя на зад Дюка, меня начали посещать грязные мысли о женщинах. Это было что-то, к чему мне предстояло перейти. Как будто женщины были какой-то другой разновидностью животных, с которыми я еще не научился

---

4 Примечания: 4
Аскот — знаменитый ипподром близ Виндзора.

ладить. Но переход оказался не таким простым, и однажды в воскресенье, когда я пригласил Дейзи Диксон посмотреть Дюка, зная, что отец уехал с ним по сверхурочному вызову, обнаружилось, что запах конского навоза и мочи почему-то не пробуждает в ней животную натуру. Я не добился желанного результата, хотя заранее подстелил там чистой соломки. Я сказал: «Сюда никто не придет». А она вдруг окрысилась: «Ну и куда мне теперь девать весь этот сахар?»

Потом, через десять лет, когда мой отец уж давно помер, приходит ее младшая сестренка Кэрол и спрашивает меня, не собираюсь ли я продавать двор, потому как ее папка не знает, стоит ли ему покупать грузовик, ежели некуда его ставить. Я думаю: а отчего бы Чарли не спросить самому? И еще думаю: а знает ли она, что мне всегда нравилась Дейзи? Что ей Дейзи рассказывала? И думаю, когда она наклоняется, чтобы прибавить газ на плите: а попка-то у нее аппетитная.

Это был лошадиный мир, вот что это было. Когда я вспоминаю, как сидел рядом с ним на телеге, я думаю не о металлоломе, не о меди, или бронзе, или свинце, или чугуне. Я думаю о Дюке. Думаю о жизни кучеров и мелких торговцев. Я вижу, как он наклоняется вперед, локти на коленях, после

того как я забираю у него вожжи, и начинает вертеть головой, точно раньше у него не было времени оглядеться вокруг. Вижу, как он почесывает шею и поправляет кепку. Вижу, как он закуривает — что нам грудь, однова живем, — и делает первую затяжку, выпятив нижнюю губу, а потом потирает подбородок кончиком большого пальца той руки, в которой держит сигарету, и проводит подушечкой этого пальца по лбу, и я знаю, что делаю все то же самое, помимо воли, те же жесты, те же движения.

Не надо мне было продавать двор Винсу.

Ленни

Воскресные выезды в мясном фургоне, будто бы я не помню.

Будто не помню, как они доставляли нам Салли — бывало, уже почти уснувшую, — и моя Джоан говорила: «Может, выпьете чайку?» А Эми отвечала: «Нет, спасибо, мы лучше поедем, отвезем Винса домой». Будто не помню песок у Салли между пальцами ног, и это ее игрушечное ведерко, полное ракушек, и обрывков водорослей, и дохлых крабов, и запах моря, который оставался на ее волосах, на одежде, и бесконечные тюбики лосьона от солнечных ожогов, которые мы на нее выливали.

Мы бы и сами ее вывозили, да только у нас не было денег на поезд, ну и машины, само собой, тоже. Ни машины, ни лавки, ни дома нормального, в общем, еле перебивались, вот что мы делали. По мне, в армии и то лучше было. И я помню, какое лицо было у Эми — хотя, может, я это сам придумал, женщине вроде Эми это чести не делает, — когда она говорила: нет, мы уж поедем дальше. Точно напоминала, что мы

живем в сборном домике, а они в кирпичном. Знайте, мол, свой шесток. Они с Джеком ездят к морю на целый день, а мы с Джоан кормим уток в Саутуоркском парке.

И вот Эми стояла у двери, держа Салли за руку, и поглаживала ее по головке, и наклонялась поцеловать, так что мне хотелось ляпнуть: «Зато вот что у нас есть, а у вас нету». Но я помалкивал. Просто глядел, как Эми целует мою дочку, а Джоан рядом тяжко вздыхала.

Что ж, не наша была вина, что бомбы угодили туда, куда они угодили. Не моя была вина, что после моего старика остались только три шиллинга шесть пенсов да овощной лоток на рынке Боро.[5] И не надо забывать, что у Джека с Эми были свои черные полосы, да и у пацана Винса, бедолаги, тоже. Невезенье бывает разное. Так что, может, я сам выдумал это, может, я просто думал: Эми здорово выглядит после целого дня на море, прямо глаз не оторвать. Она у тебя до сих пор конфетка, Джек.

Джек говорил: «Ну, тогда двинули, Эми». А Винси сидел там наверху, в кабине, и ждал, пока его отвезут в постельку, но не выглядел таким уж

---

5 Примечания: 5

Один из старейших лондонских рынков овощей и фруктов (букв., «городской рынок»).

сонным, потому что он тоже смотрел на Эми и Салли, пока они стояли у нас на пороге, и видно было, как он надеется, что Салли обернется и помахает ему на прощанье.

Да, свободный денек нам очень даже не помешал бы. Я говорил, что последний пляж, где я загорал, был в Салерно, да и не то чтобы я любитель пляжей, но отдохнуть денек — это бы нам не помешало. Я с удовольствием поглазел бы на Эми в купальнике. Но я считаю, когда у тебя дети, это твой долг — специально вытаскивать короткую соломинку. Да и не влезли бы мы на сиденье ихнего фургона — непонятно, как они вчетвером там умещались. Так что все это делалось ради Салли. И ради Джека с Эми, конечно, особенно ради Эми. А мы вроде как ничего не понимали.

Джоан говорит: «Наши ребята — они прямо как брат с сестрой стали, правда?»

Но однажды Салли приходит домой из школы и говорит, что на переменках рассказывают про Винса всякие гадости. Что у него, мол, винтиков в голове не хватает. Как у его старшей сестры. И что его тоже надо засадить в больницу, в Барнардовскую больницу. Хотя если подумать, ему все равно светило либо то, либо другое, или сиротский дом, или психушка. Она говорит, что Винс

то и дело ввязывается в драки и она уже сама не знает, чему верить.

Так что мы решаемся на объяснение. Салли тогда, наверно, лет десять было. Мы говорим, что этого ни одна живая душа знать не должна, но ей мы доверяем. Вообще-то все это было похоже на сказку, на необыкновенную историю вроде тех, какие специально выдумывают для детей.

Как много лет назад, когда они только поженились, у дяди Джека и тети Эми — которые ей не настоящие дядя и тетя, но это для нее не новость, — родилась маленькая девочка по имени Джун. Но она была не обычная девочка, она родилась неправильно, за ней нужен был особый уход. Это иногда случается — редко, почти никогда, но все-таки случается. И тетя Эми знала, что другого ребенка ей уже не родить, по крайней мере без того же риска, так что ее нельзя назвать счастливой женщиной. Ну и Джек, конечно, был не в восторге.

Потом началась война. На Бермондси стали падать бомбы, и одна из них упала на дом, где раньше жили твои мама с папой, но это ладно, после расскажем, а вот другая угодила в дом Причеттов, где как раз появился новый член семьи по имени Винс. Винсент Иэн Причетт, если уж

хочешь знать: сокращенно ВИП.[6] Спасибо родителям, удружили. Это было на Пауэлл-роуд, там теперь многоквартирные дома, и оттуда рукой подать до Уилер-стрит, где тогда жила тетя Эми. В июне сорок четвертого, большой снаряд. Еще бы неделя, и миссис Причетт с Винсом эвакуировали бы, отправили куда-нибудь в безопасное место. В том месяце Джун как раз исполнилось пять лет. Потому ее так и назвали, что родилась в июне. Мистер Причетт был дома, он приехал в отпуск — ему, можно считать, не повезло, а может, и повезло, это как посмотреть. А твой папа и дядя Джек оба дрались с немцами, хотя тогда мы друг о друге и слыхом не слыхали.

В общем, от семьи Причеттов немного осталось. Только один Винс, который тогда был похож на мячик и, как мячик, выскочил наружу без единой царапинки. И, если ты еще не догадалась, именно Эми взяла Винса к себе и стала смотреть за ним и воспитывать его, как собственного сына. Может, ты понимаешь или еще поймешь, когда будешь постарше, что у нее была на то не одна причина.

Насчет того, как взять к себе сироту, есть всякие правила и законы, но не забывай: это было

---

6 Примечания: 6

Эти инициалы совпадают с начальными буквами слов Very Important Person — «очень важная персона».

военное время, и на правила мало кто обращал внимание. Ну вот, а через год война кончается, дядя Джек приезжает домой, а тогда уж все вокруг привыкли, что у них с Эми есть приемный сын; Винс, стало быть, нашел себе новых маму с папой. Короче, у этой истории счастливый конец. Если не считать Джун, которой уже давно пора перестать быть ребенком, но она все равно ребенок. Это-то ты понимаешь? А Эми всегда хотела девочку, больше, чем мальчика.

«И смотри, никому не проболтайся», — говорим мы еще раз.

* * *

Но после этого прошло совсем мало времени, и вдруг она говорит нам, что в следующее воскресенье они снова поедут в Маргейт, а ее брать не хотят. Джоан сразу в панику и кричит: «Ты что им сказала?» А Салли отвечает, ничего я им не сказала, просто у них в фургоне уже тесно, хотя Винс теперь и ездит сзади. Я говорю: «Они пересадили Винса назад?» А она говорит: «Да». Прошло еще чуток, и она приходит из школы вся в слезах и говорит, что Винс уже знает, и не от нее. Они сами ему взяли да сказали.

Что ж, рано или поздно это должно было слу-

читься, а как туг выбрать правильный момент, про это меня не спрашивайте.

В общем, Винс получил, что называется, пищу для размышлений. И он говорит Салли, что теперь он знает: все это правда, что про него болтают на переменках, а она отвечает, какая разница, он же остался прежним Винсом, и она его не бросит. А Винс возьми да сшиби ее с ног.

Я так думаю, каждое поколение хочет, чтобы у следующего все получилось лучше, это вроде как тебе дают вторую попытку. Уж я-то должен был понять, что она из тех, кто за свою преданность только шишки хватает. Ну да, она имела к Винсу слабость, все пыталась ему угодить, и я думаю, она могла бы стать ему хорошей женой — еще ведь и не всякая за него пошла бы, с учетом его обстоятельств. А потом, если подумать, и для нее неплохо было бы зацепиться за «Доддса и сына». Вы скажете: эка невидаль, мясная лавка, но когда у вашего старика только и есть что лоток с овощами и фруктами, это все ж таки ступенька вверх. Правда, у Винса было свое мнение насчет «Доддса и сына», он не хотел иметь с этим ничего общего, и, думаю, знай я раньше, что из него в конце концов выйдет, я уже тогда сказал бы ей: «Держись за него покрепче, дочка». Или наоборот: «Оставь

парня в покое, это не твоего поля ягода».

Честно говоря, я ведь и сам об этом когда-то мечтал, как и любой нищий трудяга вроде меня. Шикарный костюм, шикарный галстук, шикарная тачка, в кармане всегда есть чем ударить. Когда я каждый вечер ходил в спортзал Скоби, это и маячило впереди. Да еще все красотки на свете. Но война сорвала мои планы. Боксер, значит, спортсмен? Замечательно, то что надо. Хотя я никогда не понимал, какая связь между хорошим хуком левой и умением рыть окопы.

И гляди-ка, кто обскакал ее в результате. Малютка Мэнди. Потаскушка из Ланкашира.

Я так думаю, каждому поколению предыдущее кажется бестолковым. Пускай у Винса были свои мысли насчет «Доддса и сына», но все равно это уж чересчур — завербоваться в армию на пять лет только ради того, чтобы уйти из-под власти Джека, да еще тогда, когда все его ровесники благодарили Бога, что поголовный призыв им уже не грозит. По-моему, это слишком большая плата за то, чтобы не стать помощником мясника и научиться чинить джипы. А ведь могли и покалечить парня. Хотя кто-кто, а я не заплакал бы.

И не надо вешать мне лапшу на уши, дочка, насчет того, что он вернется и обнимет тебя. Насчет

того, что он сбежал в Иностранный легион, чтобы там стать мужчиной.

* * *

Я сказал: «Ну что ж, Джек, ты не можешь пожаловаться, что он не пошел по твоим стопам. Ты ведь и сам был солдатом, не только мясником».

А он глядит мне в лицо, точно хочет сказать: неподходящее у меня нынче настроение для шуток. И говорит: «Я стал мясником по своей воле».

Но я знаю, что и тут не обошлось без своего рода мобилизации. Беседовал как-то с Рэйси на этот счет.

«Солдат? Негодяй, который не выполнил своего долга. Жалкий дезертир — вот он кто, я считаю», — говорит он.

И ты прав, думаю я. Но говорю: «Это была не единственная причина. То, что ты считаешь причиной, — она не единственная».

А он и не слушает. Слышит меня, но не слушает. Как будто во всем мире только одна причина, и это Джек Доддс, потомственный мясник.

«Ты ему не хозяин, Джек. Мы ведь им не хозяева, верно?» — говорю я.

«Не мели чепухи», — отвечает он.

Он глядит на меня, и я думаю: ты небось порадуй-

ешься, что ты ему не хозяин, когда выслушаешь меня до конца, потому что ты, конечно, мужик здоровый, а я уж лет пятнадцать как не выходил на ринг, но тем не менее. И говорю: «Мы им не хозяева, правда? Хоть и родители, но не хозяева».

«Чушь ты мелешь», — отвечает он.

И тогда я говорю: «Другой причиной была Салли. Он ей оставил подарочек на прощанье. Теперь, значит, придется ей от него избавляться».

Дартфорд

— Как там твоя Кэт? — говорит Ленни.

Винс долго не отвечает. То ли он не слышал, то ли его внимание поглощено дорогой. Я вижу, как он глядит в зеркальце.

— Все еще пособляет тебе в гараже? — говорит Ленни.

Ленни знает, что это не так, и еще Ленни знает, что Винсу не нравится, когда говорят о его «гараже». Теперь у него «салон» или, еще хлеще, «демонстрационный зал». Как раз Ленни и сказал однажды вечером в «Карете»: «Он говорит, у него демонстрационный зал — ладно, мы все знаем, что он там демонстрирует».

— Нет, — говорит Винс. — Она же ушла, не знаешь, что ли?

— Надеюсь, без работы не сидит, — говорит Ленни.

Винс молчит. Тогда Ленни отвечает за него:

— Я слыхал, что не сидит.

— Так чего тогда спрашиваешь? — говорит Винс.

И чуть сильней нажимает на газ. Мы все слы-

шим, как прибавились обороты.

— Как насчет того, чтобы где-нибудь перекусить? — говорит Вик.

— Любопытно просто, — говорит Ленни. — Мало ли кто что сболтнет.

— Хорошая мысль, Вик, — говорю я.

Вик все еще держит коробку. Пора бы ему поделиться.

— Зря она ни разу не зашла проведать Джека в больнице, — говорит Ленни. — Когда он уже… А он бы обрадовался. Были времена, когда она его дедом звала.

— Не был он ей дедом, — говорит Винс.

— Я бы предложил где-нибудь в районе Рочестер-уэй, — говорит Вик.

— Дочери, — говорит Ленни. — Кому они в радость?

Мы подъезжаем к развязке М25. Машин много.

Ленни смотрит на меня. Он говорит:

— А ты от Сюзи что-нибудь получаешь?

— Бывают письма, — говорю я.

— Как ты думаешь, она приехала бы на твои… ну, словом, объявилась бы, если б ты… — говорит он.

— Ну и вопросец, — говорит Вик.

— Зато честный, — говорит Ленни.

— Я об этом не думал, — отвечаю я. Но это неправда.

— Нормальный вопрос, — говорит Ленни.

— Джек был бы не против, если б знал, что мы остановимся перекусить, — говорит Вик. Винс глядит на него.

— А как твое потомство, Вик? — спрашивает Ленни. — Ты-то вроде правильно извернулся: народил себе парочку сыновей, пристроил их к делу, чтоб можно было после уйти на покой. Передать эстафету. И все такое прочее.

— Не жалуюсь, — говорит Вик.

— «Таккер и сыновья», — говорит Ленни. — Неплохо звучит, а, Винс?

Винс не отвечает.

— Правда, Винс?

И Винс говорит, свирепо, сквозь зубы:

— Ну, я Винс. Дальше что?

Он выезжает на соседнюю полосу, чтобы обогнать грузовик.

— Дочери, дочери, — говорит Ленни.

Небо чистое, синее и ясное, по нему плывут только клочки облаков. Легкий ветерок шевелит листву деревьев вдоль обочины. На указателях надписи: «Севеноукс, Дартфорд — в туннель». Мы уже выбрались из Лондона, но вокруг, по обе

стороны, еще то ли город, то ли загород. Как будто едешь-едешь, и все по одному месту.

— Ты, наверно, устал держать, Вик, — говорю я, — Хочешь, мы подержим?

— Так когда ты думаешь отвалить в сторонку, Вик? — говорит Ленни. — Когда твои парни возьмут дело в свои руки?

Я гляжу на Ленни. И думаю: погоди маленько, Вик, еще мы двое остались.

— Куда торопиться, — говорит Вик. — У меня пока есть клиенты, ради которых стоит повременить.

Мне не видно лица Вика, но он не усмехается и не поворачивается к нам, чтобы подмигнуть.

— Да и с ребятами мы неплохо ладим. Ты не проголодался, Ленни?

— Пить охота.

— А ты ведь мог бы махнуть куда-нибудь, Вик, — говорит Винс. — Куда-нибудь получше Маргейта.

— Бугор нацелился на Багамы, — говорит Ленни.

— Если каждый заказ под тыщу стоит, — говорит Винс.

— Это Джек во столько обошелся? — говорит Ленни. — Надо сказать Джоан, чтоб копила де-

нежки.

— Если я не ошибаюсь, — говорит Винс.

Вик помалкивает.

— Ты сегодня угощаешь, Бугор? — спрашивает Ленни.

— Так если устал, давай ее сюда, Вик, — говорю я.

— Извини, Рэйси, — говорит Вик, точно он забыл. — Хочешь подержать его немножко? — И поворачивается с мягкой улыбкой, как будто дает понять, что не хотел оскорбить мои чувства.

— И все-таки, Вик, — говорит Ленни, — как решишь, что устал, можно и уйти спокойно, а?

— Я об этом подумывал, — отвечает Вик. — На.

И передает мне коробку.

— Дик с Тревом умеют вести дела? — говорит Ленни.

— Конечно.

— Вот это да, — говорит Ленни. — Это здорово. А дочери — что от них проку, верно, Рэйси? Одна головная боль.

Теперь коробку держу я, Джек у меня на коленях. С минуту мы все смотрим в окошко, потом Ленни говорит:

— И все-таки ты запросто можешь уйти на отдых, Вик. Чем ты хуже молоденькой Кэти?

— Она не уходила на отдых, — говорит Винс.

— Ах, вон оно что? — говорит Ленни. — Стало быть, это правда, что ей не надо жить за чужой счет? Знаешь, по-моему, ты здорово проиграл, Бугор, — она ведь небось приманивала клиентов?

Винс ничего не отвечает.

— Небось одна ее юбка стоила шести твоих галстуков?

Винс ничего не отвечает, но его плечи вроде как малость приподнимаются.

— Я слыхал, теперь у нее свои клиенты появились.

Лицо у Ленни все шершавое, красное. Не знаю, может быть, это из-за того, что он когда-то занимался боксом, или он всегда такой был, но с нормальным, гладким лицом я его не помню. Он бросает на меня косой взгляд, и я чувствую себя дураком с этой коробкой на коленях: выпрашивал ее, как ребеночек цацку. Винс говорит:

— Да, не мешало бы остановиться передохнуть.

— Может, поэтому она и не навестила Джека, — говорит Ленни. — Так ему не пришлось узнать, что его внучка стала…

— Она не его внучка, — говорит Винс.

— А как насчет остального?

— Эй, друзья, — говорит Вик, — не забывайте, кого мы везем. — Ему бы свисток на шею.

— Он все равно ничего не слышит, — говорит Ленни, — и не видит тоже. Правда, Бугор другого мнения.

Я снимаю коробку с коленей. Хочу поставить ее на сиденье между Ленни и мной, но там лежит пиджак Винса.

— Смешно сказать, — говорит Ленни, — но если б меня спросили, какой у Винси девиз, я назвал бы «С глаз долой, из сердца вон».

Ленни смотрит, как я вожусь с коробкой. И говорит:

— Чертик в коробочке, а, Рэйси?

Я ставлю коробку на пиджак и слегка разглаживаю материю, чтобы не помять. Винс чуть поправляет зеркальце, глядит, что я там делаю, но я почему-то уверен: пиджака ему не жалко, не об этом он думает. Он не поворачивает зеркальце обратно.

Мы едем дальше молча, хотя Винс как будто собирается что-то ответить. Он все поглядывает на свой пиджак с коробкой. Наконец поднимает голову и наклоняет ее набок, точно желая показать, что его слова не относятся ни к кому в особенности, но если и относятся, то к Ленни. Его

голос звучит как-то странно.

— Я всегда думал, что они нас видят, — говорит он. — Всегда думал, что мы их нет, а они нас да.

Рэй

Сюзи кладет фен и пару раз коротко, сильно встряхивает головой, чтобы распушить волосы, и я думаю: нельзя отрицать, что она выглядит лучше, чем в ее возрасте выглядела Кэрол. По отношению к Кэрол думать так не очень-то хорошо и порядочно, хотя это и не важно, потому что она часть Кэрол и что-то от Кэрол есть в ней, мы все — часть друг друга. Нельзя сказать, что, если б мне разрешили начать все заново, я выбрал бы не Кэрол, а Сью, поскольку без Кэрол никакой Сью и не было бы. Зато верно другое: если б я был не я, а молодой парень по имени Энди, и если б я приехал из Австралии, из Сиднея, тогда я влюбился бы в Сью так же, как когда-то влюбился в Кэрол, только сильней. Влюбился бы в собственную дочь.

И еще одно верно: что у них теперь все выходит лучше, легче, быстрее. В наше-то время не до того было — ранец на плечи и ать-два, с песней вперед. Мне бы родиться позже, как Винсу. Но мы с Винсом разные люди. И потом, для меня все равно никто не приберег бы восемнадцатилет-

нюю Сюзи.

У нее включен транзистор. Мы кружимся, кружимся, вместе с тобой… Она двигает в такт плечами, будто танцует, но сама не встает с места. Я снова стучу в приоткрытую дверь. В первый раз она не услышала, из-за фена и из-за приемника, так что я, наверное, полминуты простоял за порогом с чашкой кофе в руках.

Кэрол пошла в магазин, а Сью укладывает волосы. Субботнее утро. Да и я тоже вот-вот отправлюсь по обычному маршруту: табачная лавка, букмекерская контора, пивная. Чашка кофе нужна для того, чтобы смягчить мой уход, но и для того, чтобы исподтишка подглядеть за дочерью.

Она оглядывается, улыбается, опять встряхивает головой — теперь уже не ради прически, — и я говорю себе, как сказал в первый раз много лет назад, когда она едва вылезла из колясочки: ну и кокетка, откуда только взялось. Она кокетничает с собственным отцом, причем намеренно — стало быть, ей что-то нужно.

Она говорит спасибо, выключает радио, берет у меня чашку и, подув на горячую жидкость, делает быстрый глоток. Потом ставит чашку и начинает расчесывать волосы и косится на меня, этак

неодобрительно — чего, мол, от меня ждать, — и говорит: «Опять в „Карету“?» Ответа от меня не требуется, потому что я хожу в бар почти каждый выходной, но она все равно спрашивает, чтобы вывести меня из равновесия, и я снова думаю, что это неспроста. И когда я повторяю нашу старую шутку: «Да ведь „Карета“ сама ко мне не приедет», — она улыбается и хмурится одновременно, и у нее на переносице появляется жесткая складочка, которая наводит меня на мысль, что речь пойдет не о пустяках.

Она сгоняет с лица улыбку и снова отхлебывает кофе. «Погоди минутку». И делает медленный, глубокий вдох. Она Держит кофе на коленях и смотрит в него, свесив волосы, точно загадывает желание, точно молится про себя, и я думаю: ох ты Господи. Едва не говорю это вслух. Мне вспоминается Салли, вспоминается, как Ленни пришел ко мне: «Рэйси, я должен выиграть на бегах, срочно». Я помню имя лошади, которая победила в Кемптоне: Отважный Пират, одиннадцать к двум. Сюзи поднимает глаза. Она умеет читать на моем лице, как на доске объявлений.

«Нет, это не то, — говорит она чуть ли не со смешком, чуть ли не с облегчением. — Не то, другое».

Потом она похлопывает по своей кровати, чтобы я сел, — кровать у нее узенькая, она спит в ней лет с шести.

«Он ищет свои корни», — говорит она.

«А чего их искать-то, коли они дома», — отвечает Кэрол.

«Да нет, своих предков. Хочет выяснить свое происхождение, — говорит она. — Проследить свой род, узнать, откуда он вышел. Многие из них это делают, если уж попадут сюда».

Все ищут свои корни.

И это очень удачно, что его род пошел из какого-то поселка на дальней окраине Сомерсета, потому что заодно они могут славно отдохнуть, прогуляться по Западной Англии. Могут включить в свой маршрут Стоунхендж, собор в Солсбери, Чеддарское ущелье и все остальные места, на которые интересно поглазеть австралийцу. С палаткой и стареньким «фордом» легко подцепить подружку. Ему повезло, что сейчас лето, ее первый год в колледже, да и времена меняются — длинные волосы, короткие юбочки, девчонки с парнями на равных. Вот она в чем, причина, и нечего полоскать мозги насчет чьего-то там происхождения: уверен, что им чихать, найдут они эту Навозную Кучку, откуда он родом, или нет,

им лишь бы вдвоем на траве-мураве поваляться.

Мы никогда не согласились бы, если б не эти его чертовы корни.

Но нам пришлось дать разрешение, потому что так уж нынче принято, и неважно, что сказали бы в подобном случае наши собственные родители.

Так не бывает, чтоб всем все доставалось, правда, Рэйси? Но-о, родимая! Я вижу, Дейзи Диксон уж окрутили.

Но когда они уехали, я желал им только хорошего. Мне хотелось быть на их месте. Я думал, как они едут по Англии. Гэмпшир, Уилтшир, Сомерсет, по холмам, по лесам, за тридевять земель. Представлял, как они разбивают палатку и ложатся там рядышком, а кругом пахнет травой и от ночи их отделяет только легкое полотно. Уж я-то мог бы порассказать тебе, девочка, о ночевках под звездами! В пустыне ночью запросто задницу отморозишь. И еще — было это на самом деле или нет, но я не мог не представлять себе, как они находят где-то укромное кладбище, тишина да зелень, и читают надписи на могильных камнях.

Я лично пустился в странствия и поглядел мир, если так можно сказать, только благодаря войне. Но вот вам он, который добрался до Сомерсета аж из самого Сиднея, и вот вам она, которая отпра-

вилась с ним, и вот я, который до сих пор живет в Бермондси, до сих пор торчит на отцовском подворье на радость Чарли Диксону. Пивная, букмекерская, автобус в Блэкфрайарс. И Кэрол за пятнадцать лет никуда не вывозил.

«Спорим, у них машина сломается?» — говорю я.

«Спорим, она приедет беременная?» — говорит она.

Лицо у нее кислое, сердитое, словно это я виноват, это меня надо будет ругать в случае чего, потому что не она ведь первая ей разрешила.

Оно и правда — эй вы, парочка, взяли бы да сбежали без предупреждения!

Не знаю, что было сначала: то ли ее дочь выросла и стала получать много всякого, чего ей не досталось, и тогда она решила, что сделала неправильный выбор, то ли она и раньше так думала, но загнала эту мысль подальше, чтобы вырастить Сью. Ей было сорок, почти сорок один. Она не хотела второго ребенка, куда там. Мне кажется, она и Сью-то не хотела. Сюзи была для меня. Иногда я вспоминаю об Эми и думаю: нет на свете справедливости.

«Ну что, спорим, Счастливчик Джонсон? — говорит она. — Рискнешь монетой?»

* * *

Она снова отпивает кофе, складочка на переносице никуда не делась, и я думаю: если у нее в печке и впрямь не сидит пирожок, тогда в чем тут штука и почему ей так трудно найти слова? И вдруг меня как будто лягают изнутри, и я чуть не подскакиваю прямо здесь, на кровати, потому что все сразу становится ясно как день — надо было догадаться гораздо раньше, дурень я, дурень, и она видит, что я все понял, поскольку сразу начинает говорить, точно я дал ей зеленую улицу. Сверкает на меня своими карими глазами, как она умеет, и говорит: «Пап».

Она говорит, что зимой Энди возвращается в Сидней и она хочет улететь с ним, чтобы вместе жить там. Хочет насовсем переехать в Австралию.

Вот я и влип. Дай им палец. Сначала они едут в Сомерсет, а потом улетают в Австралию. Я думаю: сегодня как сяду в «Карету», так и не слезу.

Она кладет ладонь мне на руку и сжимает ее, точно хочет сказать, что сейчас, пускай на одну минуту, это касается только нас с ней — ее дружок Энди временно за бортом, — и мы одни должны решить, что будет дальше. Как будто запрети я

ей, и она послушается.

Но я могу сказать что угодно, только не то, что на моем месте сказала бы Кэрол: «Нет, девочка. Нет и еще раз нет». И я говорю: «Разве твой дом не здесь?», хотя прекрасно понимаю, что толку в этих словах мало, потому что в случае чего она всегда может сказать: «Мне уже восемнадцать, и я сама за себя отвечаю». Но она не говорит этого, а просто смотрит на меня взглядом человека, который мог бы это сказать.

«А как же колледж?» — говорю я. И это, между прочим, не такой уж пустяк — не такой уж пустяк, что дочка Рэя Джонсона ходит в университет и собирается стать учительницей. Моему старику было бы чем гордиться.

«В Австралии тоже есть университеты, — говорит она. — И учителя тоже». И смотрит на меня, точно готова продолжать спор на эту тему, если мне хочется, потому что знает: никто не сказал бы, что она всю жизнь берет с меня пример. У нее это всегда было больное место, хотя больше мы этого вопроса не поднимаем: ей давно стало казаться, что папка у нее неудачник, что я мог бы найти своим мозгам, про которые все твердят, лучшее применение.

«У Рэйси мозги дай Бог каждому, — говаривал

Джек, — у Рэйси котелок варит».

Да, папка, ты мог бы придумать что-нибудь получше своей скучной конторы.

Но у меня ведь не только контора, а еще и букмекерская. Я еще и играю на скачках.

«Ты же ничего не знаешь про эту Австралию», — говорю я.

«Велика беда, — отвечает она. — Энди мне все покажет». И морщится, потому что старалась не упоминать его имени.

«Оно конечно, — говорю я. — Только сначала я ему покажу».

На ее лице вспыхивают одновременно и обида, и удивление, и ярость, потому что это нечестно, недостойно, это не я. Угрожать расправой. С моими-то мозгами, с моей конституцией. А я ведь никогда не говорил, что Энди мне не нравится. Наоборот, он мне симпатичен, этот шустряк.

Ее лицо горит, глаза сверкают, но потом она круто меняет курс — она у меня не дурочка — и вся становится такой мягкой, покорной.

И я думаю: это справедливо, что она выглядит лучше, чем ее мать в восемнадцать лет, потому что все в мире движется к лучшему, да-да, ведь так и должно быть, и никто не виноват, что они рождаются слишком рано. Правда, я никогда не

видел Кэрол в восемнадцать лет, тогда я был в армии. И, стало быть, почем я знаю? Но все равно, факт есть факт, — я никогда не говорил этого Сью, хотя сейчас, может быть, как раз пора: мне нравилась старшая сестра ее матери.

Мне всегда нравилась твоя тетка Дейзи.

«Ну и что тебе предлагает твой Энди? — говорю я. — Что он может предложить?»

Я представляю, как они едут по Австралии на джипе.

Но тут Кэрол возвращается из магазина. Мы слышим, как хлопает дверь и стукаются об пол тяжелые сумки. В обычную субботу я уже успел бы поставить в тройном одинаре и теперь сидел бы в «Карете», потягивая первый стакан.

И начинается — тут уж и мне, и Сюзи влетает по первое число. Потому что это все я виноват, говорит Кэрол, это меня надо ругать, точно Сью и впрямь принесла нам в подоле. Так что мне приходится взять сторону Сью, чтобы защититься самому, я вынужден отстаивать то, чего не хочу отстаивать. Наверное, Сью на это и рассчитывала. Но толку с этого все равно чуть, я ведь вижу: они спорят между собой, это поединок между ними. А я вроде столба посередине, за который каждая норовит спрятаться. Они продолжают наскаки-

вать друг на друга до конца выходных, как две кошки, и наконец я уже совсем дурею и перестаю соображать нормально и думаю: я прожил с ними восемнадцать лет, но так и не научился их понимать. Приходит момент, когда вместо Сью или Кэрол я вижу только задницу Дюка.

* * *

Я поставил тридцать фунтов на жеребца по кличке Серебряный Лорд, аутсайдера в пятерке. Тридцать фунтов, в шестьдесят пятом году. Я никому не сказал, а сам подумал: если он выиграет, значит, она едет, причем на свои деньги. А откуда еще было их взять? Но, наверное, про себя я уже все решил, потому что не собирался выбрасывать на ветер целую тридцатку. Ведь иногда ты учитываешь и то, в какой форме лошадь, и состояние дорожки, и вообще каждую мелочь, а иногда просто нутром чуешь, просто видишь знаки.

Не всем, понятно, дано их видеть, но на то я и Счастливчик Джонсон.

Хотя и на меня бывает проруха.

Я думаю: я ставлю на кон судьбу Сюзи, играю против того, чего хочу сам, но где-то в глубине моего сознания брезжит и другая смутная мысль, которую мне не удается прогнать, — наверно, эта

же мысль приходила на ум и Сью, и даже Кэрол. А мысль такая: если Сью здесь не будет, если она уедет в далекие края, где мы не сможем с ней видеться, то у нас с Кэрол появится шанс наладить жизнь по-новому.

Он финиширует первым, обойдя второго на полкорпуса; это означает выигрыш двенадцать к одному, и, когда матери нет дома, я сую ей деньги — триста шестьдесят монет. И говорю: «Смотри не проболтайся». А потом: «Это тебе на дорогу. Трать, если надо будет». Я не собирался объяснять ей, откуда я их добыл, но после подумал, что ей и так все ясно. И сказал: «Серебряный Лорд, Чепстоу. Полкорпуса».

Потом заявляется Шустряк Энди, потолковать с нами на прощанье, и Сью сидит рядом с ним, обхватив руками колени. Он говорит, что они решили окончательно, сомнений больше нет, и обещает позаботиться о Сью. Говорит, что теперь, когда нашел свои корни, он наконец-то чувствует себя в своей тарелке — правда, его афганская куртка не очень-то вяжется с этим заявлением. Говорит, что благодаря всему этому, и Сью в особенности, он стал гораздо уверенней в своих силах. На лбу у него такая морщинка, как бывает у людей, все время проводящих на солнце. Мне

хочется ударить его. Хочется схватить этого мерзавца за плечи и встряхнуть как следует.

Кэрол выходит из комнаты. Слышно, как хлопает дверь в кухню. Мы молчим, потом он говорит: «Спасибо, мистер Джонсон. Лошадка не подвела, а?» Я гляжу на Сью, она закусывает губу и опускает глаза. Энди улыбается как дурак. Тогда я встаю и иду к Кэрол.

Она больше не сердится, она плачет, закрыв лицо рукой. Похоже, весь ее последний порох ушел на этот хлопок дверью. Она стоит у раковины и плачет. Потом говорит: «Если она уедет, я ее видеть больше не хочу, понятно?» Но в ее словах нет злобы, она как будто просит о чем-то.

Я обнимаю ее. Для сорокалетней она еще очень даже в форме, ребра прощупываются. Будь я повыше, она уткнулась бы мне лицом в грудь, а я поцеловал бы ее в волосы. Точно она мне вторая дочь. Она и была всегда папиной дочкой, слушалась Чарли. Замуж за меня вышла ради него.

«Ты ее не остановишь, — говорю я. — Ей уже восемнадцать».

«А мне уже нет», — отвечает она.

И только тут я понял, что она боролась не против того, чтобы Сью ехала на край света и начинала там новую жизнь. Она просто ревновала.

* * *

Я старался сделать как лучше, старался наладить для нас лучшую жизнь. Даже на бегах играть бросил. Решил, что пока воздержусь.

Но ничего у меня не вышло. Хотя, может, и вышло бы, не умри вдруг в том же декабре ее отец. Как говорится, пришла беда — отворяй ворота. Упал с крыши — снимал там чугунные кровельные желоба — и разбил голову. Мгновенная смерть. Чарли Диксон, сбор и продажа металлолома.

Не скажу, что у меня было предчувствие, что я видел знаки, но и она после этого свободней не стала. Наоборот.

Я спал в старой кровати Сью — точнее, не спал. Рано уходил на работу. Завтракал на Смитфилде.

Потом, однажды в апреле, я увидел знак. А можно сказать и по-другому: мне надоело воздержание, во всех смыслах. Если удалось один раз, почему не повторить снова. Сто фунтов. Столько можно было потратить за три месяца нормальной игры. И как-то субботним утром в магазин отправился я. А когда пришел обратно, напевал песенку. Если я ни в кого не влюблен и дорога зовет… Я посмотрел ей в лицо, точно явился обра-

довать, сообщить, что весна наступила. И сказал: «Хочешь, покажу кое-что — там, на улице?»

Она выглянула в окно и увидела.

Рокабилли, Юттоксетер,[7] сто к восьми.

«Что это?» — спросила она.

«Дормобиль, — ответил я. — Жилой фургон, модель „люкс“. Дом на колесах, для нас двоих».

«Это последняя соломинка», — сказала она.

7 Примечания: 7

Рокабилли — кличка лошади. Юттоксетер — город с ипподромом.

Винс

Тогда это было не так, как теперь: гонишь по автостраде, и вкус Лондона на твоих губах аж до середины Кента. Тогда это было как морское путешествие, только наоборот. То есть вместо ожидания и надежды увидеть землю ты катил по этой самой земле весь в нетерпении — когда же оно покажется. Море. Его берег.

Я смотрел на ноги Салли. Смотрел на поля, и леса, и холмы, на коров, овец и на фермы, а еще на дорогу, серую и горячую, будто слоновья кожа, — как она бежит на нас, все время на нас, точно мы съедаем ее, заглатываем, а потом снова переводил глаза на ноги Салли, сидящей на коленях у Эми. Ее ноги никогда не оставались в покое — они все время двигались, съезжали вниз, подтягивались обратно, а когда до моря было уже недалеко, она начинала ерзать, стуча сандалиями в стенку под приборной доской, как тогда, когда первая замечала что-нибудь на загаданную букву — сад на С, бензоколонку на Б, — или когда Эми спрашивала ее, не хочет ли она остановиться и сделать кое-что на букву П. В таких случаях

они с Эми уходили вместе, но за разные кусты, и я понимал, что у них все по-другому, не как у нас — вынул да побрызгал.

Дело было не в том, как двигались эти ноги, и даже не в том, как задиралась ее ситцевая юбка: иногда Салли одергивала ее сама, а иногда это делала за нее Эми. Нет — но они были такие голые и гладкие, такие липко-нелипкие, и еще у них был запах, который забивали дорожные запахи, но ты знал, что он есть и что Салли, должно быть, пахнет так с ног до головы, даже в местах, скрытых от твоего взгляда. Он был как запах морского берега, как загадка побережья, куда ты еще не попал.

Салли на коленях у Эми, я в середине, Джек. Могло быть и наоборот, сидеть на коленях у Эми мог бы и я — не такой уж я был тяжелый. Салли могла бы сидеть на коленях у меня. Но Эми хотела, чтобы все было именно так. Я это видел.

И однажды он все равно сказал: «Придется тебе ехать сзади. Вы ведь оба меньше не становитесь. Если хочешь, чтоб мы взяли Салли, придется тебе ехать сзади».

И я перебрался назад, откуда не было видно ног Салли, а запах был только один — сладковатый, тяжелый, застревающий в глотке запах мяса.

Поначалу его не чувствовалось. В кузове была

корзина с едой, и сумка с пляжным барахлом, и коврик, постеленный специально для меня, и мыльный аромат моющего средства, которым Джек отдраивал тут все уголки. Но вскоре запах мяса начинал пробиваться через все это, точно вылезал из какого-то тайника, а еще немного погодя накатывала тошнота, с которой приходилось бороться.

Но я никогда не говорил об этом, ни полсловечка, и они вряд ли о чем-нибудь догадывались — ведь их в кабине обдувал ветерок через открытые окна, — я никогда не стучал в железную перегородку и не просил: «Остановитесь, меня сейчас стошнит». Потому что надо было терпеть ради Салли, ради того, чтобы она ездила с нами. Она была впереди, и я не мог ни видеть ее, ни чуять ее запах, я чувствовал только запах мяса, но знать, что она рядом, пускай невидимая, было лучше, чем ездить вовсе без нее, — ведь я знал, что, когда мы доберемся до места, она будет там вместе с морским берегом. И запах моря прогонит мясную вонь и тошноту, и хотя они будут поджидать в фургоне, чтобы снова накинуться на тебя по пути обратно, до поры до времени на это можно будет наплевать и забыть. Потому что дорога — это одно, а отдых на море — совсем другое. И когда

я опять залезал в фургон, чтобы ехать домой, я думал: в результате всего получается поровну, ведь когда едешь туда, у тебя все впереди, а когда обратно, то остаются воспоминания, и, может быть, ничего другого и не надо, может быть, ты получаешь ровно столько, сколько ожидал: одну хорошую вещь между двумя плохими. Солнце и воздух, а до и после — мучения взаперти.

Мне казалось, что она должна оценить мою самоотверженность. Потому я и молчал. Но вполне может быть, что ничего она не оценила, даже не заметила, а может быть, ее это даже забавляло — что я сижу сзади, как зверь в клетке, — а может быть, они выставили меня назад, потому что Салли нравилась им больше, чем я.

Джун мне не сестра. Нет у меня никакой сестры.

Я залезал туда, и он закрывал за мной дверцы — на одной из них было написано «ДОДДС», а на другой «И СЫН». Потом он шел в кабину и заводил мотор, а я начинал ненавидеть его. Я ненавидел и его, и запах мяса, пока они не сливались в одно целое. Это лучше всего помогало бороться с тошнотой — лучше, чем мысли о хорошем, о Салли и о морском береге, потому что в таких мыслях нет борьбы. Я лежал там на коврике, упиваясь

ненавистью, и думал: я никогда не стану мясником, не для того я родился. И, лежа там со своей ненавистью, я открыл еще кое-что кроме запаха мяса, и мое новое открытие помогло сделать эти путешествия терпимыми. Я прикладывал ухо к коврику. Я слышал скрежет, когда переключались шестерни, чувствовал, как подо мной стучит металл, как дрожат оси, передающие усилие к колесам, и думал: вот как работает мотор, я лежу на рабочих узлах фургона. Это не я, я сам — деталь этого фургона.

Но однажды меня все-таки вырвало. На ковер, и на сумку с корзиной, и на все остальное. Хотя я и тогда промолчал. Словно и не было никакого запаха мяса, а только запах моей блевотины.

На следующий раз он говорит, что Салли не едет и я могу сесть вперед. И я думаю: ну вот, доигрался, теперь Салли никогда уже с нами не поедет, и говорю: «Да я ничего, я могу и сзади. Меня больше не стошнит, честное слово». Но он отвечает: «Она все равно не едет, по крайней мере сегодня. Так что давай, сигай ко мне».

Оба они помалкивают. Как будто, когда я ездил сзади, это было что-то вроде наказания, но и сейчас, когда я впереди, это тоже наказание. Но потом я думаю: я-то не виноват, с чего бы мне

быть виноватым, это они чувствуют за собой вину. Потому что заставляли меня ездить сзади. Потому что изображали из себя Саллиных родителей, а теперь все снова стало как раньше, и с ними только я. И тут он сворачивает с главного шоссе, словно мы едем вовсе не к морю.

Мы останавливаемся на вершине холма, поля убегают вниз. Кругом все зелено. Я думаю: ладно, промолчу, не стану спрашивать, зачем мы здесь. Помню, на этой вершине стояла старая мельница, а какой оттуда вид: поля, и рощи, и плетни, и сады, да еще ферма, часовня, поселок. Все из разных кусков, как будто сшитое вместе.

Мы сидим молча; тихо стучит мотор, ветерок веет. Потом они переглядываются, и он говорит: «Смотри вон туда, вниз. Здесь мы с твоей мамой впервые встретились. На сборе хмеля». Но это мало что для меня значит: хоть я и слышал слово «хмель» и понимаю, что он имеет в виду, когда говорит, что был «под хмельком», но у меня нет ни малейшего представления о том, как его собирают. И я спрашиваю: «А как это — сбор хмеля?» — и он пытается объяснить, но невразумительно, точно я застал его врасплох. Я по-прежнему ничего не понимаю. А Эми говорит: «Кент называют садом Англии». И улыбается моему недоумению. Потом

он говорит — как будто нехотя, только ради того, чтобы не сказать чего-то другого: «Понимаешь, без деревни не может быть и города. Погляди на эти сады. Откуда, по-твоему, дядя Ленни берет яблоки на продажу? А вон овечки…» — тут он останавливается и умолкает, глядя на меня. Потом смотрит на Эми, и Эми кивает, и он говорит: «Пошли-ка со мной».

Мы выходим и шагаем в поля, и я начинаю пугаться. Кругом овцы — блеют, таращатся. Он замирает на месте и оглядывается по сторонам. Я думаю: это потому, что овец убивают. Потому что их режут на куски и едят. Внизу все такое маленькое, далекое, точно мы сами маленькие и глядим откуда-то издалека, и кто-то еще смотрит на нас так же, как мы смотрим вниз. Он глядит на меня, и я чувствую: мне страшно, потому что страшно ему. А ведь мой папка Джек ничего не боится. Но теперь он не похож на моего папку Джека, он мог бы быть кем угодно. Он делает глубокий вдох, потом еще один — очень быстро, и мне кажется, он хочет передумать, но он уже зашатался, падая, на вершине этого холма, и не в силах был себя удержать.

Ленни

Ну вот, Винси возвращается из армии, уже в цивильном костюме, и причаливает к стойке в «Карете», тянет одну за другой и, угостив меня большим скотчем, которого мне не надо бы принимать, спрашивает эдак небрежно: «А как там Салли?»

И по лицу его непонятно, то ли он и впрямь такой наглый, то ли где-то у него в мозгах прячется дурацкая мысль, будто он может снова начать с того места, на котором бросил: вину свою, стало быть, искупил, отслужив в регулярной армии, и теперь готов просить руки моей дочери.

Я думаю, он и Джека примерно так же охмурил, потому что по его, Джекову, поведению можно было решить, что Винс круто изменился, что он понял свои старые ошибки. А ведь, казалось бы, Джек не настолько глуп, чтобы поверить в такую чушь: будто Винс умотал в дальние края на целых пять лет только ради того, чтобы вернуться, попросить прощения и жить дальше, точно он и не уезжал никуда.

Без армии настоящим мужиком не станешь.

Хорошо, что вернулся, сынок. Торопиться некуда — отдохни, погуляй. Ты же знаешь, в моей лавке для тебя всегда найдется работа.

Но он и не думает отдыхать и гулять, он сразу берет быка за рога. Ставит кругленькую сумму из денег, накопленных за годы службы, на лошадь, которую специально посоветовал Рэй, — и Рэй, как оно в последнее время и бывает, не подводит его. Чему доказательство — новенький жилой фургон. Правда, это скользкая тема, мы об этом не говорим — как не говорим о том, что Рэй не подвел Ленни Тейта, когда ему срочно понадобился доктор для его дочки.

Но Винс покупает не жилой фургон, а «ягуар» пятьдесят девятого года, словно хочет показать всему свету, как он намерен жить. Без армии настоящим спекулянтом не станешь. Однако он пристраивает свой «ягуар» на старом дворе Чарли Диксона — тоже спасибо Рэю. Сам-то Чарли переехал на небеса, теперь там металлолом ищет. А Винс покупает набор инструментов и большой домкрат и начинает целыми днями возиться с двигателем: то разбирает его, то опять собирает, — после чего наводит последний глянец на кузов и продает машину. Потом покупает другую и делает то же самое. Не проходит и года,

как на дворе у Рэя стоят уже две машины, то есть кроме фургона, и я говорю Джеку: «Хватит себя морочить, ты же видишь, что это у парня не просто хобби. Может, его и правда хлебом не корми, дай поваляться под машиной, но он занимается этим не только ради развлечения. У него на уме другое».

«Это все Рэй виноват», — говорит он.

«Может, ты и прав, — отвечаю я. — Но у Рэя своих бед хватает, разве не так?»

Но Джек сдается не сразу. Он делает последнюю попытку склонить Винса на свою сторону. И живцом, которого он насаживает на крючок ради этой цели, становится лупоглазая и бестолковая Мэнди Блэк из Блэкберна.

Рассказывают, что в одно прекрасное утро она появилась на Смитфилде в грузовике для перевозки мяса, очень далеко от своего дома — а по ней, так чем дальше, тем лучше, — но усталая, жалкая и голодная. А Джек и его приятели накормили ее завтраком. Но Джек сделал еще один шаг и предложил ей приют на ночь. Любой другой на его месте отправил бы ее обратно, откуда приехала, и избежал бы лишних смешков в свой адрес и лишних хлопот — любой, но только не Джек. Сдается мне, Эми могла бы кое-что об этом порассказать.

Никто не знает, то ли он поступил так просто по доброте душевной, то ли следовал семейной традиции — Доддсы ведь всегда подбирали бродяжек. Как бы там ни было, а Мэнди объявилась в Бермондси вместе с Джеком: он привез ее сюда в своем фургоне и, по-моему, тогда еще вовсе не думал ничего насчет Винса. Наверно, в кои-то веки он подумал о Джун. И об Эми. Эх, дурачина.

Закавыка была в том, что после возвращения Винса из армии у них не осталось свободной кровати. Нет проблем, говорит Винс, он может перекантоваться в фургоне у Рэйси. Всего-то одну ночку — а он ведь привык к походной жизни и ему плевать, что нынче середина ноября. Опять же и машины его ненаглядные рядышком. Но одна ночь превращается в добрую половину недели, она просит их не выдавать ее, а у них не хватает духу выставить ее за дверь, и вот тут-то, думаю я, когда они стали привыкать к ней как к своей постоянной жиличке, Джек и вбил себе в голову, что ему удастся использовать ее в роли наживки для Винса. Хотя с чего он так решил, одному Богу известно. Словно ждал, что Винс скажет «Спасибо, Джек, теперь я снова буду ездить с тобой на Смитфилд. Работенка не хуже любой другой». Точно Винс уже не доказал ему, что он

малый себе на уме. И точно Джек имел право распоряжаться Мэнди. Но факт остается фактом: в комнате Винса поселилась ланкаширская вертихвостка, Винс переселился в фургон к Рэю, ну а потом она естественным порядком является к нему на двор извиниться за беспокойство и видит, чем он там занят с утра до вечера. Вот они и вместе, а под боком у них фургон, ключ от которого лежит у Винса в кармане. И Джек, понятно, оказывается за бортом.

Самое любопытное в этой истории то, что Мэнди и не знала, как ей повезло, — а может, она была хитрей, чем думали, и рассчитала все на годы вперед. Потому что тогда, хотя никто об этом не подозревал, Винс уже был на пути к своей «Доддс моторс», которая после превратилась в «Автосалон Доддса». А по мне, гараж он и есть гараж. И хотя это всегда казалось мне ненадежным делом и вряд ли может считаться основой для блестящей карьеры, у него все сработало и он стал загребать больше бабок, чем когда-либо приносила своим хозяевам лавочка «Доддс и сын». Вы только поглядите на его костюм. А ей, конечно, и платья, и парикмахеры, и отдых на солнышке. Иногда мне хочется, чтобы моя Салли снова сошлась с Бугром, хоть он и сволочь. По-

тому что трудно представить себе худшую долю, чем ее нынешняя, а я ведь помню те путешествия в Маргейт, куда мы с Джоан так ни разу и не съездили, хорошо помню.

* * *

«Как там Салли?» — спрашивает он.

«Тебе что за печаль?» — говорю я.

«Мне интересно, Ленни, — говорит он. — Выпей еще». И глазом не моргнул.

«Она ж замуж вышла», — говорю я.

А сам думаю: крепкие нервы у стервеца, в этом ему не откажешь. Умеет держаться — на то она и армия. Заматерел там, отъел ряшку. Что ж, тем хуже. Сейчас-то видно, почему Джек с Эми позволяли ему, бедному сиротинушке, веревки из себя вить. Небось за эти пять лет он хорошо шишку попарил — там ведь у них и бардаки, и шлюхи всякие. А теперь расселся тут, ставит выпивку, точно он герой-победитель, хотя за что его уважать-то — за то, что убрался из Адена вместе с последними войсками и научился орудовать гаечным ключом да шприцем для смазки? У нас с Джеком и Рэем все по-другому было. Пустыня — это вам не сахар.

«Она замуж вышла», — говорю я. Но не гово-

рю, что она не живет с мужем, поскольку муж обосновался в Пентонвилльской тюрьме. Все равно добрые люди расскажут. Осужден по всем пунктам — четыре за воровство и один за оскорбление действием. Пора нам вводить всеобщую воинскую повинность, а, Винси?

И еще я не говорю, как она сводит концы с концами. Подрабатывает за наличные. Принимает жильцов. А что ей теперь — гуляй не хочу. Спроси у Рэя.

Я не говорю, что детей у нее нет. Одной заботой меньше, разве не так?

«Это я слышал, — отвечает он. — Насчет женитьбы. — И не смигнет даже. — Ну а овощи-фрукты как — берут или нет?»

Винс

Но хороший автомобиль — это не просто хороший автомобиль.

Хороший автомобиль — это бальзам на душу, это друг и украшение мужчины, а не просто средство передвижения. Насчет женщин не знаю. Мэнди ведет машину так, словно в этом нет ничего особенного, ей что машина, что дамская сумочка — все едино. Но хороший автомобиль заслуживает уважения, ты к нему по-хорошему, и он к тебе по-хорошему. А если надо будет, можно разобрать его и поглядеть, как он работает. Тут нет никакой тайны.

Люди ругают их. Говорят, они бич нашего времени. А я говорю: разве это не чудо? Разве не чудо, что всякий может усесться в такую штуковину и поехать куда глаза глядят? Не могу представить себе мир без машин. На мой вкус, нет ничего прекрасней, чем выжать газ и помчать по шоссе — а кругом дорожные знаки, светофоры, белые полосы, все, чтоб ты мог разогнаться, и все это движется, летит, и что-то ждет тебя впереди, и ты чувствуешь, что тоже живешь и дышишь,

именно сегодня, в этот самый день и час. Где мы теперь? Грейвсенд, три мили. Подъезжаем к Грейвсенду. Или когда колесишь по городу в жаркий день — на глазах темные очки, рука с сигаретой свисает из окошка, а по тротуару перед тобой цокает каблучками какая-нибудь козочка. Поедем, милая, кататься…

И я всегда говорил, что дело не только в автомобиле, а в союзе мужчины с автомобилем, они дополняют друг друга. Без человека за рулем машина не поедет. А иногда и мужик не мужик без машины, я это вижу. Всеобщая моторизация — вот что нам надо. Автомобиль должен сочетаться с клиентом, так я говорю. Я не просто торговец машинами, я автокостюмер. И классный механик тоже, коли уж на то пошло, я знаю двигатели, как вы задницу своей жены, хотя сам давно ремонтом не занимаюсь. Хороший автомобиль — он как хороший костюм.

* * *

Он говорит: «Сожалею, мистер Доддс, весьма сожалею».

Прикидывается, сука.

«Бизнес есть бизнес, мистер Хуссейн, — говорю я. — Прокатимся вокруг квартала?»

Мы садимся в «мерс».

«Когда похороны?» — спрашивает он.

«В четверг, — отвечаю. — Двигатель как новый. Покраска и отделка салона — все ручной работы».

«Ужасный удар, мистер Доддс, — говорит он. — Потерять отца — что может быть хуже!»

«На переднюю подвеску надо еще взглянуть, сделаем, — говорю я. — А скорости переключаются как по маслу, верно?»

Он думает, раз Джек умер, со мной теперь сладить легче легкого.

«Гарантии обычные», — говорю я.

Мы проезжаем по Джамайка-роуд и поворачиваем назад на Ротерхайтской развязке.

«Я подумаю», — говорит он.

Значит, может и не купить. Значит, Кэт ему уже надоела. Значит, у меня больше нет над ним власти, так что на барыш рассчитывать не приходится.

А я и так залетел на тысячу.

Мы возвращаемся по Эбби-стрит, тормозим у обочины и не сразу выходим из машины. Но так бывает всегда — надо дать клиенту подумать.

«У меня много желающих, мистер Хуссейн, но вы меня знаете, — говорю я. — Ваше первое

слово».

«Давайте до пятницы, — говорит он. — Кэти, конечно, пойдет на похороны».

«Вы спрашиваете или сообщаете?» — говорю я.

Оно вроде как расхолаживает, если твоя подружка ходит с унылой миной, верно? Если ей надо тащиться куда-то изображать скорбь.

«Спрашиваю», — говорит он.

«Это ей решать, — отвечаю. Что значит не „ей“, а „тебе“. — А машина отличная, мистер Хуссейн. Как раз по вам. Я еще, может, и сам не пойду».

Он смотрит на меня — смутился, видно. Небось думал, что после смерти Джека он меня голыми руками возьмет.

«А разве Кэти вам не говорила? — спрашиваю. — Неужто и словечком не обмолвилась?»

* * *

Это самое лучшее изобретение в мире. Если бы его не изобрели раньше, нам надо было бы изобрести его самим. Это не просто кресло на колесах. Это верный помощник. Друг и товарищ. Вопросов не задает и не лжет никогда. В нем можно быть таким, какой вы на самом деле. Если у вас нет места, которое можно назвать своим, автомобиль вам что дом родной.

Грейвсенд

Вик устраивается поудобнее на переднем сиденье — теперь коробка не мешает ему, — регулируя положение спинки ручкой на дверной панели.

— Как тебе там, Вик? — спрашивает Ленни.

— Отлично, — говорит Вик.

— Все сиденья с электрической регулировкой, — говорит Винс. — Обивка по спецзаказу.

— Вик же не собирается его покупать, — говорит Ленни.

— Не знаю, не знаю, — говорит Вик. — Сколько ты просишь, Винс? — И Винс резко поворачивает голову — попался на удочку, — а Вик усмехается и подмигивает. Потом его лицо снова становится бесстрастным.

По моему мнению, Вик выглядит гораздо лучше нас всех. Если взять Ленни, Вика и меня, любой скажет, что Вик лет на пять моложе. Он и протянет дольше, это как пить дать. Не считая Винса, конечно, хоть и он тоже давно не младенец. А первым из нас, кто уйдет, то есть следующим, будет…

— Шутка, — говорит Вик.

Лицо у него спокойное, ухоженное, с легким румянцем — думаю, он и стрижется не реже чем раз в две недели. Может, это благодаря работе с мертвецами у него такое отменное здоровье, по контрасту. А может, потому, что следит за собой. Или потому, что служил во флоте. Чистый соленый воздух. А нам с Джеком и Ленни достались пыль да мухи.

Но дело не только в том, как он выглядит, а еще и в его манере держаться. Точно его, Вика Таккера, никому врасплох не застать. Точно это само собой разумеется, что ему сидеть на переднем сиденье — неважно, с коробкой или без, — как будто он предводитель нашей маленькой экспедиции. Так держать, Винси. Есть, капитан. Наверное, это тоже следствие его профессии. Он привык смотреть на все как бы издалека, вести размеренную жизнь. Ну и, конечно, без солидности в его бизнесе никуда.

Солидность — вот оно, верное слово. Солидность.

Вик Таккер, к вашим услугам.

Он откидывается на сиденье и прикрывает глаза.

— Ты так и не сказал, Рэйси, — говорит Ленни.

— Насчет чего?

— Как ты думаешь, приедет ли Сью? Провожать тебя.

— Не все ли равно? — отвечаю я. — Кому какая разница?

— И тем не менее, — Ленни говорит тихо, словно думает, что Вик задремал, и не хочет его тревожить. — Кто-то же нужен.

Он имеет в виду: раз уж нет Кэрол. И вообще никого.

— Австралия — она далеко, — говорю я.

— Ну, до следующего мира подальше будет.

Я гляжу на Ленни.

— До какого еще следующего мира? — спрашивает Винс.

— Это я фигурально, Бугор, — отвечает Ленни.

— До Сиднема, по крайней мере, ближе, — говорит Винс.

Потому что там теперь живет Кэрол, туда она переехала. Барри Стоукс, бытовые услуги и ремонт электроприборов.

— И все-таки, — говорит Ленни, будто и не слыхал Винса.

— Может, заскочить туда на обратном пути, а, Рэйси? — говорит Винс. — По Южной кольцевой. — Он вдруг оживляется, точно вспоминает,

что мы все по сравнению с ним старики.

— Все-таки, — говорит Ленни. — Допустим, у тебя тоже будет последняя воля, какое-нибудь идиотское пожелание, вроде вот как у Джека. Кто его выполнит?

— Не будет у меня никаких идиотских пожеланий.

— А вдруг?

Я думаю: Эми здесь нет.

— Ну ладно, — говорю я, глядя на Ленни, — а ты на что?

Ленни глядит на меня. Лицо у него как перезрелая слива. Может, это овощи-фрукты виноваты. Видно, что такого ответа он от меня и ждал, но потом он мягко качает головой и улыбается.

— Не торопись, — говорит он. — Тебе лишь бы ляпнуть что-нибудь.

— Нет проблем, Рэйси, — говорит Винс. — Я все устрою. Тебе что — «мерс» или «роллс»?

Очень тактично с его стороны.

— Ты смотри на дорогу, а то некому будет устраивать, — говорит Ленни.

— А где прикажешь тебя развеять? — говорит Винс. Вик кашляет и подвигается на сиденье, он вовсе не спит.

Он произносит:

— Ты ведь можешь туда съездить, правда, Рэйси? В Австралию, повидаться с Сюзи. А может, и с внуками. Что тебе мешает? Ты же вольная птица.

Он поворачивается и глядит на меня. Тоже помощничек — загнал из огня да в полымя.

— Мелочь, Вик: дорога-то денег стоит, — говорю я.

— Так поставь на какую-нибудь лошадку, — отвечает Вик. — Раньше это, кажется, срабатывало.

Я гляжу на Вика. У него бесстрастное лицо. Что он имеет в виду: вольная птица?

— Вот-вот, — говорит Винс. — Заодно и на мир бы посмотрел. Пожил как люди. В Бангкок по пути заглянул бы.

Голова Винса повернута к зеркальцу.

— И все-таки, ради любопытства, — говорит он. — Где бы ты хотел, чтоб тебя развеяли?

Прямо как таксист. Куда прикажете, мистер?

— Мне без разницы. Пусть Вик решает.

Но Вик ничего не отвечает. Он не говорит «Всегда готов, Рэйси» и не салютует одним пальцем — фирменный жест похоронных дел мастера. И я вдруг мысленно вижу себя в машине, в картонной коробке: большая машина, а за рулем Винс, один только Винс в своем галстуке, запон-

ках и темных очках.

Я отдал ему двор за бесценок. А он его запарил за хорошие деньги.

Потом я думаю: мне-то этого все равно не увидеть. А стало быть, какая разница, если я все равно ничего не увижу. Хотя вдруг Винси прав и они на нас смотрят — в смысле, мертвые, — и когда я помру, то смогу увидеть свои собственные похороны? Вдруг все они на нас смотрят, даже теперь: мой старик, и Чарли Диксон, и Винсовы родители, и Дюк, и Джек вот тоже, подглядывает из своей коробки, и все мертвецы, которых мы с Джеком и Ленни похоронили на войне и которые сейчас лежат в пустыне, потому что нам повезло и наш час тогда еще не пробил?

Тогда я увижу, приедет ли Сюзи.

— Я считаю, тебя бы надо развеять на Таттенемском повороте,[8] — говорит Ленни.

Я гляжу на Ленни. Его лицо ухоженным не назовешь.

— Опять же и покрытию польза, — говорит Винс. Он страшно доволен: нашел новую игру. — А как насчет нас? Насчет тебя, Ленни?

— Я как Рэйси, я не привередливый. Мне тоже

---

8 Примечания: 8

Таттенемский поворот — название поворота перед финишной прямой на ипподроме в Эпсоме.

без разницы.

Коробка лежит между нами, вроде подлокотника.

— Куда-то ведь надо девать прах, — говорит Винс.

Ленни глядит на Винса.

— А как насчет тебя, Вик?

Вик поднимает голову, как будто снова успел задремать.

— У меня все устроено, — говорит он.

— Что устроено? — спрашивает Винс.

— Я купил участок. Давно еще, когда участки были дешевые, — говорит Вик. — Для себя и Памелы. На новом Камберуэлльском кладбище.

Все умолкают. Мы едем дальше. Можно только гадать, о чем думает каждый из нас, но я думаю, что Вику догадаться легче. По-моему, Вик знает больше, чем показывает. Может быть, это тоже из-за возни с мертвецами.

Вик

Я люблю свою профессию. Ее суть не в том, чтобы дешево купить и дорого продать, и не в том, чтобы всучить первому встречному простофиле какое-нибудь ненужное ему барахло. Моего товара никто не хочет, но он всем нужен. Темные личности есть в любом деле, но хуже всего те, кто наживается на чужом несчастье. Я знаю таких, которые не постесняются ободрать как липку свежеиспеченную вдову — продадут ей капитальный дубовый гроб с шелковой обивкой и солидными латунными ручками, все зараз, когда вполне можно обойтись приличным камуфляжем. Я еще не слыхал, чтобы мертвец жаловался. Некоторые торгуют гробами, как Винси машинами. Но сама по себе профессия у меня хорошая, верная. Клиентов всегда хватает.

И потом, она дает тебе преимущество, помогает развиваться. Ты видишь людей в критические моменты, когда проявляются их самые сильные и самые слабые стороны. Когда с них слетает шелуха повседневных забот и им приходится воспринимать себя серьезно, в обстановке торже-

ственности и ритуала. Однако человеку на моем месте не стоит перебарщивать с официозом. Поэтому и шутка бывает уместна. Вот почему я говорю: Вик Таккер, к вашим услугам.

Эту профессию выбирают немногие. К ней надо привыкать с младых ногтей, перенимать ее от отца. Она передается в семье, как сама смерть, от поколения к поколению, и в этом есть что-то успокаивающее. Мою работу не назовешь престижной. Но я ею доволен, я горжусь ею. Если в тебе нет этой гордости, ты не сможешь руководить похоронами. Когда ты выступаешь вперед и Медленно шагаешь перед катафалком, в пиджаке, шляпе и перчатках, тебе нельзя выглядеть так, точно ты извиняешься. Ты должен сделать то, чего хотят люди, потерявшие близкого и дорогого им человека. Ты должен сделать так, чтобы весь мир остановился и посмотрел вам вслед. Бывают случаи, когда владельцу похоронного бюро приходится давить на других почище полисмена. Но иначе похорон не организуешь. Когда люди не знают, как себя вести, им надо подсказать, а ведь большинство людей перед лицом смерти совершенно теряется, это факт. И когда хоронили Джека, было то же самое, что тысячу раз прежде. Опускаются занавеси, начинает играть музыка,

и никто не знает, можно ли теперь повернуться и уйти. Некому сказать: финита ля комедия. Там сидел Рэйси, вместе с Эми, — в переднем ряду, около прохода, — и смотрел прямо перед собой, пока я не подошел туда, не тронул его за плечо и не прошептал ему в ухо, как шептал уж не знаю скольким другим: «Ты можешь идти, Рэйси. Все пойдут за тобой. Эми тоже». И в это мгновение Рэй Джонсон, известный друзьям под кличкой Счастливчик, был в моих руках точно воск, точно сонный ребенок, которого я отправляю в постель.

* * *

Я наблюдал за тем, как Джек убирает с подносов остатки мяса, складывает вместе веточки искусственной зелени, потом вытирает прилавок, размеренно, не останавливаясь, как будто он может делать все это с закрытыми глазами, — но в то же время действуя аккуратно, без суеты, тем более что и день был жаркий. И я подумал: сегодня он рано закругляется, да и вообще, давненько я не видел, чтобы он занимался этим сам, обычно все убирает тот парнишка, который, по словам Джека, не отличает лопатки от филея и не способен удержать в голове цены. Разве что Джек и его

уже успел рассчитать. И этот красно-белый навес совсем обтрепался, пора менять: больше года он явно не протянет.

Мне нравится наблюдать, как в конце дня другие торговцы закрывают свои магазины. Всякий магазин сделан напоказ, не зря ведь его лицо — витрина. Ты можешь смотреть на товар и наблюдать за продавцом, как за рыбой в аквариуме, хотя к похоронному бюро это не относится. Туда, где продают гробы, никого не тянет заглядывать. Их и расставляют соответственно, чтобы в глаза не лезли. С занавесями, ширмами. Никто не хочет видеть нашего брата за работой.

Вот я и стоял там, где частенько стою спокойными вечерами, — за тюлевой занавеской во всю ширину окна, у невысокой панельной перегородки. Этой привычке тоже учит моя профессия. Стоять тихо и видеть все так, чтобы тебя самого видно не было.

Трев отпросился на вторую половину дня, Дик уехал по делам в Мейдстон, и прочие тоже разошлись, оставив катафалки на заднем дворе, вымыв и натерев их воском перед завтрашней работой. Так что я был в конторе один. Если не считать мистера Коннолли, который ждал, пока жена придет его осмотреть.

Я наблюдал, как Джек выходит наружу, чтобы скатать навес — несколько поворотов рукоятки, — потом возвращается внутрь, потом снова выходит, запирает дверь и опускает решетки. Все это, наверно, тоже обошлось ему недешево, хотя сам-то я никогда не покупал ничего подобного, поскольку ни разу не слыхал, чтобы грабители вломились в похоронное бюро. Они нас тоже не любят. Хотя осмелюсь сказать, что у меня в сейфе лежит побольше наличности, чем у Джека.

Я подумал: сейчас он повернет направо, похлопает себя по карманам, глянет на часы, помашет рукой Десу из химчистки и направится в «Карету», где и я присоединюсь к нему через часок, если Вера Коннолли не опоздает. В такую погоду жажда томит. Но я увидел, как он подошел к краю тротуара и посмотрел в мою сторону, точно умудрился разглядеть меня сквозь тюлевую занавеску, точно я его поманил. Потом он обождал, пока не будет машин, и стал переходить мостовую, так что я быстро отступил назад. И вскоре услышал стук в дверь.

«Привет, Вик, — сказал он. — Идешь в „Карету“?» И это было странно, потому что либо он встретил бы меня в «Карете», либо нет, а дорогу туда я и сам могу найти. Он знал, что если я и по-

являюсь там, то позже: мне ведь редко удавалось закончить рабочий день как ему, ровно в пять тридцать.

«Собирался», — сказал я.

«Пить охота, — сказал он. — Денек-то какой нынче».

«Денек славный, — ответил я. — Ты мне об этом пришел сообщить?»

«Первое июня, Вик, — сказал он. — Знаешь, что это за день?»

Я посмотрел на него. Он оглянулся по сторонам. И говорит: «Ты один?»

Я кивнул и сказал: «Может, присядешь?»

Он глянул на меня этак с сомнением, хотя и дураку было ясно, что пришел он неспроста, но все-таки сел туда, куда обычно садятся мои клиенты — те, кто потерял близкого и пришел договариваться о похоронах. А потом сказал: «Все, Вик, пора. Первое июня. Я хочу продать магазин».

Это прозвучало так, словно он сознавался в преступлении. Словно пришел устраивать свои собственные похороны.

«Что ж, — говорю я. — Тогда я точно приду сегодня в „Карету“, раз есть что отметить. Поставишь?» А он глянул на меня и прищурился, как

будто не ждал от меня шуточек на эту тему, как будто подумал: да ты, видно, мало чем отличаешься от остальных-прочих. Зубоскалы, что с вас взять. Потом сказал: «Я только тебе говорю, Вик. Больше никому. Покамест».

«Ценю, — отвечаю я. — Буду нем как рыба».

А сам думаю: нашел из чего тайну делать, чего стесняться! Уйти на покой в шестьдесят восемь лет — это по любым меркам вполне нормально. Пускай он говорил, что будет вкалывать, пока не свалится, и не сдержал слова — кому какая печаль? Зато он наконец собрался сделать то, что Винси советовал ему много лет назад: прикрыть свою убыточную торговлю, пока она его не разорила. Может, решил внять голосу разума. Да и Эми, между прочим, чуть от него не ушла. Хотя об этом-то он ни сном ни духом не ведал.

Я думаю: странная вещь гордость. Маленький человек от нее раздувается, но гораздо хуже то, что большой боится показаться маленьким.

«Что такое мясная лавка, в конце концов?» — говорит он.

А я думаю: да брось ты, Джек, ведь у тебя на лице написано, что она для тебя все, и тебе больно сейчас лгать. Ты небось и не догадывался, как тяжело будет расставаться с привычной лямкой.

Я думаю: выше голову, Джек. Мясники — они ведь сплошь веселые ребята, здоровенные парни с большими ручищами и широкими ухмылками, каким и ты был когда-то. А грустить — это по моей части. Ты не сдаешься, ты просто уходишь на покой. И хотя я, твой ровесник, еще торчу у себя в конторе, вместо того чтобы передать дело сыновьям, это всего лишь специфика профессии. Потому что именно в нашем возрасте многие приходят в похоронное бюро, в нашем возрасте становятся вдовами, и я знаю, что миссис Коннолли приятней говорить со мной, чем с моими детьми.

«Жизнь — она не на одной говядине держится, верно? — говорит он так, точно сам в этом не уверен. — И Эми будет рада».

«Ты сказал ей?» — говорю я.

Он смотрит в потолок, точно я застал его врасплох. И говорит: «Притормози, Вик. Я сам только пять минут назад решил, когда вытирал подносы».

Я подумал: это уже больше похоже на того Джека Доддса, к которому я привык. Выходит, сам того не зная, я наблюдал, как принимается Великое Решение. Видно, не зря человек выбирает, куда и когда смотреть.

«Вот я и подумал: дай скажу кому-нибудь поскорей, например Вику, — говорит он, — а то передумаю, и Эми не узнает».

Да, на прежнего Джека это больше похоже.

«А как мне быть прикажешь? — говорю я. — Если Эми не узнает?»

«Узнает», — говорит он с негодованием, но лицо его опять делается унылым, словно он еще не решил, как ему взять эту преграду, словно на свете нет ничего труднее, чем сообщать хорошие новости.

В моей конторе есть старые часы, которые всегда ровно тикают. Это приятно слышать.

«А как твои ребята, Вик?» — спрашивает он.

Ничего себе ребята, думаю я: обоим уже за сорок. Но я и сам зову их так — моими ребятами.

«Они у меня без дела не сидят», — говорю я.

Он оглядывает пустую контору, потом глядит на меня, точно хочет сказать: это ты у них без дела не сидишь, Вик. Но мне ясно, что означает этот блеск у него в глазах, я видел его и раньше. Он означает: тебе-то легко уйти на покой, Вик, плюнуть на все. У тебя есть Дик с Тревом. Твой бизнес не развалится. И у меня могло бы быть так же.

Я вижу, что он думает о Винсе.

Что ж, тут ты сам все загубил, Джек. Теперь уж никто не поможет.

«Так ты знаешь, что нынче за день? — спрашивает он. — Первое июня?»

Я качаю головой.

«В этот день родилась Джун, — говорит он. — Пятьдесят лет назад. Первого июня тридцать девятого года. Знаешь, где сейчас Эми?»

«У нее», — говорю я.

Он кивает, потом смотрит на свои руки.

«Она ничего не сказала, но я знаю, что она подумала. Что я мог бы сделать исключение. Пятьдесят лет не шутка. У меня была возможность сделать то, чего я никогда раньше не делал. Она сказала: „Я еду к Джун. Как обычно, но сегодня ведь случай особый, правда?“ Сказала: „Я купила ей подарок, браслет“. Ей и не надо было больше ничего говорить, я по глазам все видел. Она не сдается. И я сказал: „Ладно, поглядим“. Мне и это с трудом далось, поверь, Вик».

Чудной ты малый, думаю я.

«Я сказал, что, может, закрою магазин пораньше и приеду к ней туда. Она сказала: „Ты уверен, что найдешь место?“ Я ничего определенного не сказал, хотя получилось вроде обещания. Но когда подошло время — полчаса назад, — я понял,

что не могу этого сделать, не могу себя переломить, в этом смысле по крайней мере. Пятьдесят лет. Джун и не знает, сколько ей, верно? Не знает, зачем нужны браслеты. А потом я подумал: но я могу измениться в другом. Она не увидит меня в больнице с Джун, зато я ей кое-что скажу после. Скомпенсирую».

Я думаю: ты мог бы сделать и то и другое.

«Эми у меня кремень», — говорит он.

Ага, думаю я.

«Джун-то ведь никогда не изменится, верно? — говорит он. — Она все еще ребенок, хоть ей и пятьдесят. Зато я, может быть, изменюсь».

На этот счет я не думаю ничего.

Он смотрит на меня и видит, что я ничего не думаю. Снова оглядывает контору, этак с опаской, точно позабыл, где он, и только теперь вспомнил, что я не приходской священник, а Вик Таккер, похоронных дел мастер.

Он бросает взгляд на дверь в конце помещения. И говорит: «Есть постояльцы?»

Обычный вопрос.

«Один-единственный», — говорю я.

И сразу вижу, как он вспоминает тот день, когда не он прибежал ко мне через дорогу, а я к нему. Тогда я тоже был без помощников, рук

не хватало — и конечно же, как назло, мне достались двое, причем одним надо было срочно заняться. Мне нужен был кто-нибудь. Тогда тоже стояла жара. И я подумал о Джеке. Подумал, может, мясник подойдет. Я сказал ему: «Джек, ты не сделаешь мне одолжение?» Чтобы все объяснить, пришлось отвести его в конец магазина, а то покупатели могли услышать. Он поглядел на меня, потом сказал: «Конечно, Вик», как будто я попросил его перетащить со мной какую-нибудь мебель. Он сказал: «Это мне не понадобится?» — и вытер руки о фартук. Мы отправились ко мне, но прежде чем войти, я спросил: «Ты уверен, Джек?», и он ответил, сердито поглядев на меня: «Мне трупы не в новинку». Я подумал: мне тоже, не ты один был на войне. Головы, ныряющие в нефти. И сказал: «Да, но это женщина». А он и глазом не моргнул, и ухом не повел, точно семидесятичетырехлетняя старуха, которая померла, переходя улицу, ничем не отличается от говяжьей туши. И я сказал: «Спасибо, Джек. Не всякого о таком попросишь». А он ответил: «О чем разговор, Вик. Я и есть не всякий». И когда появился ее старший сын, я подумал: ты никогда не узнаешь, что твою мамочку обряжал мясник из лавки напротив.

Наверное, мясникам и не положено быть брезг-

ливыми, да и не из того он теста, наш Джек Доддс, чтобы испугаться. На всем белом свете его отпугивала только родная дочь. Его собственная плоть и кровь.

«Один-единственный, — говорю я. — Я как раз жду клиентку».

«Тогда я, пожалуй, двину, — говорит он. Но не трогается с места. — По-моему, человек и в последнюю минуту может измениться».

Он глядит на меня, а я на него, словно пытаюсь понять, на что он способен. Я думаю об Эми, которая поехала к Джун. Как миссис Коннолли.

«Ты уверен, что скажешь Эми? — говорю я. — Я ведь теперь свидетель, Джек».

А сам думаю: оно и правда, что свидетель. Может, рассказать ему?

«Я скажу ей, — говорит он с таким видом, точно придумал еще одну хитрость. — А если нет, оставишь это себе. — Он лезет в карман и выуживает оттуда горсть мятых бумажек. Здесь, наверно, и пятидесяти фунтов не наберется. — Дневная выручка, — говорит он. — Двойной залог. Мое слово и мои деньги. Теперь ты видишь: я просто не могу себе позволить торговать дальше».

Он протягивает мне свои банкноты. Я не отказываюсь.

Потом он говорит: «А ты знаешь, Вик, кем я когда-то хотел стать?»

Я гляжу на него.

«Доктором».

Я люблю свою профессию.

Рэй

«На пирамиды бы полюбоваться», — сказал я.

«А я лучше полюбовался бы на ближайший бардак», — сказал он.

Как раз Джек-то и прозвал меня Счастливчиком. И лошади тут были ни при чем, это началось позже. Он сказал: «У ребят, которые ростом не вышли, есть свои преимущества, свое счастье — надеюсь, ты понимаешь. В них и врагу попасть труднее, им и весу меньше таскать по этой чертовой сковородке. Хотя имей в виду, моих преимуществ это тоже не исключает. Я могу в любой момент башку тебе с плеч сшибить. Надеюсь, ты понимаешь».

Тут он улыбнулся, протянул руку, сжал ее в кулак, ухмыльнувшись еще шире, потом снова разжал.

«Джек Доддс».

«Рэй Джонсон», — ответил я.

«Салют, Рэй, — сказал он. — Салют, Счастливчик. Экий ты крохотный! От стирки сел, что ли?»

Я думаю, это было проявлением дружеской симпатии. Он хотел, чтобы я почувствовал себя

свободнее: я ведь был новобранцем, а он уже полгода оттрубил. Но таких, как я, приехало много. Мне кажется, что он решил — а по какой причине, этого я никогда не узнаю — остановить свой выбор именно на мне. Вся эта болтовня насчет моего счастья была просто для отвода глаз. Но если ты что-то говоришь и сам в это веришь, пускай не до конца, оно и сбывается. Это как когда ставишь на лошадь. Дело не в везении, а в уверенности. Хотя должен сказать, что именно ее-то Рэю Джонсону никогда и не хватало — если, конечно, не говорить об особом умении правильно выбрать коняшку. А в случае с Джеком я, наверное, сам был таким коняшкой. Он поставил на меня. И я превратился в Счастливчика Джонсона.

«Ты откуда, Рэй?» — спросил он.

«Из Бермондси», — сказал я.

«С ума сойти», — сказал он.

И это, пожалуй, решило дело.

«Знаешь Валетта-стрит? — спросил я. — Скупку и продажу металлолома Фрэнка Джонсона?»

«А ты знаешь мясную лавку Доддса на Спрингроуд? — отозвался он. — Наверняка твоя мамка там мясо покупает».

Я так и не сказал ему, что нет у меня никакой мамки. А если б сказал, то он небось перестал бы

считать меня таким уж счастливчиком.

«Лучшего фарша во всем Бермондси не найти, — сказал он. — И коли уж говорить о фарше, так его из нас и там могли сделать».

Он сказал, что будет держаться ко мне поближе, потому что я везучий, но по сути все было наоборот. Это я прибился к Джеку. Важно было не то, что я маленький и в меня трудно попасть, а то, что он большой — как стена, как валун. В него тоже пули не попадали, тут нам обоим везло одинаково, если не считать одного раза. Но тому, кто ростом не вышел, надо, чтобы за него заступались — вот как мой старик, который вечно твердил, что у меня есть мозги и мне надо пустить их в дело. Я-то сам и не догадался бы, что они у меня есть, кабы не мой старик да не Джек, который сразу принялся делать мне рекламу. «Это Рэй, у него котелок варит». Хотя в пользу моих мозгов говорило только одно — то, что я скорешился с Джеком.

Я подумал: держись поближе к этому парню, и все будет в порядке. Держись к нему поближе, и вернешься с войны живым.

Он угостил меня сигареткой. И сказал: «Знаешь что, Рэй, по-моему, пирамиды от нас не убегут. — Потом вынул из бумажника мятую карточку с

нацарапанным на ней адресом. — Один дружок дал. По знакомству».

«Может, я не…» — начал я.

«Пирамиды — это ведь могилы, верно, Рэй? — сказал он. — Пирамиды, они для мертвых. А девочкины копилки…»

Тут он вынул еще кое-что, теперь уже из нагрудного кармана, и подтолкнул ко мне через стол. «Сегодня особый день — позаботимся о наших маленьких братцах», — сказал он.

«А может, все-таки…» — сказал я.

«Да что это с тобой? — сказал он. — Только вчера от жены, что ли?»

Я ответил, что нет у меня никакой жены.

«Понятно, — сказал он. Потом выпустил большой клуб дыма и сказал так, как будто для него это мало что значило: — А у меня есть». Вынул из бумажника еще одну карточку и протянул мне.

Я глянул на нее и подумал: хочу оставить ее себе. Да, вот бы мне такую.

Я посмотрел на него, а он на меня, как будто не заметил в моем взгляде вопроса или не хотел на него отвечать.

«Другая жизнь — другие правила, верно?» — сказал он.

«Счастливчик», — сказал я и отдал ему фото.

«Да нет, Счастливчик-то у нас ты — забыл, что ли? — сказал он. — Ладно, давай допивай».

Потом он вывел меня наружу, где вовсю пекло солнце и некуда было деваться от шума и вони, а я так и не сказал ему — уж на это-то у меня хватило ума: «Но я ведь еще ни разу не… Ни одного разу». Если не считать того случая, когда меня разрядила Лили Фостер: это произошло в бомбоубежище во время воздушной тревоги, еще в ту пору, когда все тревоги были учебными. Я запустил руку ей в панталоны и стал шарить там, точно в мешке с рождественскими подарками, но она сказала: «Внутрь не пущу». И я кончил так быстро и внезапно, что испачкал ей юбку — уж не знаю, как она потом дома объяснялась. После этого о второй попытке и речи не могло быть.

Но пока мы шли, отругиваясь от зазывал и нищих, он сказал: «Знаешь чего, Рэйси: потом сходим, поглядим на пирамиды». Так что, может, он и сам догадался.

И теперь у меня есть фотография, которую сделали в тот же день ближе к вечеру: мы с Джеком сидим на верблюде, а позади нас белеют пирамиды. Наверное, на свете тысячи таких дурацких снимков — почти все, кто там побывал, сфотографировались на верблюде рядом с пирамидами,

но этот снимок особенный, ведь на нем мы с Джеком. Это был, можно сказать, мой единственный в жизни жокейский опыт. Джек сказал: «А выйдет у нас?» Я ответил: «Ясное дело. Мне отец давал конем править, когда на телеге ездили». Он сказал: «Но это ведь не конь и не телега, это верблюд». Вы бы никогда не подумали, что он может испугаться какого-то верблюда. Я сказал: «Положись на меня», а он ответил: «Согласен. Куда же мне еще деваться?»

Так что вот они мы, сидим на верблюде, в латунной рамочке у Джека на серванте, около вазы с фруктами. Я хохочу как полоумный. Джек пытается улыбнуться. У верблюда, понятно, морда похоронная. А Эми так и не узнала и до сих пор не знает, чем мы занимались всего за несколько часов до того, как нас щелкнули. «Второй раз за день верхом, а, Рэйси?» И еще она не знает, что именно в тот день я впервые увидел ее фотографию.

Я сказал: «Все ж таки удивительно, а, Джек? Древний Египет. Будет что вспомнить».

«Тебе и так будет что вспомнить», — сказал он.

И тут он был прав — мы с ним много чего повидали. Это так же верно, как то, что я служил в страховой конторе, а Джек торговал мясом. Сейчас это кажется удивительным, как древняя

история: неужели мы с Джеком и впрямь были там, в пустыне? Неужели мы и правда наступали из Египта в Ливию и отступали обратно в Египет, а после снова наступали в Ливию? Маленький человек в больших событиях. И где-то в той же пустыне наступал и отступал Ленни Тейт, хотя тогда мы его еще не знали. И Микки Деннис был убит под Белхамедом, а Билл Кеннеди под Матрухом, и Джек сказал: это несправедливо, что у фараонов по целой пирамиде, а добрая половина Билла даже в обычную могилу не попала. Потом мы двинулись на Триполи, и все без единой царапины. Если не считать одного раза. И тогда угодило не в меня, а в Джека. Ранило его в левое плечо, а у меня над головой просвистело. Но он всегда говорил, что, если б я не сдернул его вниз с песчаного бруствера, ему пришлось бы хуже. Схлопотал бы, как Билл Кеннеди, — аккурат в бабью радость.

Я видел у него этот след в больнице, после операции. Новый шрам на животе, старый — на плече.

Видишь это, сестричка? Подойди-ка поближе. Зацепило в Северной Африке. Кабы не мой приятель, вот этот самый Счастливчик, не лежать бы мне здесь.

«Твое первое слово, Рэй, — сказал он. — Только имей в виду: вон та справа, сисястая, вне конкурса».

Но это было нелегко, потому что я никогда еще не видал сразу пятерых девок, стоящих на деревянном балкончике в одном нижнем белье да ожерельях. Как булочки с глазурью на витрине. И все они хихикали.

«Чего они смеются, Джек?» — сказал я.

«А что же им, плакать?» — ответил он.

И я выбрал самую маленькую. Не сказав почему — но, как выяснилось потом, не ошибся. Я думаю, мне нужен был кто-нибудь, кто научил бы меня тому, чего я никогда раньше не делал, чтобы в следующий раз можно было обойтись без инструкций, и при этом не разболтал бы другим. Даже если Джек сам обо всем догадался. А в этом-то я уверен.

«Отличный выбор, Рэй. Как раз твоего калибра».

И когда она привела меня в свою конурку — полтора десятка мух и галлон духов, — сложность была не столько в действиях, сколько в словах. Например, она сказала: «Давай лизать?» Это было, когда она скинула с себя бельишко, повернулась задом, вильнула им передо мной и снова

развернулась — все так быстро, точно крутанули волчок. И я уже вывесил язык, будто на приеме у доктора, а после подумал: она говорит «Давай лежать», она мне лечь предлагает. Но до сих пор не знаю, так ли оно было. Или потом, когда я выдал свой запас, хотя она еще моргнуть не успела — та же беда, что с Лили Фостер, но здесь я, по крайней мере, внутрь попал, не промахнулся, — и встал, натягивая штаны, потому что думал, так оно и надо, раз-два и нечего рассусоливать, она сказала: «Тебе десять минут. Смотри на часы. Сто думай твой друг, ты так быстро выйти?»

И когда мы вернулись на балкон, Джек уже был там: поджидал меня, облокотившись на перила, с сигаретой во рту, и болтал с другими девицами, которые все так же хихикали, хотя явно мало что понимали, и перешучивался с двумя саперами, которые торговались внизу на дворе с мадам, как будто думал, что этот треп поможет им сбить цену.

«Ну что, порядок? — сказал он. — А то мадам Яшмак уже собиралась идти к вам с гвоздодером».

Но мне и отвечать не пришлось, потому что моя подружка вышла следом и ответила за меня. Она сказала: «Лутсе не надо. Солдат маленький —

стык больсой».

«Стык? — спросил Джек. — Стык?» И все вокруг засмеялись, а я покраснел как помидор.

«Стык?» Джек смеется, и девицы хихикают, и два сапера во дворе поднимают глаза и тоже смеются, и мы в Каире, в Египте, в Африке, в середине войны.

«Ай да девочка у тебя! Одним словом — и сразу обо всем».

Включая нашу с Джеком встречу.

Винс

И я ударил ее. Ударил Салли Тейт.

Потому что сказал: «Знаешь, откуда дети берутся?» — и она ответила: «Нет». Я сказал: «А я знаю». И замолчал, так что она не выдержала: «Ну давай, рассказывай, откуда дети берутся?» Тогда я сказал: «От хмеля. Они берутся от хмеля», и она посмотрела на меня так, будто вот-вот расхохочется.

«От какого еще хмеля?» — сказала она.

Я сказал, что точно не знаю, но это и есть то самое. И с ним что-то делают — собирают, кажется.

А она смотрит на меня этак насмешливо, словно сама уже давным-давно выяснила, откуда дети берутся. Наверно, от нее и пошла эта шутка. Ни с кем нельзя делиться своими секретами. Маленькая шутка вдогонку к большой, но ведь запомнилась же. Так что даже много лет спустя Ленни говаривал: «Возьми еще пивка, Винс. А то детей больше не будет».

Но я не потому ее спрашивал, не потому затеял этот разговор. Дело было не в хмеле и не в том, как его собирают, а в том, кто. Самое главное — кто

его собирает.

Так что потом я сообщил ей главное. Джек с Эми собирали хмель, но от него получился не я, а кое-кто другой. И этого кое-кого назвали Джун. Выходит, мальчишки, с которыми я дерусь, говорят правду. У Винси есть сестренка. Но это и неправда тоже, потому что я получился не от того хмеля, который собирали Джек с Эми, а от того, который собирали…

И она сказала, что знает, давно уже знает про все это.

Вот тут-то я ее и ударил. Она не смеялась, но я ударил ее так же, как бил тех мальчишек.

И с мальчишками я дрался по-старому, чем дальше, тем больше. Потому что теперь я знал, что их слова — это и правда, и неправда. Потому что она не была моей сестрой. Джун мне не сестра, нет у меня сестры. И хотя она не была мне настоящей сестрой, я все чаще дрался из-за нее, ради нее, потому что сама она не могла себя защитить. Потому что раньше, когда я и знать не знал ни о какой Джун, мне некого было защищать и я дрался просто так.

Я думал: можно сделать ради нее хотя бы это. Потому что, хоть она мне и не сестра, я все равно похож на нее. Нет, я не был чокнутый, как про

нее говорили, — но и со мной тоже сыграли злую шутку. Вот я и дрался.

Дрался с мальчишками. С Алеком Кларком, с Фредди Ньюменом. Девчонок я не бил — только Салли. Девчонок бить не полагается, они другие. Но и они могут получить в случае чего — это им понятно, не настолько уж они другие. Так что если одна, или две, или целая их компания начинала дразнить меня так же, как мальчишки, только иногда похуже, я их не бил, я говорил: «А ну покажи трусы».

Тогда Салли и присоединилась к ним, я заметил: когда все стало похоже на игру, когда они принялись прыгать, и плясать, и скакать передо мной: «Эй, Винси, где тут твой хмель?», пытаясь довести меня до состояния, в котором я не смогу побить их.

Потому что раньше она держалась от меня в стороне, мы даже не разговаривали. Потому что я ее ударил.

Но она повела себя не так, как другие девчонки: те-то вздернут на секунду юбочку и сразу бежать с воплями и визгами, чтобы потом украдкой вернуться и сделать то же самое по второму разу. А она сказала: «Пойдем со мной, Винс». И мы пошли на развалины дома, который разбомбили немцы,

пробирались там среди сорняков, кирпичей и мусора, — раньше я даже не знал, как выглядят такие развалины, никогда туда не ходил. Потом она встала и посмотрела на меня и подняла свою юбку обеими руками, подолом к самому носу, как будто загородилась ею. И главное, конечно, было не в ее трусах. Они были темно-синие, ничего особенно интересного. Главным был сам факт, что она стояла передо мной, держа юбку на весу, как скатерть, и терпеливо ждала, пока я закончу осмотр. Тогда я сказал: «Покажи мне свою дырочку».

Теперь с Салли все было по-другому.

Она сказала: «Нет». А я ответил: «Гляди, схлопочешь». И она: «Только если ты тоже покажешь».

Я ответил: «У меня не дырочка, а прутик».

«Там тоже должна быть дырочка, разве нет? — сказала она. Я промолчал, и тогда она сказала: — Ну?»

Лицо у нее было совсем взрослое, серьезное. Я подумал: она и на девчонку-то не похожа, она как женщина, у которой свои мысли.

И я задрал штанину своих шорт, быстро, всего на полсекунды, но она сказала «Еще», точно скомандовала. Посмотрела, а потом взяла его рукой. Взяла и пощупала, словно пришла в магазин и

выбирает помидор или еще какой-нибудь овощ вроде тех, которыми торгует ее папаша.

Тогда я снова ударил ее. Не лапай, пока не купила.

Она была единственная девчонка, которую я ударил. И сама, наверно, понимала, что к ней у меня отношение особое. Мальчишек — тех я бил без разбору. Терри Спенсера. Дейва Крофта. Так что директор вызвал меня на беседу. Его фамилия была Борроу, и он имел привычку тяжело сопеть носом, когда сердился, поэтому мы прозвали его Боровом. Думаю, ему было непросто со мной говорить, если он знал, что я знаю то, что знаю. А знал он наверняка. Он сказал: можешь объяснить мне, что значит слово «хулиган»? Есть много вещей, для которых мальчишка не умеет подобрать слов, но после того, как он посопел немного, я сказал ему примерно вот что: а вы можете объяснить мне, что значит слово «сирота»?

По-моему, это был хороший ответ, один из лучших во всей моей жизни.

После этого он откинулся на спинку кресла и стал сопеть и вертеть в руках карандаш. Когда я ходил на встречу с тем хирургом, мне вспомнился мистер Борроу. Вся наша жизнь — это борьба с разными старыми ослами, которые пытаются

заставить нас перед ними ползать.

Он говорит: «Что ты собираешься делать, Винс? Кем хочешь стать?»

Я думаю: вот идиотский вопрос, потому что я уже кто-то. А он смотрит на меня, играет своим карандашом. Но вся беда в том, что я даже толком не знаю, кто я такой. Поэтому я молчу и только нахохливаюсь, и он это видит. Со спортивной площадки доносятся крики. Я бы хотел быть Гэри Купером, да не могу. Я бы хотел быть самыми разными людьми, даже мистером Борроу, вызывающим на ковер очередного мальчишку, но я не могу, потому что я — это уже я. Я думаю: наверное, и Джун чувствует то же самое. Вокруг нее столько людей, которые на нее не похожи, потому что она другая, и если Джун вообще что-нибудь думает, она должна думать: я не хочу быть как я, хочу быть как они, но я не могу, не могу, не могу.

Но, может, Джун вовсе ни о чем не думает, может, у нее в голове ни единой мысли, а желание кем-то стать — это штука особая. Что-то вроде ведущего вала у машины.

Говорят, их всех убило бомбой, а мне повезло.

Он говорит: «Я имею в виду, чем ты будешь заниматься? — И улыбается — хочет показать, что не желает мне ничего плохого. — Какую про-

фессию выберешь?»

И я вижу, как все они висят передо мной, точно костюмы на вешалках, все профессии — жестянщик, портной, солдат, — и тебе предлагают выбрать одну, а потом до самой смерти притворяться, что это и есть ты. И вполне можно сказать «ему случилось стать тем-то», так же как говорят «ему случилось родиться там-то». Тогда я еще не слыхал этого выражения, но потом услышал. Это хорошее выражение.

Я думаю: он хочет, чтобы я сказал «мясником», но этого он от меня не дождется. Не хочу я быть мясником.

Я сказал Эми: «Возьми меня с собой к ней, я тоже хочу поехать к Джун». Хоть раз, но сделал то, чего он никогда не делал. У Винси есть сестренка, лицо как у теленка. И именно Эми призналась, что он вообще не хотел мне ничего говорить, никогда. С ума сойти — неужто он думал, что я так ничего и не узнаю? Именно Эми сказала мне, что Джун — это была случайность. Не в том смысле, какая она получилась, а в том, что они вообще ее не ждали.

Стало быть, Джун появилась у них случайно, а я — нарочно. Жестянщик, портной, солдат.

«Ну так кем же ты станешь?» — говорит он.

И смотрит на меня, уверенный, что двух ответов тут быть не может. Снаружи раздается свисток — это кончилась игра, и в комнате становится тихо, как под шерстяным одеялом, я слышу только его дыхание. Как раз в такие минуты я думаю: если они могут меня видеть, то, должно быть, видят сейчас.

Росла она, ласки не зная, по дому родному скучая.

Я ничего не отвечаю, и он, наверно, догадывается, что больше всего мне хочется его ударить.

Потом говорю: «Что я хотел бы делать, сэр, чем я хотел бы заниматься — это собирать хмель».

Рэй

Голос принадлежал Эми, но мне почудилось, только на одно мгновение, что я слышу Кэрол.

«Они ничего не могут сделать, Рэй», — сказала она. И в ее голосе я услышал твердость, такую же, как у Кэрол.

Она сказала, что он еще не оправился как следует после операции и Стрикленд до поры до времени не хочет ему все выкладывать. Но ей он сказал и Винсу тоже, коротко и ясно. Надежды нет. Он вскрыл его и сразу зашил обратно. А потом, когда она сидела у его кровати, он ненадолго очнулся и она ничего ему не сказала, а он ничего не спросил, только поглядел на нее и сказал: «Пускай Счастливчик придет».

«Так по-твоему, он знает?» — сказал я. Имея в виду: по-твоему, он знает, что все кончено? Но сам подумал — как, наверное, и Эми, — что мои слова можно понять и по-другому. Не в этом ли причина того, что он хочет меня видеть, — зачем, в конце концов, людей призывают к смертному одру? Я все равно ходил к нему чуть не каждый день, но тут он попросил: пускай Счастливчик придет. То, чего ты не знаешь, не может причинить тебе

боли, и лишние разговоры только бередят душу, но когда человек умирает, это другое дело: ведь скоро у меня даже выбора не останется, сказать ему что-нибудь или ничего не сказать.

Наверное, и Эми подумала о том же, потому что она вдруг притихла и словно бы растерялась.

Я сказал: «Но ты же не думаешь, что он думает, раз меня зовут Счастливчиком, то…»

Экая глупость.

Потом она заплакала. Слышно было, как в коридоре ходят и разговаривают.

Я сказал: «Хочешь, чтобы с тобой был кто-нибудь?»

«Все в порядке, — сказала она. — Со мной Винс и Мэнди. Они останутся на ночь».

«Завтра с утра первым делом туда приеду, — сказал я. — Как только начнут пускать».

Мы помолчали, а потом она сказала «Прощай, Рэй», точно собиралась в какое-то дальнее путешествие и я мог вообще больше не увидеть ее, по крайней мере прежнюю Эми. Но нас покидала не Эми, а Джек, и как раз в этот миг мне почудилось, что я слышу не ее голос, а Кэрол.

«Я серьезно, Рэй, — я больше не вернусь. Слышишь? Я не вернусь к тебе».

В лицо сказать побоялась.

Я прижимал трубку к уху, точно плохо слышал, и мне вспомнилось, как Сью первый раз позвонила из Сиднея и я прилип к телефону — звонок-то, почитай, с другого конца света, — но голос Сью звучал так, словно она стояла за ближайшим углом. И я сказал ей: «Слушай, милая моя, до тебя как будто рукой подать». А теперь голос Кэрол доносился сюда точно с другого конца света, но я-то ведь знал, откуда она звонит. Не из Сиднея, а из Сиднема.

«Я не могла сказать тебе дома, но говорю сейчас».

Но я почти видел ее лицо на другом конце линии, видел, как она пытается найти для меня последние слова. И до сих пор вижу.

«Я останусь с ним, Рэй. Я и сейчас с ним, и я не вернусь к тебе. Прощай, Рэй».

Я не сказал «Прощай, Кэрол». Прощайте, миссис Джонсон. Не доставил ей этого удовольствия и себя не уронил. И это была вся моя жалкая месть: я так и не сказал ей «прощай». Просто положил трубку. А потом сидел молча, в наступающем вечере. И думал: я не пойду в «Карету», я не могу туда пойти. У меня не получалось представить ее с другим мужчиной, хоть я и знал, что он у нее есть. Барри Стоукс. Это так же глупо, как предста-

вить меня с… Но если уж ей приспичило иметь другого, она могла бы, по крайней мере, найти какого-нибудь богатого засранца, или красивого засранца, или доку по постельной части, коли уж на то пошло. А не помощника управляющего в доме быта, где подрабатывала от случая к случаю.

Будь я другим человеком, я не сидел бы здесь, в наступающей темноте, даже не зажигая света, даже не шевелясь, точно надеялся потихоньку раствориться в воздухе. Другой на моем месте опрокинул бы парочку шкафов или смахнул с каминной полки всю дребедень. Другой надел бы пальто и пошел прямиком туда, где она сейчас, и вышиб бы дверь, если надо, а потом вышиб бы тому парню все зубы.

Но все это не для меня, я ведь мужичок маленький.

Я подумал: сначала моя дочь уматывает в Сидней и перестает писать, потом жена берет и делает ручкой. И после этого меня еще зовут Счастливчиком.

Я подумал: да, не очень-то тебе помогло твое участие в битве под Эль-Аламейном.

Другой человек повел бы себя по-другому. Но я просто сидел в темноте, не двигаясь, не шевелясь, пока не обнаружил, что я не сижу, а лежу свер-

нувшись, по-прежнему одетый, и уже шесть утра. Тогда я встал, умылся, побрился, надел свежую рубашку, и сунул в тостер два ломтика хлеба, и заварил себе чай, все как обычно. Вымыл посуду, которая накопилась в раковине. Заглянул в кошелек и положил кое-что в сумку. Потом отправился во двор, к гаражу, переделанному Чарли Диксоном из старой конюшни. Купил по дороге свежую «Спортинг-лайф», пачку «Плейерс» и подумал: нынче среда, утро, и я еще живой. Стоял конец апреля. Я вывел задом фургон и протер ветровое стекло, не выключая двигателя. Поглядел на колеса и подумал, не проверить ли мотор, но потом решил: надо ли суетиться, если на нем почти не ездили? Я посмотрел, все ли на месте в кузове: газовая плита с баллоном, бак с водой, шкафчик с чайником, кружками, полотенцем и прочей мелочью. Путеводитель «По интересным местам Англии и Уэльса». Я выехал со двора, остановился, вышел, закрыл ворота, «Чарлз Диксон, сбор и продажа металлолома», и запер их на висячий замок. Утро было ясное, свежее. Я влез обратно в кабину и покатил в Ньюмаркет.[9]

---

9 Примечания: 9
Один из городов, где есть ипподромы.

Винс

Колесницы любви.

Если хочешь погулять вволю, имей машину.

«Сигай внутрь, Мэнд», — говорил я.

Обычно я вывозил ее за город по старому шоссе A20, или по Севеноукс-роуд, или по той дороге, которую мы выбрали сегодня. Сворачивали не доезжая Рочестера. В Баджерс-маунт, Шорем-вэлли, Брандс-хэтч — словом, где-нибудь в тех краях, в Кенте. Но я никогда не забирался с ней дальше, в самые дебри прошлого. Я мог бы остановиться, как Джек, и сказать: вот тут все началось. Но в таких путешествиях с секретом не было нужды, потому что я все ей выложил, как только мы впервые завалились в фургон Рэя, — всю подноготную Джека и Эми, включая историю с Джун.

«Так, значит, Джек с Эми и тебя взяли со стороны, — сказала она. — Пожалели тебя так же, как меня». Точно они заранее научили ее, что говорить.

«Я у них ничего не просил», — ответил я.

Но мы все равно были два сапога пара, я и Мэнди.

В ту пору выехать за город было проще, и машин было меньше, так что я убивал сразу двух зайцев. Во-первых, проверял, хорошо ли работает двигатель, который я налаживал последним: нет ли в нем каких неисправностей. А потом мы оба проверяли, не появилось ли каких неисправностей в нас самих. В те дни мы с Мэнди перепробовали на мягкость не одно заднее сиденье.

Конечно, мы могли выйти из автомобиля, отправиться куда-нибудь на уютную лужайку, расстелить там одеяло и заняться этим на природе, как кролики. Иногда мы так и делали. Но земля не всегда бывает сухая, а погода не всегда теплая, да и потом, Мэнди, по-моему, довольно скоро просекла, что я люблю заниматься этим в машине. Лучше всего на черном потертом кожаном сиденье. Я любил, чтобы все было быстро и вроде как наспех, точно время поджимает и некуда больше податься, и Мэнди, по-моему, тоже это нравилось, потому что дело обходилось без лишних улещиваний — один взгляд, кивок, и вот ее ноги уже вокруг моей шеи. «Ты и вправду никогда не занималась этим в машинах?» — спрашивал я, а она говорила, что у ее дружков из Блэкберна в жизни не было машины. «Дружки? — говорил я. — Что за дружки? Стало быть, ты там практику

проходила». — «Какой догадливый», — отвечала она.

Она садилась на меня верхом, упиралась ладонями в потолок фургона, который был как раз на нужной высоте, и отталкивалась от него.

Я знаю, что она не того ждала, не на то рассчитывала, но люди быстро приспосабливаются. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Я знаю, что Лондон виделся ей чем-то вроде Большого Бардака, где она будет трахаться с кем ни попадя или бродить по улицам с какими-нибудь волосатыми придурками, а потом отдаваться им в подвале. А вместо этого Джек и Эми в первый же вечер забрали ее под свою крышу, словно она сбежала от мамочки с папочкой только ради того, чтобы найти им заместителей. И она, в общем-то, не особенно разочаровалась, она была даже благодарна. Я сказал ей: им это не впервой, прецедент уже давным-давно был. Так и сказал, прямым текстом: «Они хотят, чтобы ты стала сестрой, которой у меня нет». И тогда ей было самое время опять слинять, и по-быстрому, да только она не захотела.

И вместо того, на что рассчитывала, она получила меня: Винса Доддса, круглого сироту, прямиком из аравийской пустыни. Парня, который

сутками лежит под автомобилем и выбирается оттуда только затем, чтобы полежать на ней.

Я сказал ей, что удрал, и все тут. Сбежал в армию. Другие бегут от армии, а я вот наоборот. Потому что не хочу стать подручным мясника, ему в угоду.

«Так чего тогда вернулся?» — спросила она.

Я сказал, что теперь-то другое дело, разве нет? Теперь у меня свое занятие — спасибо дяде Рэю, а также Королевским инженерным войскам. И если Джек думает, что я брошу возиться с машинами и снова нацеплю белый фартук, то он глубоко ошибается.

«Если ты так его ненавидишь, почему не поселишься отдельно?» — сказала она.

«Я и поселился, золотко, — ответил я. — Разве ты не заметила? Это ты живешь с ними, а не я».

«Я имею в виду, насовсем», — сказала она.

Тогда я объяснил, что мне торопиться некуда. Всему свое время. Сначала надо раскрутить бизнес, а уж после устраиваться с жильем.

«Бизнес?» — спросила она.

«Ага», — сказал я.

Она любила вылизывать мои наколки, как будто хотела вовсе их слизать.

«А когда ты устроишься с жильем, там не най-

дется местечка для меня?» — сказала она.

«Может, и найдется, если хорошо попросишь, — сказал я. — Пока у тебя неплохо выходит».

Что бы мы делали без этого фургона.

Да, мы были два сапога пара, хотя с виду не скажешь. Ей восемнадцать, мне двадцать три. По-моему, иногда она смотрела на меня как на парня из другого поколения, старше, чем ее, — так, словно я приходился ей кем-то вроде дядюшки. Бывало, она говорила, что мне надо измениться, догнать убегающий поезд, вскочить на подножку. Время Роя Орбисона ушло. Я отвечал, что я уже давно изменился, стал другим человеком, разве нет? А насчет поезда — она что, думает, я все проспал? Между прочим, я был на Востоке, куда хиппи как мухи на мед лезут. А видела она когда-нибудь, как человеку сносят голову? Вот пускай и помалкивает.

Она смотрела на меня, моргая.

Мир, конечно, меняется, это я знал. Не мог не видеть. Но я говорил: я скажу тебе, что в наше время главное, что стоит за всеми переменами. Это тебе не «Битлы», и не «Роллинги», и не длинные волосы с куцыми юбочками, и не дармовое молоко и гондоны от Службы здравоохранения. Нет, главное — это движение. Теперь надо быть

подвижным. Как ты попала сюда из Блэкберна? Благодаря чему тебе удалось свалить от мамаши с папашей? Еще совсем недавно мир можно было поглядеть, только вступив в армию, а такая игра, скажу я тебе, не всегда стоила свеч. А теперь? Никто не сидит на месте, все мотаются по разным местам. Ты слушаешь или нет? Через десять лет и «Битлы», и «Роллинги» устареют, а вот колеса будут нужны по-прежнему. Колеса — это колеса. Чем дальше, тем их больше. И снабжать ими людей буду я, Винс Доддс. Я выбрал правильную профессию, потому что без средств передвижения никуда не денешься. И не говори мне, что я отстал от жизни.

Она смотрела на меня, как будто сама что-то прикидывала в уме. «Конечно не отстал, милый», — говорила она.

Она имела манеру закручивать свои волосы в косички и мусолить их во рту, точно школьница.

Я говорил: «Кабы не Гитлер, Джек шагу бы не ступил из своей лавки. Но помяни мое слово: когда-нибудь он еще ко мне приползет».

«Конечно приползет, милый», — говорила она.

Мы выезжали на шоссе и мчались по пригородам, словно только что ограбили банк и удирали

от полиции. А ну-ка, догони! Недалеко от Суонли была стояночка с передвижным кафетерием, где жарили свиную грудинку и заваривали такой крепкий чай, что гаечным ключом не провернешь. Мимо неслись машины, и поднятый ими ветер сдувал пар с наших кружек и растрепывал ее длинные волосы. Я никогда не забуду ее, стоящую у дороги. Потом мы отыскивали укромный уголок для себя лично. Мы и автомобиль — это было как любовь втроем. Ох и отводили же мы душу! Потом шла в ход мокрая тряпка — все надо было вытирать. А после мы отправлялись на прогулку по лесам, по полям, слушали птиц, дышали воздухом, глазели вокруг. И я говорил — мне казалось, что это произведет на нее впечатление, она ведь из Блэкберна, да и потом, ведь это говорю ей я: «Между прочим, Кент зовут садом Англии».

Рочестер

Мы подъезжаем к началу магистрали М2, но Винс остается на шоссе А2, которое идет через Струд на Рочестер. Пересекаем Медуэй по старому мосту, рядом с железнодорожным. Река открывается внезапно — дух захватывает, точно вдруг распахнулось широкое окно в мир, о котором ты и думать забыл. Забыл, что он есть. Лодки, баржи, причалы, топкие берега.

— Отлив, — говорит Винс и смотрит на часы. — В Маргейт к приливу поспеем.

— Оно и кстати будет, — говорит Ленни. — Для нашего-то дельца.

Впереди виднеются замок и шпиль собора — они торчат надо всем остальным, как игрушечные, будто их специально поставили.

— Кто-нибудь знает в Рочестере хорошую забегаловку? — говорит Винс.

— Там нет, но в Четеме когда-то были, — отвечает Вик. Старый морской волк.

— Где они, золотые денечки — а, Вик? — говорит Винс.

Погода меняется, набегают облака.

Мы проскакиваем по шоссе дальше чем надо, потом разворачиваемся и углубляемся в путаницу переулочков и дорог с односторонним движением. Находим стоянку у подножия крепостного холма. Ленни говорит: «А я и не знал, что у нас экскурсия по интересным местам». «Все на выход», — отвечает Винс. Он снимает свои темные очки и приглаживает волосы. Я поднимаю коробку, чтобы он взял пиджак, он тянется назад и достает его. Смотрит на Ленни — мог бы, мол, и подать, — но Ленни сидит не шелохнувшись, и я ставлю коробку обратно. Потом мы все выбираемся из машины, разминаем руки-ноги и надеваем у кого что есть. После машины зябковато. Замок на солнце кажется сухим, точно костлявым. Винс открывает багажник и вынимает оттуда пальто. Верблюжья шерсть.

Теперь пора двигаться, но мы все неуверенно топчемся на месте, поглядывая друг на друга.

— Нехорошо оставлять его тут на сиденье, как по-вашему? — говорю я.

— А куда его девать, в багажник, что ли? — говорит Ленни.

— Я имею в виду, вообще оставлять нехорошо — мы уйдем, а он тут один, — говорю я.

Ленни пожимает плечами.

Вик помалкивает, словно это уже не его забота, не ему командовать, словно он сбыл товар с рук и теперь его дело сторона. Надевая кепку, кидает на меня острый взгляд, потом косится на облака в небе.

— Ты прав, Рэй, — говорит Винс. — Надо ему с нами, я тоже так считаю.

Он лезет внутрь и достает коробку. Первый раз она оказывается у него в руках. Он сует ее под мышку, запирает автомобиль, потом выпрямляется, прижимая ее к груди. Теперь он держит ее — стоит перед нами с коробкой, в этом своем пальто, словно принял командование на себя, словно получил знак отличия. Раньше командиром был Вик — одновременно командир и сторонний наблюдатель, — но теперь им стал Винс.

— За мной шагом марш, — говорит он, точно отдает приказ морскому патрулю, и идет наискосок через автостоянку. Я вижу, как Ленни поворачивает голову, будто хочет сплюнуть.

Мы выходим на главную улицу. Она совсем не такая широкая и кипучая, какой полагается быть главной улице. Узкая, тихая, извилистая, вся дышит стариной, по бокам неуклюжие древние дома. Люди бродят по ней туда-сюда, бесцельно,

как туристы. Она похожа на главную улицу из книжки с картинками: то ли это ты непонятно как сюда угодил, то ли ей самой не место тут, рядом с шоссе A2, по которому несутся машины. Хотя чему рядом с чем не место, это еще большой вопрос.

Напротив фасонистый бакалейный магазинчик, «Рочестерские деликатесы», из тех, где продаются разные необычные чаи и шикарные банки с печеньями, и Винс вдруг ныряет туда, оставив нас на мостовой. Потом выходит обратно с полиэтиленовым пакетом. Сует в него коробку, но там уже что-то есть, судя по виду. «Мэнди просила кофе купить», — поясняет он. Мы начинаем вертеть головами по сторонам, но Винс снова решительно устремляется вперед, точно ему надоели наши сомнения. Мы видим наверху вывеску «Гостиница „Телец“», и он шагает прямо туда, точно уже бывал там. «Сюда, джентльмены, — говорит он. — Вот как раз то, что надо». Это большое старое здание, где есть все — и гриль, и ресторан, и обыкновенная закусочная с баром. Я вижу, что Винс нацеливается на ресторан, точно решил накормить нас царским обедом, чтобы мы почувствовали себя перед ним должниками. Но потом он дает по тротуару задний ход и выбирает

закусочную. От дверей гостиницы виден мост над рекой. Главная улица уходит вниз, к мосту и большой дороге, и если зажмурить глаза, а потом открыть их снова, можно представить себе то, что бывало здесь когда-то: дилижанс, грохоча колесами, переезжает реку, катит вверх по склону и сворачивает во двор «Тельца», а надо всем этим высится замок, словно сошедший с рождественской открытки.

Это старая гостиница, где останавливались почтовые кареты, только подкрашенная и принаряженная. Как деревенская девка на выданье.

* * *

Внутри тепло, много шума и блеска. Не успеваем мы переступить порог, как Винс говорит:

— Я сейчас все устрою. А ты возьми это, — и дает мне свой пакет. — Занимайте вон тот столик. Нам по пинте, а Вику маленькую покрепче, так?

Он вынимает кошелек и направляется к стойке, как будто Винса Доддса и тут всякий знает. За стойкой барменша в белой блузке, с вишневой помадой на губах.

Мы идем к столику. Слышим, как Винс говорит: «Найдется чего порубать, детка? — Он никогда не умел говорить тихо, но сейчас, кажется, еще

и хочет, чтобы нам было слышно. Он кивает головой в нашу сторону. — Со мной три старикана плюс четвертый, который не ест». Озадаченная, барменша глядит на нас, потом снова на Винса, точно соображает, улыбнуться ей или нет. Его лица мне не видно, но я знаю, что он смотрит на нее со своим особым выражением, как будто говорит: может, я и кажусь тебе чуточку смешным, но попробуй реши, что так оно и есть, — мигом сядешь в лужу.

Как тогда, когда он сказал мне: «Ну что насчет двора — ударим по рукам?»

Она тянется за карточками с меню, ее щеки слегка розовеют. Я прямо слышу, как Винс думает «А ничего буфера».

* * *

Мы начинаем с выпивки, потом заказываем харч. Потом Вик берет всем по второй порции. Потом появляется еда: сардельки с фасолью и жареной картошкой для нас с Ленни, бифштекс с картошкой для Винса, пирог с фирменной начинкой для Вика. Я думаю, сегодня нам положено есть мясо. Барменша приносит тарелки, расставляет их, и Винс говорит у нее из-под мышки: «Вот спасибо, куколка», а мы сидим молча. У

нее на щеке лежит прядка светлых волос, как будто случайно выбилась и в то же время не случайно. Потом мы доедаем и допиваем, Ленни достает курево, я тоже, и Ленни еще раз идет за выпивкой, и мы чувствуем себя так, точно лет сто знаем рочестерский «Телец», а тут знают нас, и все думаем одно и то же: жаль, что нельзя просто сидеть здесь и понемножку накачиваться, тихо и мирно, жаль, что надо везти Джека дальше, в Маргейт. Ведь Джек, наверно, и возражать бы не стал, наоборот, был бы даже рад тому, что мы сидим и полегоньку косеем в его честь. Валяйте, ребята, за меня не волнуйтесь. Будь он здесь с нами, именно это он и сказал бы, и сам делал бы то же, что мы. Шут с ним, с прахом, мужики. Хотя, будь он здесь, не было бы никакой проблемы, никаких обязательств с нашей стороны. И никакого праха. Да и мы, коли на то пошло, не сидели бы тут, на полпути между Лондоном и Дувром.

— Эх, жалко, что его нет, — говорит Ленни, словно Джек собирался ехать с нами, но дела помешали.

— Ему бы тут понравилось, — говорит Винс.

— Да, поторопился он, это уж точно, — говорю я, проникаясь их настроением.

— Дурака свалял, — говорит Ленни.

Вик помалкивает.

— Эх, жалко, — говорит Ленни.

Можно подумать, что, если мы будем продолжать в том же духе, Джек и правда войдет в эту дверь — вот сейчас, с секунды на секунду, расстегивая плащ. «Ну как, парни, здорово я вас облапошил?»

Потом Вик говорит — тихонько, как будто мы сами этого не понимаем и нас надо подготовить постепенно:

— Если б он здесь был, то нас бы не было, правда? Потому мы и здесь, что его нет.

— Все равно, — говорит Ленни.

— Ему бы тут понравилось, — повторяет Винс.

Ленни смотрит на Винса.

— Кабы не он, нас бы тут не было, — говорит Винс. — Без него мы бы здесь не оказались, — как будто не может понять смысла собственных слов. Мы все выглядим слегка ошарашенными, точно все вокруг означает что-то одно и в то же время другое.

— Надо отлить, — говорю я.

Но дело не только в этом. Я нахожу мужской туалет, расстегиваю штаны и чувствую, как моим глазам становится жарко и мокро: теперь я теку с обоих концов. В туалете холодно и сыро, пова-

нивает. Рядом два автомата с презервативами, на одном написано «Любовный пыл», на другом «Фруктовый коктейль». Сегодня особый день — позаботимся о наших маленьких братцах. Стекло в окне матовое, но фрамуга приоткрыта, и я вижу кусочек стены, кусочек крыши, кусочек дерева и кусочек неба, больше уже не синего, и отчего-то думаю обо всех писсуарах, куда я отливал, из фаянса, нержавейки, осмоленного цемента, в пабах, на рынках и автостоянках по всей стране, где только есть ипподромы. И везде были матовые окна, выходящие в дальний конец чего-нибудь, дворика или аллеи, и фрамуга чуть приоткрыта, так что можно было одним глазком поглядеть на жизнь снаружи. Эти городки с ипподромами. Пока не встанешь с места, не поймешь, насколько сильно ты накачался. Пинта-другая помогает делать ставки. После третьей соображаешь хуже, чем требуется для игры. Когда я не могу заснуть, я перебираю в голове все ипподромы, где побывал, в алфавитном порядке, и вижу карту Англии, покрытую сеткой дорог. АскотБрайтонВулвергемптонДонкастерЙорк.

Я стряхиваю последнее и застегиваюсь. Шмыгаю носом и провожу рукавом по лицу. Входит еще один посетитель, молодой парень, но он вряд

ли что-нибудь заметил, а если заметил, то вряд ли понял. У стариков часто глаза слезятся. Он вынимает у себя из штанов, как и положено молодому парню, — точно это хороший инструмент в полном порядке.

И тут я беру себя в руки. Плакать — это как отливать. Тут надо, чтоб никто не мешал, особенно если в дороге.

Но когда я возвращаюсь обратно в зал и вижу их за столиком — барменша как раз собирает стаканы, круглая попка и все такое, а вокруг привычная обстановка среднего бара, латунные перильца, картинки на стене, хотя именно в этом баре я никогда раньше не был и никогда больше не побываю, — мне кажется, будто я смотрю на них откуда-то издалека. Словно это не Джек, а я наблюдаю за ними, уже после, и слышу, как они говорят обо мне. КемптонНьюбери. Словно меня уже здесь нет, но все прочее никуда не делось, все идет своим чередом без меня, и осталось только то, что ты видишь, только пункт прибытия и отправления, как гостиница для почтовой кареты. ПонтефрактРедкар.

* * *

— Ну что, повторим? — говорю я.

Вик глядит на меня. Вроде как размышляет.

— Я пас, Рэйси, — говорит Винс, решительно поднимая ладонь. — А то вас кто-нибудь другой повезет. Мне можно кофе. И пол-«короны».

Ленни смотрит на Винса так, будто собирается с издевочкой отдать ему честь.

— А мне «никербокер глори»,[10] — говорит он.

После третьей Ленни палец в рот не клади.

Я заказываю выпивку и приношу нам пиво, а Вику — виски.

— Оно и к лучшему, что Эми не поехала, — говорит Вик. — Ей бы такой загул вряд ли по душе пришелся.

— Можно подумать, ты сам чайком балуешься, — говорит Ленни. И отхлебывает пива. — Джек бы на нас не обиделся. — Потом добавляет: — И все-таки.

— Что «все-таки»? — говорит Винс.

— Он бы порадовался, если б его жена выполнила его просьбу.

— Насчет этого все улажено, — говорю я. — Мы

---

10 Примечания: 10
Мороженое с фруктами и сиропом.

делаем это за нее.

Они все смотрят на меня, словно ждут продолжения. Я отпиваю из стакана.

Барменша приносит Винсу кофе. Он поднимает глаза и говорит, улыбаясь:

— Старики народ тяжелый, правда, киска?

— Чего там «за», — говорит Ленни. — «За» тут не годится. Некоторые веши надо самим делать. Мы же ему не родня, верно? Во всяком случае, не близкие родственники. Даже Винси. — Он смотрит на Винса так, как не смотрел бы, если б не три пинты крепкого. Винс раскуривает сигару. — Даже Бугор и тот ему не близкий родственник, верно? У Винси не больше прав, чтоб быть здесь, чем у всех нас, так ведь, Бугор? Тем более что, если по-честному, вы все равно друг друга терпеть не могли, пока Джек не угодил на больничную койку. В натуре терпеть не могли, так ведь? — Лицо у Ленни все будто в шишках.

Винс попыхивает сигарой. На Ленни он не глядит. Он выливает в кофе молоко из пластиковой штуковинки, потом разрывает пакетик с сахаром и сыплет его туда медленно и аккуратно, сосредоточенно, все время помешивая в чашке ложечкой. Похоже, он не собирается продолжать разговор ни с кем из нас.

Ленни открывает рот — видно, не все еще выложил, — но у него вдруг что-то екает в горле, будто застревает там.

— Отлить надо, вот что, — говорит он. И быстро встает, озираясь, точно у него вдруг закружилась голова. Я показываю ему, куда идти.

— А я тут подумал… — говорит Вик.

Можно на него положиться — он их помирит.

Ленни неуклюже пробирается к туалету. Наверно, теперь его очередь пустить слезу.

Вик встряхивает пакетик, хотя он уже пустой, потом сминает его. И поднимает глаза.

— Что ты подумал, Вик? — и улыбается, прихлебывая кофе, ну прямо сама вежливость.

— Подумал, раз мы тут поблизости, может, заскочим в Четем, глянем на мемориал. А то я никогда…

Винс смотрит на Вика. Слегка поднимает брови, пыхает сигарой. Лицо у Вика серьезное, непроницаемое. Кто его знает, о чем он думает.

— Почему бы и нет, — говорит Винс. — Ты как, Рэйси? — Ни дать ни взять председатель собрания. Кидает быстрый взгляд на меня, потом снова переводит глаза на Вика. Про Ленни он будто забыл. — Хотя человеку твоей профессии кладбища уже оскомину должны были набить. — Он

улыбается, но быстро сгоняет улыбку с лица: веселиться-то вроде не с чего. — А в общем, для того мы и поехали, верно? Поминать мертвых.

— Придется крюк сделать, — говорит Вик.

Винс пускает дым, размышляя.

— Ничего страшного.

* * *

Ленни возвращается из туалета. У него такой вид, точно он боролся там с самим собой и теперь толком не знает, как себя вести.

— Моя очередь? — говорит он. — Повторить, Вик? Рэй? Винс? Еще кофе? Что-нибудь пожевать?

Ясно, что он хочет загладить неловкость.

Винс кидает на Ленни быстрый взгляд, но молчит. Сузив глаза, он затягивается сигарой, потом вынимает изо рта окурок, которого хватило бы еще на несколько затяжек, и гасит его в пепельнице.

— Не знаю, как ты, Ленни, — говорит он, — но я здесь для того, чтобы отвезти кое-что в Маргейт, — кажется, для этого мы все и собрались. А Вик хочет, чтобы мы заехали кое-куда по дороге, и у меня нет возражений. Потому что сегодня мы поминаем тех, кто умер. — Он смотрит на часы. —

Уже четверть третьего. Если кто желает остаться тут и кирять до вечера, — он обводит взглядом стол, как будто мы все сговорились против него и дело не только в Ленни, — пожалуйста, как угодно. Но я прямо сейчас сажусь в машину и еду в Маргейт. А кто не едет со мной, тому советую поискать вокзал.

Он допивает последний глоток кофе. Потом встает, без всякой спешки, надевает пальто, взяв его за лацканы и встряхнув, чтоб уселось на плечах как следует. И выходит не оглядываясь — дверь сама закрывается за ним, болтаясь на петлях туда-сюда. Когда Винс был пацаном, он обожал Гэри Купера.

Мы глядим друг на друга, но не двигаемся, хотя всем ясно, что выбора у нас нет.

Первым поднимается Вик, потом я.

— Мудила, — сквозь зубы говорит Ленни, не вставая с места.

— Не суди, — говорит Вик.

Вдруг мы замечаем полиэтиленовый пакет, «Рочестерские деликатесы», — он лежит на стуле, и тут лицо Ленни сразу оживляется, в его глазах вспыхивают искорки. Он хватает пакет и свой плащ. И первым спешит к выходу, но около двери на секунду задерживается, точно у него

мелькнула мысль, что Винс может неожиданно вернуться обратно. Потом он толкает дверь, и мы следуем за ним.

Винс идет к машине той же дорогой, какой мы пришли. Главная улица словно картинка из буклета. Он не глядит назад, но решительности у него, похоже, поубавилось. Мы почти бежим за ним, Ленни торопится вперед с пакетом.

— Эй, Бугор!

Винс не оборачивается, а только ускоряет шаг, и его плечи слегка горбятся.

— Эй, Бугор! — Ленни скачет вдогонку с такой скоростью, какой от него трудно было ожидать. — Ты забыл кой-чего, слышь! Забыл кой-чего!

И тут плечи Винса опускаются так же быстро, как вздернулись вверх, и хотя он не замедляет шага, кажется, что он больше не продвигается вперед, как будто его держит привязанная к ноге веревка. Он не глядит назад, точно у него заело шею. Потом Ленни догоняет его, и он медленно поворачивает голову, словно кто-то силой делает это вместо него.

— На-ка, держи! Кофе забыл. Ты вроде решил без нас обойтись, но без этого ты в Маргейте дурак дураком будешь.

Рэй

«Кабы не мой приятель, этот вот самый Счастливчик», — говорит он.

Сегодня дежурит темноволосая сестричка, та, что посимпатичней, — сестра Келли. Пришла сменить капельницу. Она держит банку с глюкозой, точно собирается бросить ее, как мяч. На, лови. Глаза у нее блестят особым блеском — видно, что при случае за словом в карман не полезет.

Он снова натягивает пижаму на плечо: показывал ей старый шрам. И говорит: «Я ведь еще толком не познакомил тебя с моим приятелем, Счастливчиком?»

Она стреляет в меня улыбкой.

«Счастливчик — это мы его так зовем, но вообще-то его имя Рэй. Рэй Джонсон».

«Привет, Рэй, — говорит она. — Привет, Счастливчик. Я вас уже тут видела».

«Слыхал, Рэйси? А это Джой. Джой Келли».

Как будто мы пришли к нему домой, в гости.

«И по имени Джой, и по характеру тоже».[11]

Она улыбается, точно слышит это в первый раз,

---

11 Примечания: 11

«Джой» по-английски значит «радость».

а не в сотый.

«Мы с Рэйси скорешились, когда твоя мамка еще под стол пешком ходила. Воевали в пустыне с Роммелем. Этот вот Счастливчик мне жизнь спасал, и не однажды».

«Врет он, — говорю я. — Наоборот».

«Я ему жизнью обязан», — говорит он.

Она тянется вверх, чтобы поменять банку на капельнице.

«Мы зовем его Счастливчиком, потому что он приносит удачу, а если захочешь побиться об заклад, спроси у него совета — не пожалеешь».

Она ставит новую банку.

«Вот мы, например, с Рэйси поспорили, что на тебе надето — чулки или колготки».

Она помалкивает, возится с капельницей. Потом отвечает: «Так я и сказала».

«А говорить и не обязательно».

«Как вам подушки? Поправить?»

Она снова наклоняется над ним, и он говорит: «К тебе, поди, пристают тут, в больнице», точно сам только что вовсе не тем занимался.

«Любая девушка знает, кого ей бояться, а кого нет», — говорит она.

«Уж мне-то, понятно, никого не напугать. — Он поднимает руку с прикрепленными к ней трубка-

ми, словно сдается. — Но Рэйси — это не мне чета. Рекомендую. Он везучий. И холостой, не то что я. — Он снова поднимает руку. — И имена ваши друг дружке подходят. Рэй и Джой».

Она выпрямляется.

«Ты не смотри, что он маленький…»

«Сделали что надо? — говорит она. — Я заберу».

Это стеклянная утка с его мочой. Темной, кровавой.

«Видишь, Рэй. Только мочу и забирает, а больше ничего».

«Счастливо», — говорит она, уходя. И улыбается мне напоследок, вместе с кивком.

«По-моему, дело выгорит, Рэйси, — говорит он. — Ты ей приглянулся. Слушай меня, и будешь с женушкой».

Четем

— Хоть предупредил бы, что в гору лезть, — пыхтя говорит Ленни.

И правда, Вику стоило предупредить нас хотя бы о том, что он не знает, где этот мемориал. Когда мы останавливались и спрашивали, нам отвечали: да вон, на холме, видите, вы его не пропустите, мемориал в честь погибших моряков, белый обелиск. Он торчит там, как маяк, с зеленым шаром вместо фонаря на верхушке — хороший ориентир. Только никто не говорил, как туда проехать, а указателей не было. Такой вот странный мемориал, куда никто не помнит дороги.

Так что мы колесили по всему городу и по докам в придачу — холм был посередине, — и Винс уже стал приближаться к точке кипения, тем более что он и раньше был на взводе, из-за Ленни. Однако с Виком он всегда старается быть повежливей, проявлять максимум терпения — вроде как компенсирует этим свою раздражительность с Ленни. Ленни говорит Вику: «Тебя что, во флоте навигации не учили?» А Вик сидит впереди — он

снова туда сел, потому что это ведь была его идея, целиком его, — с таким видом, точно жалеет, что вообще открывал рот. Но я думаю, даже это льет воду на его мельницу: это могла быть обманная тактика, чтобы Винс и Ленни на нем разрядились. Хотя Винс уже здорово накалился — плюнь, и зашипит. Я думаю, Вик жертвует собой, это для него роль подходящая, ну а кроме того, среди имен, выбитых там наверху, могут оказаться имена его старых товарищей, которые тоже пожертвовали собой тогда, давным-давно, и про них забывать негоже. Нам бы только туда добраться.

Наконец мы находим автостоянку, на полпути к вершине холма, как раз по другую сторону городской ратуши. Но хотя до ратуши отсюда рукой подать, Четем тут словно кончается и начинается дикая природа. Как будто город — это всего лишь временный лагерь. А тут уже только сплошной низкорослый лес с грязной тропинкой, бегущей наверх, к мемориалу — его-то, правда, не видно за этими зарослями, и ни стрелок, ничего. И единственная польза от этого леса, куда порядочного человека вряд ли зачем-нибудь понесет, в том, что мы с Ленни можем справить нужду — а это, после всего выпитого пива и кружения по Четему в возбужденном виде, нам просто необходимо.

Поэтому, едва отойдя от стоянки, мы покидаем тропу, чтобы воспользоваться случаем.

— Хоть предупредил бы, что в гору лезть, — говорит он, пыхтя и отливая одновременно. — Ну ладно, мы взялись прокатить Джека, но что сегодня еще и День памяти, это я не знал.

— Вику-то как раз удобно, — говорю я. — А вот нам с тобой помянуть наших небось посложней было бы.

— Это еще как сказать, — говорит он.

Он совсем запыхался, хотя мы не так уж много прошли. Лицо у него как клубничный джем. Вик опередил нас, он решительно шагает вперед сам по себе — видно, твердо собрался сделать все как положено. Оглянувшись, он видит нас с Ленни, делающих свое дело около тропы, и я не думаю, что эта картина его радует. У виски, конечно, есть свои плюсы. Он снова отворачивается и чешет вперед, хотя и ему приходится тяжеловато, а Винс убежал совсем далеко: похоже, обиделся на нас всех и даже назад не смотрит, словно он главный на марше и не собирается ждать толпу раненых, ему надо поскорей одолеть высоту и двигаться дальше.

Пакет «Рочестерские деликатесы» и сейчас у него, но кофе он оттуда вынул.

На деревьях уже бутоны. Солнце пробивается сквозь ветки.

— Плавали — знаем, — бормочет Ленни. — Моряк с печки бряк.

Мы идем по тропе, а склон становится все круче. Уже видно, где кончается лес и начинается просто высокая трава, бледная и жухлая, с редкими кустами, дрожащими на ветру. Никаким мемориалом и не пахнет. Мы видим, как Винс останавливается и озирается, руки в боки, точно турист на смотровой площадке. Его пальто хлопает на ветру. Вик догоняет Винса. Тот что-то говорит ему, хотя слов мы не слышим. Потом смотрит вниз, на нас, как будто ему приятно видеть наши мучения.

Ленни останавливается, кашляет и сплевывает. Он глядит вверх, на Винса.

— Теперь небось держится за пакет-то, — говорит он. Мы кое-как ползем дальше, потом Ленни снова останавливается, грудь его ходит, как мехи. Он упирается руками в колени. Похоже, он вот-вот скажет: «Рэйси, иди-ка ты дальше без меня». В уголке рта у него капелька пены. Не хватало еще, чтобы он загнулся в день прощания с Джеком, думаю я. И не только ему это грозит. Я сам тоже не в лучшей форме.

Но он медленно распрямляется. На секунду опирается о мое плечо. Винс глядит вниз. Потом Ленни слегка подталкивает меня кулаком в спину.

— Ну что, выдюжим, Рэйси?

Словно прочел мои мысли.

Мы снова трогаемся в путь, молча, чтобы совсем уж не сбить дыхания. Потом выходим на открытое место и вдруг видим мемориал, точно он ждал нас все это время, — его башня маячит на фоне неба, белая, высокая, хотя основание ее пока скрыто кромкой холма. А посмотреть есть на что. Склон убегает от наших ног вниз, к широкой панораме. Четем переходит в Рочестер, в излучине реки торчат строительные краны, собор похож на большую старую птицу, сидящую в гнезде. Город растянулся по долине реки, а ее изгибы повторяют форму холмистой гряды. Мы видим, как отблескивают окна домов и стекла машин. Солнечные лучи ложатся на бледную траву из-под края облака, и хотя мы еще поднимаемся, нам кажется, что мы вступили в какую-то другую область, где все чище, легче, светлее. Башня мемориала точно притягивает нас к себе. Вернее, не башня, а обелиск — вот правильное слово. Его освещает солнце. Он белый и высокий. Он будто

парит в воздухе, потому что мы не видим, где его основание: кажется, что ты идешь к нему, а он отодвигается все дальше. Как и внизу, здесь нет никаких знаков — только жесткая трава, которую волнует ветер, да неровная тропа, и людей нету, одни мы. Словно его построили, а потом забыли. Винс идет первым, Вик за ним. Они приближаются к мемориалу. Кажется, что он вообще не очень-то настоящий, и мы тоже, но тем не менее мы тут, все вместе, на верхушке этого холма. Он похож на порыв к величию, вот на что: это высокий, гордый порыв к величию.

Вик

…и предаем тела их морской пучине.

А море бесновалось вокруг, с шипеньем и воем, лед как глазурь на передней палубе, нос то и дело зарывается в волны — казалось, что и врага никакого не надо, стихия справится с нами без всяких бомб и торпед. Бывало и наоборот — оно расстилалось вокруг, широкое и спокойное, как лунное небо над головой, и корабли нашего конвоя тянулись по нему, как утки по озеру. Плавучие гробы. Что хуже, тихое море или бурное? Иногда ты его даже не видел, только чувствовал, как сталь кругом дрожит и качается. Ты шел во флот, чтобы посмотреть на море, но смотреть приходилось в основном на внутренности корабля, которые ходили ходуном, и пахло там не соленой свежестью, а всякой тошнотворной дрянью: машинным маслом, и столовскими объедками, и сырым брезентом, и подшлемниками, эфиром и ромом, кордитом и блевотиной, как будто ты уже очутился там, где мог очутиться в любую минуту и насовсем — в гигантском дышащем чреве бездонного океана.

Он склонился надо мной — я знал, он надеется, что я сплю, но глаза мои были открыты и я сказал: «Дед умер, да?» Потому что я знал. Его щека была холодной от сырого морского воздуха, а волосы влажными, но от него еще пахло больницей, пахло дедом. Это было не так уж необычно, его кожа часто пахла кожей других, мертвых людей, и тебе невольно думалось, что раз он всю жизнь этим занимается и дед занимался, то, может, ему не так плохо, когда дед сам…

«Да, умер», — сказал он. Я знал, что он не хотел говорить об этом до утра. Я мог бы прикинуться спящим, ради него. А теперь ему придется скоро оставить меня одного на всю ночь — здесь, в этой странной комнате, где дождь барабанит в окно, наедине с мыслями об умершем деде. Но я хотел, чтобы он знал: я справлюсь, я это перенесу. Как тогда, когда он рассказал мне о своей профессии. Он кладет людей в ящики, потому что люди умирают. Но теперь это были не люди, это был дед.

«Ты его сам приберешь?» — спросил я.

«Конечно, — ответил он. И наклонился надо мной. Потом сказал: — Ну, спи. Баюшки-баю».

Дождь сыпал в стекло будто хвойными иглами, свистел ветер. Наверное, когда дед умирал, тоже лило — дождь зарядил с утра. Однако вряд ли дед

знал об этом, вряд ли его интересовало, какая на дворе погода. Солнечно там или сыро, холодно или тепло. И можно ли увидеть море, а его можно было увидеть, если подойти к большому окну в конце палаты, — гладкое и блестящее либо серое, подернутое рябью. Только дед не мог.

Ведь потому они и перебрались сюда, дед и бабушка, — чтобы быть поближе к морю. На юг, в Бексхилл. Людей всегда тянет к морю, если им уже недолго…

В такие ночи часто лежишь и думаешь о тех, кто в море, и как тебе уютно, тепло и хорошо, и как тем, кто в море, наверно, хочется, чтобы им тоже было тепло и хорошо, но дед больше не думал об этом, для него все кончилось.

Я слышал внизу их разговор — не слова, а одни голоса. И позже, проснувшись ночью, слышал, что и они не спят. Хотя голосов слышно не было, только ветер да дождь, я все равно слышал, что они не спят. Я слышал, как мы все лежим без сна в этом темном, сотрясаемом бурей доме, так что каждый из нас похож на деда, лежавшего без сна в той странной палате, среди множества других людей, но одинокого, как и все эти другие люди, — и мы в этом доме все вместе, но на самом деле одни, каждый в своей кровати, укрытый,

как всех нас укроют когда-нибудь потом в последний раз.

Мы Таккеры, мы укрываем мертвых. Вот чем мы зарабатываем на хлеб. Укладываем мертвецов в ящики.

Гражданская специальность: служащий похоронного бюро.

На корабле об этом, понятно, сразу прознали: шила в мешке не утаишь. «Эй, браток, а у нас на борту свой могильщик». Как в школе на перемене: «Мы знаем, чем занимается твой папка», хотя тогда я ни одного трупа в глаза не видел, ни в море не бывал, ни на войне. Вертись как хочешь, но лучше с Таккером вахту не нести и в пожарный наряд не ходить. Словно кто-нибудь может обмануть судьбу.

Мне хотелось сказать: я знаю об этом, не то чтобы много, но знаю, чего вы боитесь. Я не слишком здорово разбираюсь в кораблях, пеленгах, сигналах и позывных, не больше, чем любой четемский рядовой после двухмесячных курсов. Зато я кое-что знаю о мертвецах, о мертвых людях, и знаю, что море всегда вокруг нас. Даже на суше мы все равно что в море, даже на этом холме, высоко над Четемом, где я могу прочесть имена. Каждый в своей каюте, и всех потихоньку несет к смерти.

Плавучие гробы.

Так вот, когда в «Лотиан» угодил снаряд, в носовую часть, я был там в пожарной команде, но меня послали на корму за дополнительными шлангами, а потом прилетел второй снаряд и убил Демпси, и Ричардса, и Стоуна, и Маклауда — тогда я почувствовал, острее других, боль уцелевшего. Ведь Таккер-то уцелел, обратите внимание. А вот Демпси и Ричардс — нет. Как будто можно перехитрить судьбу.

Он сказал, что принуждать меня не станет, я сам должен выбрать свой жизненный путь. Пускай он и дед занимались этим — династия еще не все. Только не надо решать, если ничего не знаешь и не видел, не надо отказываться от профессии из-за необоснованных страхов. Тогда я сказал: ладно, можешь меня испытать. И он показал, объяснил мне все, и я увидел, что на самом-то деле бояться нечего, в этом нет ничего страшного. Наоборот, ты даже становишься спокойнее, уверенней в себе. Мне было четырнадцать, и мы были в комнате вдвоем. Точнее, втроем. И после этого я сказал: «Хорошо, я согласен». Твоя жизнь спланирована за тебя, выбор сделан. А потом уже поздно было принимать всякие дурацкие решения наперекор — к примеру, удирать в море.

Мне сказали: для тебя есть работа, она как раз по тебе, никто больше добровольно не вызовется. Матросы верят в разную чепуху, вроде русалок и морских страшилищ или того, что этот конвой будет для них последним. Так что, когда мы заглушили двигатели в четырех днях пути от Исландии, чтобы подобрать уцелевших, все кругом думали: вот подходящее занятие для Таккера, ему работы хватит. Хотя зачем вылавливать их, задыхающихся от последнего кашля и чуть ли не насквозь промороженных, — только чтобы забить всю кают-компанию, а немного позже отправить их обратно в воду? Из моря они приходят и туда же уходят — почти без всплеска, в пологую серую волну. Таккер с ними разберется, это по его части. Вскоре меня даже зауважали, теперь я внушал им почтение. Не суди своих ближних, не держи на них зла. Тут уж все стало наоборот: надо держаться справа от Таккера, с Таккером надо ладить. Что ж, я не против быть на судне кем-то вроде домового, кто-то должен играть эту роль. Таккер здесь, не бойся. Таккер поможет. И зовут его Виктором — на войне это хорошее имя. Таккер все устроит, он свое дело знает. В армии всегда принимают в расчет гражданские профессии: плотник, маляр, хирург. А еще в ар-

мии свои способы избавляться от мертвых. Тех, что из моря. Кусок парусины, снаряд вместо груза, а последний стежок, на всякий случай и по обычаю, — сквозь нос зашитого туда невезучего морячка, просоленного и просмоленного службой бедолаги.

Рэй

По-моему, Вик не собирается говорить нам, какие имена он ищет, ему хочется просто посмотреть и помолчать.

Обелиск стоит посередине, он в память тех, кто погиб с четырнадцатого по восемнадцатый, а перед ним идет полукругом высокая белая каменная стена с железными воротами в центре, через которые мы вошли, и на ее внутренней стороне перечислены погибшие в тридцать девятом и позже, список за списком, точно участники скачек в программе. Здесь есть и капитаны, и лейтенанты, и гардемарины, и старшины, и матросы, простые и младшие, и даже несколько юнг. Но есть еще и кочегары, и сигнальщики, и коки, и телеграфисты, и механики из машинного отделения, и санитары из судового лазарета, словно корабль — это целый мир.

И, глядя на эти списки, ты ничего не можешь сказать, потому что в них не указаны ничьи шансы, нет стартовых цен. Если у тебя наметанный глаз, ты можешь посмотреть программу скачек, сразу прикинуть все в уме и понять, что букмеке-

ры не останутся внакладе, что проиграют те, кто ставит. Это как страховые компании: они считают свои деньги и знают, что рано или поздно они будут в выигрыше, каким бы невезучим ни оказался их средний клиент. Всегда есть элемент игры, благодаря которому ты думаешь, что у тебя есть шанс, и всегда есть более высокая математика, которая говорит, что тебе лучше поберечь фунты и остаться при своих. А выбор зависит от твоего внутреннего настроя.

Однако же трудно сделать выбор, если шансы не указаны и никакой высокой математики не видно. Поэтому, проглядывая списки — и это совсем не важно, что они сделаны бронзовыми буквами на белой стене на верхушке холма, с обелиском посередине и все такое прочее, — ты можешь сказать только одно: человек — это всего-навсего имя. Которое кое-что значит для того, кто его носит, и для других, чей век так же короток, но сверх этого — ни шиша. Оно ни шиша не значит для вещей, которые живут дольше, вроде армии и флота, или страховых компаний, или Координационного тотализаторного центра, которые будут существовать и после твоей смерти, а ты им что муха. И потому, глядя на эти списки, ты можешь сказать только одну мудрую

вещь, как тогда, когда отвоевались Микки Деннис с Биллом Кеннеди: «Это не я, меня с ними нет и никогда не будет». А кроме того, сделать один вывод, хоть радуйся ему, хоть не радуйся: ты говоришь, что живешь, но на самом деле ты не живешь, а выживаешь.

Но я думаю, мне это по силам, я все еще способен снова превратить свое выживание в нормальную жизнь. Плюнуть на высокую математику и рискнуть. Выкроить себе лишний кусочек жизни. Поглядеть на своих внучат, если они есть на свете, — на тех, кто переживет меня. Покуда я еще цел.

Я могу поглядеть мир. Махнуть в Бангкок.

Могу сказать Эми: «Слушай, насчет той недостачи».

Он стоит неподалеку, молчит и смотрит. Лицо у него строгое, спокойное, как эти списки. Кепку он снял и сунул в карман. Ветерок шевелит волосы у него на макушке. Трудно представить себе Вика в матросской форме, отплясывающего хорнпайп, лезущего на мачту свистать всех наверх. Ленни стоит сгорбившись почти у самых ворот, точно через пару секунд выпрямится и пойдет смотреть, что тут да как, только сначала надо отдышаться после подъема на этот проклятый холм. Он

бросает на меня особенный взгляд, словно хочет сказать, что морячишки морячишками, но уж нам-то, старым воякам, не пристало распускать нюни. А по мне, хрен редьки не слаще: что море, что пустыня. Винс побрел к обелиску. Белый камень сияет на солнце. По обе стороны от ворот стоят каменные матросы в шинелях и морских сапогах — по стойке смирно, глядя в пространство, так что Ленни рядом с ними кажется типичным увальнем, записным разгильдяем. Ворота выкрашены в синий цвет. Над ними написано: «Вечная память тем, кто покрыл себя славой в глазах современников».

Винс

Старые пердуны.

Ленни

И все-таки мне приятно думать, что моя Джоан сама повезла бы меня вытряхивать, хотя я бы ее об этом и просить не стал, уж больно глупо. И я бы сделал для нее то же самое, если б она первая. Но первым, конечно, буду я.

Этот сволочной холм чуть меня не доконал.

Как ни крути, а свой долг надо выполнять.

Вик стоит там, читает, а Рэй пошел поболтать с Винси у подножия этой каменной дули. Они пялятся на нее, как парочка туристов на колонну Нельсона. «Гельголанд» — написано на ней, а где это, шут его знает. «Гельголанд. Ютландия. Доггер-банка».[12]

Но говорят они, похоже, не про башню, а про что-то еще — про то, что касается только их двоих.

Ладно, признаю: я тут почти что лишний, сбоку припека во всей этой поездке — так, ради компании, да пивка попить, да на холм залезть вместе. Вот он, Вик, читает списки мертвых,

---

12 Примечания: 12

Доггер-банка — отмель в Северном море, около 100 км от Йоркширского побережья.

точно ему мало жмуриков, с которыми он возится каждый день, а те двое шушукаются там у башни — тоже мне друзья-приятели. Никогда не понимал, как Рэйси может болтать по-свойски с этим говнюком. Это потому, что его-то дочку он не обрюхатил, хотя запросто мог бы, если б Сюзи не умыкнули в Австралию.

Вот Рэй и Джек, они были в пустыне — в той же пустыне, что и я, рядовой артиллерии Тейт, хотя тогда я их обоих не знал. Вот Вик и Джек, которые чуть не полвека работали через улицу друг от друга, Доддс и Таккер, свиные туши и человеческие. И вот Джек и Винс, один уже отпрыгался, а другой еще допрыгается.

Единственное, почему я здесь, если не считать, что мы с ним лет сорок поддавали вместе, это из-за Салли. Из-за того, что Джек возил ее к морю, когда нам самим это было не под силу. Делал девчонке приятное, а у нее немного было радостей в жизни. А вот теперь я везу Джека.

Долг есть долг. У солдата он свой, у моряка свой. Гельголанд. Ютландия. Но спроси меня, так там не столько долг, сколько приказы. Выполнять свой долг в обычной жизни — это другое дело, это посложней будет. Рэйси вот всегда говорил, что Джек был отличным солдатом, ему бы медаль

дать, но когда пришла пора вернуться обратно на гражданку, он, вроде нас всех, не придумал ничего умнее, чем прилипнуть к тому, что знал, точно ему спустили приказ из Главного штаба: быть мясником до конца своих дней. Куда поставили, там и служи.

А потом его потянуло к морю.

Эти, которые стоят около башни, смахивают на двух шпионов. Обратите внимание: у одного пакет подозрительного вида.

Похоже, Салли дала промашку, хоть я ее и не виню: не стоило ей, после того как Бугор ее бортанул, выходить за этого своего придурка. За этого Томми Тайсона, который теперь припухает в Пентонвилльской тюряге. И рвать с ним не стоило, теперь хуже будет, когда он выйдет, надо было и дальше его навещать. Эми же ездит к Джун.

Свои долги надо платить.

И Рэю не мешало бы заново наладить отношения с Сюзи, и Кэрол не должна была уходить от Рэя. Никто не должен ни от кого убегать, дезертировать. И Винси нечего было вставать в позу: надо было сделать, что от него требуется, потому что он всем обязан Джеку и Эми, и Джек был ему отцом не хуже родного.

И Джеку не надо было сдаваться по доброй

воле.

Как и мне.

Джоан еще могла бы прийти, но не Салли.

Они обходят башню кругом.

Так что, можно сказать, только Эми всегда выполняла свой долг, даже с лихвой, из года в год. И ни разу не пикнула, насколько я знаю. Вот и сейчас выполняет, если она и вправду поехала к Джун. Хотя могла бы отправиться туда завтра или вчера. Уж один-то денек можно было и на Джека потратить.

Рэй

Винс глядит вверх на обелиск, настороженный, точно опасается какого-то подвоха с его стороны и решил не спускать с него глаз, точно рад, что может не смотреть на меня. В первый раз нам удалось отделиться от Вика и Ленни. Солнце и красивая панорама у нас за спиной. Он засунул руки в карманы, на левом запястье болтается пакет. Носить его, наверно, не так уж легко, пластиковые ручки врезались в кожу, но Винса это явно не волнует. Он словно не хочет расставаться с ним.

…и могилой кому стала морская пучина.

Он глядит снизу вверх на обелиск, а я — снизу вверх на него.

Не очень-то ловко, когда столько лет за плечами, а росту не набрал. Но и обелиск, похоже, на Винса давит, потому что, хоть он и не поворачивается ко мне, я вижу его лицо — оно как у мальчишки, слегка оробевшего перед взрослым.

Примерно так же он держался тогда, когда хотел купить у меня двор и не знал, как я на это посмотрю. Все дядя Рэй да дядя Рэй.

Он щурится на белый камень — очки-то забыл. А галстук лучше бы ему надеть другой.

— Я вот думаю, Рэйси, — говорит он.

— Думаешь? — спрашиваю. — О чем?

— Джек не говорил тебе ничего насчет денег? — говорит он. — В смысле, когда был уже… Он ни о чем таком не упоминал?

По углам обелиска четыре каменных льва — они припали к земле, как перед прыжком.

— Это насчет каких денег? — говорю я.

— Да неважно, — говорит он, переминаясь с ноги на ногу. Голова у него поднята, смотрит прямо, но вид такой, как будто он чего-то просит. — Ну, скажем, насчет тысячи фунтов?

РипонСандаунТерск.

— Нет, — отвечаю, — ни о какой тысяче он не говорил. Он смотрит на меня — точнее, бросает украдкой один взгляд, потом снова отводит глаза. Солнце прячется за облаками, и белый камень тускнеет, ветер холодит нам шеи.

— Но ведь нам теперь заботиться об Эми, правда? — говорит он, словно стал главой семьи. — Чтобы у нее все было хорошо.

Винс

Я тогда был вряд ли выше того самого буфета. Никто не поверил бы, что через несколько лет Эми будет смотреть на меня снизу вверх.

Она сказала, что их сфотографировали, когда он был в армии, во время войны. Они сидят вдвоем на верблюде и смеются, Рэй впереди, Джек за ним. А было еще фото с одним Джеком — рубашка расстегнута, грудь голая, в зубах сигарета. Но я ей не поверил — не мог понять, при чем тут армия, если человек сидит на верблюде и смеется. И на другом снимке он тоже улыбался.

Я подумал: это не мой папка, не мой папка смеется.

И сказал ей: «Не похож он на солдата». А она ответила: «Потому я и люблю эту фотографию». И больше ничего не объяснила.

Она сказала, что это было в пустыне — они были в пустыне, и дядя Ленни тоже. Еще до того, как я родился.

Бананы у нас в вазе от дяди Ленни.

Чтобы пойти в армию, надо вырасти, вот как мне говорили. И еще была куча вещей, для

которых надо сначала вырасти, как будто, пока не вырастешь, ты и умереть не можешь. А это неправда. Но армия и смерть были связаны — ведь чтобы умереть, надо быть храбрым, а солдаты храбрые.

Но теперь-то я знаю: чтобы стать солдатом, необязательно быть храбрым, а чтобы стать храбрым, необязательно быть солдатом.

«Эми, можно я возьму эту фотографию? Ненадолго».

«Конечно можно, Винс. Оставь ее себе».

Солнце бьет ему в лицо, и он смотрит прямо на тебя, веселый, еще живой, точно знает, что ты не знаешь, кто он на самом деле. Смотрит на тебя из этой латунной рамочки, будто знает, что он в другом мире и глядит оттуда на наш. На нем шорты, расстегнутая рубашка навыпуск, на голове косо сидит армейская каска — так, словно он только ради смеха ее нацепил, — а вокруг одни пески. Он не похож на солдата, даже на взрослого не похож. Ни дать ни взять мальчишка на пляже.

Ленни

И если бы Эми была тут, она, наверно, держала бы нас в узде, не допустила бы никакой ерунды, мы все вели бы себя как положено. Что было бы кстати. А так мне не верится, что все пройдет гладко. Четыре дурака с коробкой.

Они уже выходят из-за башни и возвращаются — молча, как будто успели поговорить и теперь думают. Бугор и малыш Рэйси, как Джек со Счастливчиком. Стоит чуток прикрыть глаза, и можно спутать эту пару с той. Правильно говорят, что противоположности сходятся. Когда я смотрел на Джека и Рэя вместе, мне всегда казалось, что Рэй — это какая-то безделушка, которую Джек выудил из-за пазухи, его маленький талисман. Познакомьтесь: мой друг Счастливчик.

Но Рэйси не так прост, как можно подумать. Только решишь, что от него и ждать нечего, — тут-то он и выкинет что-нибудь этакое, прямо диву даешься. Как будто он прячется за своим малым ростом.

Вик все читает свои списки. Сколько времени мы ему дадим? Ей-богу, Джек никогда не дога-

дался бы, что по дороге в Маргейт ему придется заглянуть в гости к Военно-морскому флоту. А Вик смелый парень — надо же, затащить нас сюда смотреть на все эти имена, когда мы выполняем просьбу Джека. Это все равно что сказать: да ладно вам, Джек обождет. Но я на него зла не держу, на Вика серчать нечего. Потому что долг есть долг.

Четем

Снова выходит солнце, и от обелиска падает на лужайку длинная тонкая тень — она протянулась к полукруглой стене, и теперь мы как будто бы стоим на циферблате солнечных часов. В другое время года, когда солнце низкое, эта тень, должно быть, ползет сначала вдоль первого ряда имен, а после с каждым днем спускается к следующему.

Мы тронулись в обратный путь — шагаем к голубым воротам. Ленни все еще маячит около них, точно это он пустил нас сюда и теперь ждет, чтобы запереть их снова. Пожалуйте фунтик за беспокойство, господа хорошие. Вик закончил, он уже в кепке, но впечатление все равно такое, что это Винси отдал команду: время вышло, пора в машину. Мы проходим в ворота — не все скопом, с разговорами, а гуськом, молча. Словно только что посмотрели кино и никто еще не готов выдать свеженькое мнение об увиденном. Винси идет первым, я замыкающим.

Мы пересекаем открытую верхушку холма. Солнце, панорама и ветер — все нам в лицо. Больше никого поблизости нет, и слышно только, как

шаркают наши ноги да тяжело, с сипом дышит Ленни. Там, где тропинка начинает спускаться к деревьям, Винс вдруг останавливается как вкопанный, и все мы сбиваемся в кучу за его спиной, точно он поднял руку. Наши лица блестят на солнце. Он делает шаг в сторону, на траву. И говорит:

— Вы идите, я догоню. Внизу догоню, не ждите.

Мы не обязаны его слушаться, нам не нужны его распоряжения, но догнать нас ему и правда ничего не стоит. Если судить по дороге туда. Так что мы проходим вперед, один за другим, с небольшими интервалами, и я, последний, оглядываюсь через плечо на Винса. Он шагает по траве, не жалея своего шикарного костюма и туфель, а потом останавливается у обрыва и глядит на панораму, как Вик на списки погибших.

Я мешкаю, другие уходят дальше. Может быть, того-то ему и надо. Может быть, он дает мне еще одну возможность. Но он просто стоит там с пакетом в руках и смотрит вдаль, как один из тех каменных матросов.

Солнце снова прячется за кромкой облака, но тут же выглядывает обратно. Мне и самому жалко уходить — вид отсюда красивый, — но я все-таки поворачиваюсь и иду вслед за остальными. Скоро

вокруг вырастают деревья, и панорама скрывается за ними. В лесу довольно зябко.

Мы собираемся у машины, но не можем попасть внутрь: ключи-то у Винса, так что мы бродим по стоянке не разговаривая, только изредка обмениваясь взглядами. Ленни смотрит на часы. У Вика такое лицо, точно он считает себя здорово виноватым, но за что его ругать, решили так решили. Нельзя же было сказать ему: не пойдем к мемориалу, раз это лишние хлопоты, раз он на холме, плюнь ты на эту затею.

И сейчас не он нас задерживает.

Мы ждем, наверно, с минуту. Потом замечаем на тропе Винса с пакетом. Теперь ему, видно, тоже не терпится ехать дальше, потому что идет он быстро, то и дело оскальзываясь в грязи. Он приближается к нам, и лицо у него сосредоточенное, задумчивое, словно ему хотелось бы, чтоб нас тут не было.

По-моему, и он слезу пустил. Каждому нужно выбрать момент, чтобы побыть одному.

Он аккуратно кладет пакет с коробкой на капот, потом отпирает машину и идет к багажнику — убрать пальто. Мы тоже снимаем плащи, но никто не садится внутрь, как будто без команды нельзя. Он захлопывает багажник и возвраща-

ется к дверце со стороны руля, на ходу скидывая пиджак. Открывает заднюю дверцу, складывает пиджак и сует его обратно на заднее сиденье.

— Ну, — нетерпеливо говорит он, — кто куда?

— Я назад, — говорит Вик, не дав нам и глазом моргнуть. Мы с Ленни переглядываемся.

— А кто вперед?

Точно он наш папаша, а мы его дети и у папаши кончается терпение.

Ленни смотрит на Винса.

— Ладно, Рэй, — говорит Винс, — садись вперед.

Не очень-то мне этого хочется, по крайней мере сейчас, но я покорно лезу туда и утопаю в большом кресле.

Ленни садится назад вместе с Виком.

Винс ненадолго задерживается снаружи, поправляет галстук, приглаживает волосы, счищает палочкой грязь с туфель, потом берет с машины пакет. Я жду, что он спросит: «Ну, кто возьмет?», но он сразу отдает его мне. Как будто ему удобней, чтобы он был под боком, а значит, у того, кто сидит впереди. Но я не знаю, как его взять, как с ним обращаться.

— Давай, Рэйси, держи.

Он заводит мотор, хватает с приборной панели

свои темные очки и так быстро срывается с места, что колеса скользят и взвизгивают. Он проносится по Четему, точно досадуя на сплошные помехи. Когда ты только что думал о мертвых, замечаешь, как спешат живые. Мы выезжаем на M2 — это развязка номер три, в сорока восьми милях от Дувра, — и тут он дает себе волю. Он гонит так, словно хочет наверстать все потерянное время, словно опаздывает на важную встречу. Но мы ведь никуда не торопимся. Его затылок и шея напряжены, они точно окаменели. Я смотрю на спидометр и вижу, как стрелка переползает число 95. На большом мягком сиденье не ощущаешь скорости. Вот уже четвертая развязка, пятая. Все разговоры насчет езды, соответствующей случаю, забыты. Мы все точно хотим что-то сказать, но не осмеливаемся открыть рот, и я чувствую, что Вик чувствует себя виноватым, но Вика ругать не за что.

Вик

Но в Джеке нет ничего особенного, он ничем не отличается от других. Я только это хотел сказать, прошу прощения. Хотел только подчеркнуть это, как профессионал и как его друг. Теперь он лишь один из многих. В жизни есть разница, мы сами проводим различия, я сел сзади и останусь здесь до конца. Но мертвые это мертвые, я их повидал — они равны. Либо ты думаешь обо всех них, либо ты их забываешь. А помнить одного и не вспоминать при этом всех — так не годится. Демпси, Ричардс. И еще не годится вспоминать других и не подумать хоть разок о тех, кого ты не знал. Это делает всех людей равными, раз и навсегда. Есть только одно море.

Ферма Уика

Вдруг он сбрасывает скорость, перестраивается во внутренний ряд, и мы все начинаем дышать свободнее. Ни слова не говоря, он выбирает боковую полосу, ведущую к съезду с магистрали. Развязка номер шесть, Ашфорд, Фавершем. Он поворачивает на Ашфорд, очень уверенно, хотя в Маргейт так не доберешься, а еще примерно через милю сворачивает и с этого шоссе. Мы все смотрим на него, но молчим. Он говорит: «Заедем кое-куда, — не сводя глаз с дороги, не повернув головы даже чуть-чуть. — Это быстро».

Дорога становится уже, начинает петлять в тени деревьев, вокруг тянутся изгороди, поля. Теперь-то, пожалуй, можно сказать, что мы за городом, далеко от Бермондси. На деревьях пробиваются зеленые листочки. Небо голубое, серое и белое, солнце рвется в прорехи облаков. Он сворачивает еще раз, потом еще, точно у него в голове карта. Мы едем по гряде холмов, а справа от нас открывается широкий простор — его видно сквозь промежутки в заборе. Можно подумать, что Винс помешался на видах. Потом

дорога идет чуть в гору, как и раньше, по холмистой гряде, и почти в самой высокой точке он притормаживает, вертит головой по сторонам и останавливается на обочине, у калитки в заборе. Старая проселочная дорога — и не дорога даже, а две белесые колеи, — ведет отсюда вниз, через поле, а около калитки торчит зеленый указатель с надписью «Открыто для пешеходов».

Он выключает двигатель. Мы слышим, как где-то далеко блеют овцы. Он смотрит на меня и говорит: «Рэйси», протягивая руку ладонью вверх, пальцы у него дрожат, и я понимаю, что ему нужен пакет с коробкой, ему нужен Джек. У него такой голос, что я не спорю и ничего не спрашиваю, а просто отдаю пакет. Он вынимает оттуда коробку, а пакет с надписью «Рождественские деликатесы» кидает обратно, мне на колени. Потом открывает коробку, достает банку с прахом, а коробка тоже летит мне на колени. Лицо у него решительное. Он отворяет дверцу и вылезает наружу, прижимая банку к груди.

Он не берет пиджак с заднего сиденья и не вытаскивает из багажника пальто. Он хлопает дверцей и шагает к калитке. Ветер перекидывает галстук через его плечо и надувает ему рубашку. Калитка железная, разболтанная. Он с лязгом

отодвигает запор, приподняв ее за один из поперечных прутьев, и проскальзывает внутрь, лишь слегка приоткрыв ее. На рукаве его белой рубашки остается ржавое пятно. Он смотрит за луг, потом с грохотом захлопывает калитку, которая дрожит от удара за его спиной, и пускается по тропе неведомо куда.

— Здрасте, приехали, — говорит Ленни.

Вик молчит, как будто все это из-за него, как будто это он виноват, что подал Винсу идею. Найди себе холм.

— Ничего не пойму, — говорю я.

Первым выходит Ленни, за ним я, потом Вик. Холодный ветер набрасывается на нас. Под ногами грязно. Сначала надо было бы достать из багажника плащи, но Ленни уже у калитки, возится с запором, словно быстрее всех нас сообразил, чем дело пахнет.

— Ну гад, — говорит он. — Вот гад. Кто ему право давал?

Винс идет через луг туда, где начинается крутой спуск, его красный галстук болтается за плечом, как язык. Это даже не луг, а просто поросшая травой возвышенность. Мы видим впереди целую широкую долину, точно стоим на краю огромной кривой чаши. Там все зеленое и коричневое,

вперемежку, рощицы выкроены аккуратными лоскутами, изгороди как швы. В середине клякса из красного кирпича с торчащим вверх шпилем. Это как Англия с детской картинки, вот на что это похоже.

Налево луг поднимается к вершине холма, где растут несколько деревьев, а между ними проглядывает темно-коричневое приземистое здание — ветряная мельница, только без крыльев. Перед нами небольшой уклон, а впереди, ярдах в восьмидесяти, обрыв. Понятно, что, если подойдешь к его краю, у тебя под ногами откроется еще целый кусок панорамы.

У калитки трава вытоптана и усыпана овечьими катышками. Около изгороди желоб с водой, из оцинкованного железа. Мы слышим и чуем овец, да и видим тоже — вон они, слева, рассыпаны по склону. Все они, кроме маленьких ягнят, уставились на Винса, который идет через луг. Ягнятам, похоже, интересней бегать туда-сюда или лезть под брюхо к мамашам. То и дело кто-нибудь из них начинает скакать, словно наступил на оголенный провод.

Ленни возится с запором.

— Какие такие у него права? Он ему даже не родня, — говорит он. Запор наконец отодвигает-

ся. — И не был никогда, так ведь?

Он толкает калитку и, не дождавшись, пока туда пройдем мы с Виком, бросается по тропе вслед за Винсом. Можно подумать, что подъем к мемориалу пошел ему на пользу, что он был только разминкой.

Винс уже приближается к обрыву, он ни разу не оглянулся. Один локоть у него оттопырен — там зажат контейнер, — а рубашка пузырится и хлопает на ветру. Если бы вся ситуация не была такой сумасшедшей, можно было бы сказать, что он выглядит круглым дураком — посреди луга, с пластмассовой банкой, в белой рубашке и фартовом галстуке, а вокруг овцы блеют.

Ленни движется так быстро, что мы с Виком еле поспеваем за ним. Ему остается еще ярдов двадцать до Винса, когда Винс достигает обрыва и замирает там, делает паузу, хотя ясно, что он уже на что-то решился. Со стороны он кажется человеком, стоящим на краю утеса, но, подойдя ближе, мы видим убегающий вниз склон холма и скрытую до того часть долины: перелесок, дорогу, фермерский дом. Фруктовые сады, печи для сушки хмеля.

Потом мы видим, как Винс начинает отворачивать крышку.

— Ну гад, — говорит Ленни, как будто он давно знал, что у Винса на уме.

Крышка, похоже, не поддается, как у непочатой банки с джемом. Мы уже всего в нескольких ярдах от Винса, и он видит, что мы идем к нему. По-моему, он на это и рассчитывал, мы даже нужны ему как свидетели. Но вот на что он явно не рассчитывал — это на то, что в следующий миг делает Ленни.

Ленни хватает его за ту руку, которой он отвинчивал крышку, но Винс вырывает ее и высоко поднимает банку, чтобы Ленни не мог ее достать. Крышка еще на ней, хотя у нас такое впечатление, что она держится еле-еле, на честном слове. Винс отскакивает в сторону, но Ленни снова кидается на него. Теперь он хватает его за галстук, а другой рукой — за рубашку на груди. Я вижу, как отлетает пуговица, из-под рубашки на секунду показывается голый живот Винса. Потом Винс вдруг теряет равновесие и падает, высоко подняв руки. Он пытается удержать банку, но она выскакивает у него из рук, и мы все видим, как она летит на землю. Мы следим за падением банки внимательней, чем за падением Винса, потому что в момент ее удара о землю может произойти одна из двух вещей или обе сразу. Крышка может

сорваться, а содержимое высыпаться, или банка может неудачно отскочить и слететь вниз по крутому склону холма.

Но она закатывается под кустик чертополоха, и крышка по-прежнему остается на ней.

Ленни прыгает туда, хватает ее и завинчивает крышку потуже. Тут Винс подымается на ноги и идет к нему. Рубашка у Винса выбилась из брюк. На левом ее рукаве зеленый след, под стать ржаво-коричневому на правом. Он пытается вырвать банку у Ленни, но снова поскальзывается, делает взмах рукой, чтобы удержаться, и Ленни отскакивает с банкой.

Винс встает, уже по-настоящему заведенный, спина сгорблена, храпит, пыхтит, а Ленни держит банку у него перед носом обеими руками, дразнит его и вроде как приплясывает на месте. Я никогда не видал Ленни таким шустряком. Винс идет на него, а Ленни отпрыгивает назад, уворачиваясь, словно кинул бы банку мне или Вику, если б у него было такое желание и мы были готовы поймать ее, но он делает легкий бросок, низко и быстро, как в регби, и банка падает на траву поодаль от нас всех, а он сразу занимает позицию между ней и Винсом, выставляет кулаки и начинает по-боксерски пригибаться и помахивать ими.

— Ну давай, Бугор. Иди сюда, козел паршивый.

Винс пару секунд медлит, раздумывая, точно он еще не настолько вышел из себя, чтобы драться со стариком вроде Ленни. Но он видит банку, которая лежит на траве позади Ленни, да и сам Ленни выглядит сейчас не таким уж старым, мы все вдруг замечаем в нем какую-то неожиданную решимость. Он похож на человека, который считал, что для него уже почти все кончено, но сейчас получил свой шанс и не хочет его упускать. Вик рядом со мной то ли вздыхает, то ли хмыкает. Любой из нас мог бы прошмыгнуть к банке и поднять ее, но мы не двигаемся. Мне ясно, что на этот раз Вик не собирается вмешиваться и играть роль рефери.

— Вы же друг друга терпеть не могли, верно? — говорит Ленни. — Ну, скажи!

Винс идет вперед, не поднимая кулаков, отставив локти и чуть разведя руки в стороны, как будто проверяет Ленни, и Ленни идет ему навстречу и сразу наносит удар, без дураков, хороший быстрый джеб в середину груди. Удар заставляет Винса пошатнуться — кажется, он все-таки не верил, что Ленни не шутит.

— Это за Салли, — говорит Ленни, тяжело дыша, потом замахивается снова. — А это за Джека.

Теперь Винс уже не стоит и не ждет, пока его ударят. Он сразу кидается на Ленни, который еще не успел перевести дыхание, и хватает его за отведенную для удара руку. Он держит Ленни за запястье и два раза коротко бьет его по шее ребром ладони, точно мог бы ударить и посильнее, если бы захотел, но и слишком нежничать не собирается. Потом кладет ладонь на лицо Ленни и сжимает его, резко толкает голову Ленни назад — раз, другой, так что глаза Ленни чуть не вылезают у него промеж пальцев, потом отнимает руку, чтобы Ленни мог вздохнуть, и Ленни говорит: «Кулаками, подонок» — и тычет Винса кулаком в зубы. Похоже, Ленни это больней, чем ему. Тогда Винс хватает Ленни за руку обеими руками, тянет за нее и с рычанием раскручивает его вокруг себя, так что они кружатся, как двое фигуристов на льду. Потом отпускает, и Ленни летит в сторону и шлепается оземь. Винс идет и останавливается рядом с ним, и нам непонятно, чего он хочет: то ли ударить его ногой, то ли посмотреть, все ли с ним в порядке. Он протягивает руку, Ленни берется за нее, встает и сильно бьет Винса по ребрам, и Винс снова валит его на землю.

Мы с Виком стоим не шелохнувшись.

Ленни наполовину сидит, наполовину лежит,

как лягушка, опершись на руки. Он тяжело отдувается, весь потек. Винс нагнулся над ним и тоже тяжело дышит. Только и слышно, что их дыхание да блеянье овец, глазеющих на нас, как зрители в спортзале. Теперь Винс мог бы взять банку, но он, похоже, не очень ясно представляет себе, чего еще ждать от Ленни. Он делает несколько шагов, чтобы оказаться между Ленни и банкой, а Ленни тем временем кое-как поднимается на ноги.

Лицо у Ленни смахивает на жареный кусок мяса, он шатается и дышит с громкими, какими-то ослиными взвизгами. Винс отступает назад — он тоже еще не отдышался — и поднимает банку. Потом медленно идет с ней вперед, словно теперь его очередь дразнить Ленни. По глазам Ленни видно, как ему плохо, он не способен это скрыть. Его глаза точно говорят: «Я побит, я выдохся. Пальцем не могу шевельнуть», и можно было бы пожалеть Ленни, такого несчастного, если б не Винс, который тоже пошатывается, спотыкается и ловит ртом воздух и глядит на Ленни с опаской. И еще кое-что мы замечаем: лицо у Винса все мокрое, глаза мокрые. Он сжимает в руках банку, как ребенок игрушку.

— Я не хотел высыпать все, я только чуть-чуть, — говорит он. И снова начинает отвинчи-

вать крышку.

Ленни смотрит на него молча, шатаясь, тяжело дыша.

— Немножко, — говорит Винс. — Совсем немножко.

Ленни глядит на него, потом выдавливает из себя хрипло, точно ворона закаркала:

— Ах вот как? Значит, будем каждые десять минут останавливаться и кидать еще по горсточке? Маленько там, маленько тут?

Винс продолжает отвинчивать крышку. Он вытирает лицо. Это похоже на издевательство. Как если бы человек принес своему приятелю, который лежит в больнице, коробку конфет и сам начал отправлять их в рот одну за другой. Или как если бы вам дали на хранение что-нибудь чужое, а вы взяли и воспользовались бы этим для себя.

— Что значит «развеять»? — говорит Винс. Он проводит рукой по лицу. — Что значит слово «развеять»?

— И не стыдно тебе, поганец? — говорит Ленни.

Но по-моему, Ленни и самому за себя стыдно. Он еле стоит на ногах, вот-вот рухнет. Кажется, он думает, что испортил нам день.

Винс наконец справился с крышкой. Он быстро

заглядывает внутрь. Овцы все еще пялятся на нас. Наверно, мы кажемся им такими же глупыми, как они нам, а если бы кто-нибудь внизу поднял голову и заметил нашу четверку здесь, на вершине холма, мы уж точно удивили бы его больше, чем овцы.

Винс опускает крышку в карман, потом крепче прижимает к себе банку и лезет туда свободной рукой. Из глаз у него течет. Он отходит от Ленни, повернувшись к нему спиной. Видно, у Ленни уже не хватает ни сил, ни духу, чтобы остановить его. Мы с Виком тоже не вмешиваемся. Он идет на край обрыва, лицом к долине внизу, спиной ко всем нам. Далеко в небе виднеется что-то вроде солнечной прогалины, разрыв в облаках, но прямо на нас ползет большая разлапистая туча. Ветер усиливается. Холодно, но Винс с Ленни, по-моему, этого не замечают. Земля пахнет весной, воздух — зимой. Потом налетает первый порыв ветра с дождем.

Винс стоит, глядя на долину, спина прямая, ноги слегка расставлены. Рубашка его теперь, пожалуй, годится только на выброс, а брюкам нужна хорошая чистка. Надо будет объясняться с Мэнди. Он что-то неразборчиво произносит, точно хочет сделать объявление, но не может его

выговорить или забыл, о чем оно. Потом ныряет рукой в банку и быстро кидает, по-прежнему бормоча, раз, другой. Это похоже на белую пыль, на перец, но ветер тут же уносит все без следа. Потом Винс завинчивает крышку обратно, поворачивается и идет к нам.

— То самое место, — говорит он, вытирая лицо. — То самое.

Рэй

«Так что я все знаю, Рэйси», — сказал он.

После операции, которая не была операцией, прошло уже полтора дня, и он больше не был слабым и вялым, и мысли у него больше не путались. Я и не помню, когда еще видел его таким бодрым, собранным, — он сидел у себя наверху в этой своей короткой белой рубахе вроде халатика, и трубок у него прибавилось, теперь некоторые шли ему за спину. Можно было подумать, что в него каждый божий день втыкали новую. Но там, в палате, были и другие, почище Джека — сплошь трубки, трубки да провода да банки с приборами, прямо целые химические установки. Так что надо было как следует вглядеться, если ты хотел увидеть за всем этим живого человека, понять, осталась ли еще там внутри человеческая начинка.

Но он сидел в постели, прямой, неподвижный. Я подумал: как будто с него пишут портрет, его последний портрет, без лести, без прикрас, и никто не знает, сколько времени это займет. Две недели, три. И ничего от тебя не надо: только

сиди и будь самим собой.

Я не знаю, что полагается говорить человеку, когда он говорит тебе, что все знает. И потом, одно дело знать, что полагается, и совсем другое — столкнуться с этим в жизни. Так что я посмотрел вниз, на одеяло, потом снова на него, а он все глядит на меня в упор, прямо в глаза, сидит и не шелохнется, хочет ведь сказать, что раз он способен взять себя в руки, то уж мне-то сам Бог велел, он ведь не перестал быть собой только потому, что узнал. Наоборот.

— Будем знать да помалкивать, ладно? — говорит он. А потом добавляет: — Ягнят на бойню, верно, Счастливчик?

Мэнди

Дорога бежала дальше и дальше, черная, извилистая, с отражателями по обочинам, как будто она была единственной надежной вещью среди этой сырости, темноты и мороси, единственной надежной вещью на свете. Не место откуда и не место куда, а дорога.

Я сказала: «А что у вас там, сзади?» Надо было что-то сказать. И он ответил, взглянув на меня: «Туши», и я подумала: вот повезло. Всего через каких-нибудь шесть часов.

«Что, дом-то далеко остался?» — спросил он.

Я кивнула, чувствуя, как отяжелела голова, как ноет от усталости шея.

«И где же именно?» — спросил он.

И подался вперед, сжимая в руках баранку.

«В Блэкберне», — говорю я.

Блэкберн, Оллертон-роуд, 27.

«Но теперь, значит, уже не там, а? — сказал он, вытаскивая из нагрудного кармана пачку сигарет. — Блэкбернская скиталица, так, что ли? — и ухмыльнулся собственной шутке. — В Лондон небось?»

Я кивнула.

Он встряхнул пачку, подтолкнул одну сигарету большим пальцем и вынул ее губами. Протянул пачку мне, но я покачала головой.

«На денек или насовсем?» — сказал он, вслепую нашаривая зажигалку. Я промолчала. Он щелкнул зажигалкой, и огонек осветил его лицо, широкое, красное, бугристое. «И сколько ж тебе, красавица?» — спросил он, выпуская дым.

Я промолчала.

«Семнадцать?» — сказал он. И снова затянулся сигаретой, глядя вперед сквозь стекло, по которому плясали «дворники», глядя на дорогу так, словно это была его дорога. «Где вы, мои семнадцать лет?» — вроде как пропел. А потом говорит: «Я отвезу тебя в Лондон, красавица. Вместе с мясом».

Он повернул голову. Я смотрела прямо на него. «Чего смотришь?» — спросил он.

«Вы похожи на моего отца», — сказала я.

Это полезный ответ, удобный — сразу их всех осаживает. Я и раньше пробовала.

А потом, он честно похож был. Самую малость.

* * *

Его-то я и считала виноватым — отца, моего отца Билла. Именно его я назвала бы, если б мне когда-нибудь пришлось объясняться, если бы я волей-неволей вернулась на Оллертон-роуд, сама или в полицейской машине. Я же не первая, кто убежал из дому, правда? Как раз он-то и подал мне пример.

Может, он и в тот момент обо мне думал, у своей шлюхи на острове Мэн, если он, конечно, до сих пор там. Проснулся спозаранку, зажег сигарету. Дождь барабанит в окно. А где, интересно, сейчас Мэнди, что, интересно, делает эта пацанка?

Он часто повторял: «Пропащая ты девчонка, Мэнди, пропащая, вот что я тебе скажу». Но всегда с ухмылочкой, или подмигивая, или прищелкивая языком — неважно, провинилась я или нет, — как будто это от силы на десять процентов выговор, а на девяносто одобрение. «Пропащая ты душа, могила тебя исправит», — и глядел на меня так, словно в один прекрасный день ему придется выручать меня из беды. А мне нравилось говорить — потому что в этом тоже как будто было что-то дурное и потому что остальные девочки говорили о своих отцах по-другому: «У меня папа

моряк». Моряк Билл. Ракушка Билл.

Не то чтобы работа на пароме, который перевозит машины, могла сделать из тебя настоящего моряка. Из Флитвуда в Дуглас, туда и обратно в течение дня. А зимой — из Хейшема в Дуглас, на час дольше. Но когда я слышала, как он выходит на работу рано утром, как он пытается растормошить на дворе свой дряхлый «хилман», я думала: скоро он будет в море, мой папа Билл, поплывет сначала туда, а потом домой.

Только однажды он домой не вернулся.

Я никогда не говорила «матрос», это звучало неправильно, хотя и в этом слове было что-то дурное, девчонки хихикали, когда его слышали. Матрос, волосами весь оброс. У матроса хрен до носа. Но когда-то он был настоящим моряком — по крайней мере, так он говорил. Повидал белый свет. Шанхай, Иокогама. А потом встретил маму, и пришло время остепениться. По крайней мере, так говорила она. Их сумасшедшая ночь в Ливерпуле. Коричневые бицепсы, наколки и добрая порция соли. Моряк, забудь свои скитания. Хотя теперь трудно поверить, что это было, трудно представить себе, чтобы мама была той женщиной, особенно если поглядеть на этого зануду Невилла из муниципалитета, которого она под-

цепила взамен. «Мэнди, познакомься с мистером Лонсдейлом». Невилл Лонсдейл, городское строительство. С тех пор у нас началась другая жизнь.

Он имел привычку подносить ко мне свою блинообразную физиономию, улыбаться на манер священника и говорить: «Ну так кем же ты хочешь быть, Мэнди, кем же ты хочешь стать, когда вырастешь?» Зарабатывал себе очки в ее глазах. Прикидывался, что я ему небезразлична, что он меня уважает. Заботливый нашелся. А я хотела сказать, что хочу быть пропащей, тем более что меня все равно могила исправит, как говорил папа. Хочу быть Мэнди Блэк, хочу быть пропащей.

Такой я и была. Шаталась по барам да по танцам, скакала и орала, позволяла задирать себе юбку и еще похуже того. Позволяла тискать себя по углам. Я послала мать с Невиллом к чертям собачьим — иначе говоря, поступила с ними так же, как они со мной. Больше того, сказала своей лучшей подруге, с которой мы вместе грешили, Джуди Баттерсби: «Как насчет Лондона? Огни большого города. Ты да я». Но она так и не появилась, сдрейфила, овца несчастная.

Но, по-моему, я всегда, до самого последнего момента, надеялась на то, что он вернется и попросит прощения за все пять лет. Кинет в угол

сумку с вещами, а потом выкинет из дому Невилла. Тогда и мне не пришлось бы убегать.

Но его «хилман» нашелся не во Флитвуде, а в Ливерпуле. Так что он мог отправиться куда угодно. Не к той шлюхе на остров Мэн, а по всем шлюхам Шанхая и Иокогамы. У меня сложилась такая картина — дурацкая, но я до сих пор ее вижу. Что он уплыл в Южные моря. Туда, где зеленеют лужайки под кокосовыми деревьями. Что он и сейчас там, на тридцать лет моложе, с цветочком за ухом. Как Адам, который живет где-то далеко со своей Евой.

* * *

«Как тебя зовут, красавица?» — спросил он.

«Джуди», — ответила я.

«А я Мик, — сказал он. — Тебе куда в Лондон — куда-нибудь или все равно куда?»

«Все равно куда», — ответила я.

«Отвезу тебя на Смитфилд, — сказал он. — Слыхала про Смитфилд? Через два часа будем. Все в порядке, красавица, все тип-топ, пока можешь вздремнуть».

* * *

Вот так Мэнди Блэк, или Джуди Баттерсби, поскольку путешествовала она под этим именем, была доставлена в Лондон в рефрижераторе и увезена в мясном фургоне, успев разве что краешком глаза увидать Лестер-сквер. Это известная история, ее мусолили почем зря, может, слухи и до Оллертон-роуд докатились. Сменить Блэкберн на Бермондси казалось шагом вверх. Но теперь, когда я думаю об этом, когда смотрю на тех, кто сидит у магазинов и под уличными арками, кутаясь в вонючие одеяла, я думаю, что мне повезло. И, вспоминая девчонку с рюкзаком, топающую по шоссе A5, я думаю: это было мое приключение, мое главное приключение, хотя длилось оно от силы часов двенадцать.

Удрать из дому и найти себе другой дом в пределах одного дня, хотя новый дом и не был настоящим домом, не больше, чем старый. В новом доме все было не тем, чем казалось: сын, чей дом был не здесь и все же здесь, дочь, чей дом был здесь и все же не здесь, потому что на самом деле ее следовало бы отправить в приют, отец с матерью, которые не были настоящими отцом и матерью, разве что относились ко мне

как настоящие.

Почему я осталась там? Почему не махнула дальше — и поминай как звали? Когда в мире только и разговоров, что о переменах, все куда-то бегут. Дело было, понятно, не в одном Винсе. И не в том, что где-то в душе мы с ним и правда были как брат и сестра, если не хуже — как отец с дочерью. Почитай что вчера с Ближнего Востока, «из ада под названием Аден, куколка», — и сумка, валяющаяся в углу той самой спальни, где он и обжиться-то заново не успел, сразу пришлось освобождать ее для меня. «В. И. Доддс». И его запах внутри — пота, и машинной смазки, и армейской службы. Наколки на руке. «Лижи не лижи, все равно не слижешь». Так что это было как совершить кровосмешение, как разом вынести все на свет божий, как пойти на риск там, где по идее должно быть безопасней всего. Мой дом, моя крепость. Да еще в фургоне — в фургоне у дяди Рэя, точно пара цыган.

Из Блэкберна в Бермондси, хотя об этом ли я тогда грезила. Но вот где я осталась, и вот кем я стала. Подстилкой Винса, женой Винса, его сестрой, дочерью, матерью, всей его семьей. Плюс маленькой взрослой дочкой Джека и Эми. Как будто напрочь забыла, кем была та девчонка на

шоссе А5. Как будто те двенадцать часов пути могли превратить меня в кого угодно. Кем желаете стать, Мэнди Блэк? Ноябрь шестьдесят седьмого. Год «Сержанта Пеппера». Четыре тысячи дыр в Блэкберне, Ланкашир.[13] Это было не в среду, в пять утра, а в четверг, в восемь вечера. Но у меня в голове все вертелась та песенка, как будто она была про меня: она уходит из дома — прощай, прощай.

* * *

«Шершень», — сказал он.

«Что?» — спросила я.

«Самолет-снаряд, — пояснил он. — B-1. Развалил дом, прикончил всех, кроме меня. Я не тот, кто ты думаешь, не Винс Доддс».

Могла бы сама догадаться, подумала я. Не только по твоей внешности, но и по тому, как ты держишься особняком, по тому, с какой охотой ты согласился освободить мне спальню и ночевать в фургоне. Но ведь была у тебя и задняя мыслишка, ты ведь схитрил, разве не так, Винс?

Пускай спит в моей комнате.

---

13 Примечания: 13

Строка из песни «Битлз» «Один день в жизни» (альбом «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера»).

А ты куда, Винси?

Что-нибудь придумаю.

Я хотела сказать ему: «Я тоже не та, кто ты думаешь». Потому что не знаю, кто такая Мэнди Блэк, пока не знаю — я только пытаюсь в этом разобраться.

Но я уже сказала Джеку, сидя в его мясном фургоне, когда мы совершали что-то вроде утреннего тура по Лондону: «Я назвала вам чужое имя, меня зовут не Джуди. На самом деле я Мэнди, Мэнди Блэк из Блэкберна». «А кто такая Джуди?» — спросил он. «Никто», — ответила я.

Олд-Бейли, собор Святого Павла, Лондонский мост, первые лучи рассвета над серой рекой.

«Моя настоящая фамилия не Доддс, а Причетт», — сказал Винс.

Я почувствовала, как он съеживается, опадает внутри меня. И улеглась щекой ему на грудь.

«Это не секрет, — сказал он. — Это факт. Хотя он всю жизнь пытается его игнорировать».

«Кто?»

«Старик, — сказал он. — В смысле, Джек. Ты думаешь, почему я вообще слинял? Зачем подался в армию? Затем, что не хочу я быть Винсом Доддсом. Мальчиком на побегушках в мясной лавке».

«Но ты же вернулся», — сказала я.

«Вернулся, чтобы он знал», — ответил он.

«Мужикам проще, — сказала я. — Можно записаться в солдаты, можно уйти в море».

«Поторчала бы в Адене, не так бы запела», — сказал он.

Я принялась вылизывать его наколки. Одна была с буквами ВИП, а под ними кулак с молнией. Я сказала: «У тебя на сумке стоит „Доддс“. Так кем ты хочешь быть, Винс? Чем хочешь заниматься?» И он ответил: «Машинами».

«Машинами?» — переспросила я.

«Видела на дворе старый „ягуар“? — сказал он. — Пятьдесят девятого года, девятая модель. Смотреть тошно, да? Но это ведь „ягуар“, а не старая консервная банка. Он у меня будет как новый».

И он стал рассказывать мне о машинах — чего только о них не рассказал.

Я думала: никогда не бывает так, как тебе представляется, все выходит по-другому. Вот мы с Джуди Баттерсби гуляем по Ист-Энду, а потом прибиваемся к каким-нибудь парням из рок-группы.

А тут мясной фургон, демобилизованный солдат с машинной смазкой под ногтями. Добро

пожаловать в автомастерскую.

Он сказал: вот увидишь, Джек еще ко мне приползет.

Я лизнула его волосатую грудь.

И сказала: «А откуда ты знаешь, что я та, кто ты думаешь? Откуда ты знаешь, что я на самом деле Мэнди Блэк? Я ведь тоже могу оказаться кем угодно, правда?»

Я положила руку на его липкий член.

«Я тебе золотых гор не обещаю, не морочу голову, — сказал он. — Говорю все как есть. Чтобы ты не воображала себе невесть чего. Это ж по-честному, верно?»

«Да», — ответила я.

«Все без обмана».

«Да, Винс», — ответила я.

«Мне только три месяца было, разве я что понимал?» — сказал он.

Я почувствовала, как его член напрягается под моей рукой.

«Я тебе говорю, чтоб тебя предупредить».

«Предупредить?»

«Он и с тобой захочет то же самое сделать. Они захотят с тобой то же самое сделать».

«Что-что?» — сказала я.

«Я думаю, им даже на руку, чем мы тут с тобой

занимаемся».

«О чем ты?»

«Чтобы я опять не удрал, и ты тоже. Но ничего, мы оба им покажем. И тут останемся, и свалим от них одновременно».

«Это как же?» — спросила я.

«Машины», — ответил он.

В фургоне было уютно, как в потайном углу, про который никто не знает.

«О чем ты говоришь-то?» — спросила я.

Он перекатил меня на спину и впихнул в меня, и я подняла колени и обхватила его ногами.

«А они тебе, конечно, не говорили? — спросил он. — Уж конечно. Ты еще и половины всего не знаешь, правда?»

* * *

Никогда не бывает так, как тебе представляется. Миссис Винсент Доддс, миссис Салон Доддса. Муж по автомобильной части, а дочка завлекает клиентов.

Огни большого Лондона. Да, огней хватало. Ряды длинных, высоких зданий, везде светло, как на ярмарке, везде полно мяса, и людей, и шума, точно люди орут на мясо, а оно орет на них в ответ. Вокруг было еще темно, совсем темно по

сравнению с ярким светом внутри, сплошной мрак и сырость. Рычали и урчали грузовики, морось искрилась у них перед фарами, хлопали дверцы, лужи отсвечивали красным и белым, а из темноты появлялось все больше мяса, на тачках, на плечах, и люди, которые его тащили, были с ног до головы заляпаны кровью, их красные лица блестели, как их товар. Я подумала: Боже праведный, Мэнди Блэк, куда тебя занесло? И этот шум, точно сумасшедшие галдят на своем языке, как будто само мясо еще вопит и сопротивляется, еще брыкается, но я уже различала среди шума эти голоса, кажущиеся нереальными, потому что я слышала их раньше по телеку, по радио, голоса, которыми вроде никто по-настоящему и не говорит, но тут все говорили такими голосами, естественно, как дышали, словно отсюда-то эти голоса и взялись, из этого самого места. Кокни. Лондонский говор. Лондонский гонор.

«Смитфилдский рынок, красавица, — сказал он. — Говяжьи туши и живые души, свежее мясцо да соленое словцо. Мне работать надо, но смотри туда, — и он показал, наклонившись мимо меня, опершись рукой на спинку моего сиденья, — видишь, закусочная Кенни. Чашка горячего кофе, добрый сандвич с беконом. Обожди там, я тоже

после приду», — и подмигнул мне.

Когда я слезла вниз, шум изменился. Сначала он отступил, потом нахлынул на меня, как волны. Заплескалось со всех сторон: гляньте-ка, гляньте, кого Мик привез. Как в Моркаме,[14] когда входишь в воду, стараясь до последнего момента не замочить купальник. Я пошла к закусочной, прокладывая себе путь между людьми и тушами, и, если быть честной, думала среди всего этого гама, на самом пике своего великого приключения: я дождусь его, моего шофера Мика. Выпрошу у него завтрак, смирюсь со всеми кивками, подмигиваньями и намеками, которыми он будет меня потчевать. А потом тихонько скажу, разок-другой похлопав ресницами: «А вы не возьмете меня назад? Подальше на север, куда доедете?»

Мне и в голову не приходило, что всего через час я отправлюсь в мясном фургоне навстречу своему будущему на весь остаток жизни. И повезет меня большой, добродушный человек с сильными руками и громким голосом, похожий на моего дядю, человек, про которого я раньше и ведать не ведала, как будто он специально дожидался здесь моего прибытия. «Ты знала,

---

14 Примечания: 14
Морской курорт в Ланкашире.

куда приехать, подружка. Смитфилд — сердце Лондона, тут жизнь и смерть, у нас на Смитфилде. Видишь вон тот дом? Это Олд-Бейли. Я тебя прокачу по самым красивым местам, ты ведь еще ничего этого не видала. Садись в кабину».

Собор Святого Павла, Лондонский мост, Тауэр, все как будто ненастоящее и было таким всегда. Как будто нарочно созданное для серого, влажного рассвета. На мосту он сбросил скорость. И сказал: «Живешь среди этого всю жизнь, а потом вдруг замечаешь. — И добавил: — Хочешь поработать в мясной лавке? По фунту в день плюс стол и крыша».

«Меня зовут не Джуди»,[15] — сказала я.

Он посмотрел на меня долгим, пристальным взглядом.

«А меня — не подонок».

И тот первый шофер, который назначил мне свидание, так и не объявился, во всяком случае, я его больше не видела; он никогда не пытался встрять между Джеком Доддсом и мной.

Аппетитный запах жареного бекона. Чад, и дым, и гомон, и смех. Косые взгляды, кривые ухмылки. Сплошь свинина да разговоры. Я поду-

---

15 Примечания: 15

Игра слов: «джуди» на уличном жаргоне означает «проститутка»

мала: тут еще хуже, чем на улице. И у всех такие лица, словно на тебе приятно отдохнуть их усталым глазам, но в то же время ты зря влезла на их драгоценную территорию. Все жуют и глотают, здоровые, заляпанные кровью мясники. Все, кроме одного — чудного худенького коротышки в сером плаще, из-под которого выглядывают воротничок и галстук. Он казался здесь таким же чужаком, как и я, сидел и помешивал свой чай и смотрел на меня так, словно его мысли где-то далеко, но я могу вот-вот нарушить их течение. Я подумала: угости меня завтраком, малыш, купи мне перекусить. С тобой я, наверное, слажу. Ты такой грустный и нестрашный, что я готова поесть на твои деньги: сам-то ты, видно, не большой любитель завтраков.

И я села напротив него, за столик, хотя он занял его, похоже, не только для себя, и он уже хотел что-то сказать, все помешивая ложечкой в чашке, точно боялся, что иначе его чай застынет, но тут вошли те трое, которых он ждал. И один из них, самый здоровенный, шел впереди, как их командир, и я подумала — не знаю почему, но такие вещи сразу чувствуешь: этот громила и приберет меня к рукам. Он поглядел на меня, потом на того малыша, потом опять на меня — этот взгляд

я, Мэнди Доддс, и сейчас помню, так когда-то смотрели на меня, но теперь больше не смотрят, мужчины определенного возраста: словно они хотели бы стать лет на десять моложе, однако и сами понимают, что уже в отцы мне годятся. Потом он снова поглядел на малыша, с лукавой улыбочкой, а малыш прокашлялся и сказал, покраснев: «Она тут…» И тогда я сказала: «Я Джуди. Из Блэкберна».

Тот, огромный, как будто слегка растерялся. А потом сказал этим своим чересчур громким, чересчур нахальным голосом, который никогда не знал и никогда не узнает и плевать хотел, что он такой громкий и нахальный, который никогда не испугается быть услышанным: «Это Тед. Это Джо. Я Джек Доддс. А это Рэй. Ты с ним будешь как у Христа за пазухой. Рэй из страховой конторы, он у нас везучий. Маленький, но везучий. Его бы только подкормить чуток».

Винс

Хуссейн у меня тоже получит, как Ленни, если не купит эту тачку. Я ему оборву его коричневые яйца. Одно за «мерс», другое за то, что он охладел к Кэт.

Цена этой машины плюс тысяча сверху, тогда все в порядке.

Да еще за костюм надо платить, глаза б мои его не видали.

Надеюсь, он понимает, чем рискует. Уж с ним-то я миндальничать не стану, как с этим краснорожим Ленни, боксеришкой паршивым. Ему я выдам по полной программе, у нас ведь не об овощах-фруктах речь.

Мне даже не обязательно делать это самому. Есть люди.

В любом случае, я думаю, он знает, как я его ненавижу. И наслаждается этим. Дело не только в автомобилях и в девочке. Дело в том, что я должен ему улыбаться и рассыпаться перед ним мелким бесом, как будто я его слуга, хотя на самом деле я думаю: ах ты сволочь с полотенцем на башке, мы вас, блядей, давили в Адене. А вы, суки, отрубали

нашим ребятам головы.

Сержант говаривал: мы занимаемся техникой, а пушечное мясо не по нашей части.

Просто он знает, что может бить меня по больному месту. Наверное, как-то догадался по моему виду — потому что сам я ему не говорил, хотя, наверно, Кэт говорила, наверняка не удержалась и ляпнула, — что я был там, в армейской каске, в машинной смазке, вялился в этой гнилой, вонючей дыре, которая ему что дом родной, а теперь он приезжает сюда, в конец Бермондси-стрит, из своей стеклянной теплицы в Сити, чтобы я выбирал ему тачки покруче да повторял: «Верно, мистер Хуссейн, правильно, мистер Хуссейн», стоит ему только помахать бумажником.

Подмазали — так катись, вот как я говорю. А то ишь, нашел себе развлечение.

Вон идет Винс Доддс, который подложил свою дочку под араба.

Помню, как он вошел в тот первый раз: пальто висит на плечах, из нагрудного кармана торчат темные очки, сразу видно, что парню не надо зажиматься. У них в Сити сейчас гайки закрутили, а когда у них дела идут туго, мне легче, но этот явно на волне. Такому ни к чему автосалон Доддса, он может отовариться и на Беркли-сквер. Только я

давно подметил, что у них у всех одна болезнь. Хлебом не корми, дай поторговаться — привыкли к своим базарам.

Единственное, чем я могу его заинтересовать, это «гранада скорпио» восемьдесят пятого года, и он обнюхивает ее дольше, чем стоило бы из простой вежливости, но я замечаю, что он глядит на Кэт, оценивает и ее тоже, как машину. Дверь в контору широко раскрыта, она сидит там за столиком, и не моя вина, что на ней юбчонка не шире набедренной повязки и тесная белая футболка, а на его родине они ходят как монашки. Не моя вина, что она уже не малютка Кэти, что ей восемнадцать, школу кончила, а работы найти не может. Я сказал: если хочешь, потрудись в салоне, все лучше, чем дома штаны просиживать.

В общем, я даю ему поторчать в зале еще с минуту, и у меня больше не остается сомнений насчет того, чем он живет. Машинами, девочками и торговлей. Хобби не хуже любых других. Тогда я подхожу к нему и говорю, спокойно так, ненавязчиво: «Вам помочь, сэр?» А он смотрит на меня, и один его глаз говорит, что ему неохота якшаться с такими, как я, не нужен ему трехлетний «форд», а другой все пялится на Кэт через мое плечо.

«Я посмотрел „гранаду“», — говорит он.

«Отличная машина, отличный двигатель, все налажено, как хронометр, — говорю я. — Лучше за такую цену нигде не найдете. Желаете прокатиться на ней вокруг квартала?»

Я вижу, что он сейчас даст задний ход, и говорю, наблюдая за его глазами: «Ключи в конторе. Принести? — Потом смотрю на часы и добавляю: — Я бы поехал с вами сам, но ко мне должен прийти другой клиент, встреча в четыре. Но я узнаю, может, Кэти будет не против. Вы торопитесь?»

И он отвечает, взглянув на свои собственные часы, не какие-нибудь, а «ролекс»: «Пожалуй что нет».

Я заглядываю в дверь конторы и говорю: «Кэт, этот джентльмен хочет проверить „гранаду“, ты не составишь ему компанию? У меня дела. Его зовут мистер…» — оборачиваюсь, а он уже стоит за моей спиной. И говорит: «Мистер Хуссейн». Я повторяю: «Мистер Хуссейн». Потом снимаю со стенда ключи и бросаю Кэт, и они падают ей на колени.

Раньше я никогда не просил ее о таких вещах, и она смотрит на меня с сомнением. Но уж в чем в чем, а в машинах моя Кэти разбирается. Я научил эту девчонку водить, как только ей стало можно сдавать на права. Тут она оказалась в меня, у нее

все пошло как по маслу.

Так что она даже выводит ее для него на улицу, любо-дорого смотреть.

Не моя вина, что у нее такая фигура, не моя вина, что она материна дочка и все такое прочее.

«Это Кэт, — сказал я, — моя дочь Кэт. Она вас обслужит по высшему разряду».

Жду другого клиента, рехнуться можно.

Когда они возвращаются, я говорю: «Ну как? Неплохо, правда? Винс Доддс барахлом не торгует». А он смотрит на меня так, точно хочет сказать: прибавь девчонку, и я беру, — и я смотрю на него, точно говорю: накинь еще полштуки, и она твоя. «Хорошо, — говорит он. А потом добавляет, этак по-приятельски: — Моя маленькая слабость, мистер Доддс, мой маленький недостаток. Покупаю машину, скоро она мне надоедает, и я покупаю другую. Как игрушки. — Пальто из верблюжьей шерсти. — Присмотрите для меня что-нибудь подходящее. За ценой я не постою».

И я понял, что он вовсе не собирался покупать эту «гранаду». Понял, что вскоре он вернется, чтобы купить другую машину, и приплатит мне, если я хотя бы только намекну, что мне не хватает Кэт в конторе, что девушка ее возраста должна приличным способом зарабатывать себе

на жизнь.

Вон идет Винс Доддс, который продал собственную дочь.

Но ведь она-то понимала, куда ветер дует, она уже давно стала самостоятельной. Материна дочка. И по рукам она, во всяком случае, еще не пошла. Не то что Салли.

Но если теперь он и вправду хочет отвалить в кусты, если он думает, что может вышвырнуть ее на улицу, другая тачка — другая грелка, пусть подумает хорошенько. Пусть не рассчитывает, что спрячется в своем шикарном доме, потому что я приду и вышибу дверь. А после вышибу ему мозги. И черт с ним со всем, мне наплевать, что он не купит этот «мерс», не говоря уж о тысяче сверху. Ведь что она, тысяча: дунул — и нету, как вот Джек сейчас. Но Кэт моя живая дочь, моя кровь. Она тоже Доддс. И на похороны Джека она пришла в таком черном костюмчике, что глаз не оторвать, — небось влетел ему в полштуки, не меньше. Так что я рядом с ней, прямо скажем, хиловато выглядел. Даже не по себе было.

Рэй

Она ездила повидаться с Джун дважды в неделю. По понедельникам и четвергам, аккуратно, как часы. И до сих пор ездит. Все это произошло, когда я словчил и начал работать только по три дня в неделю, с понедельника до среды, на два дня меньше, а денег меньше всего на четверть, с учетом прибавки. Хеннесси сказал мне: «Тебя скоро повысят, я-то уж знаю, — и приложил палец к губам. — Главное, будь паинькой, пока не сдашь годовой отчет». Я так думаю, он жалел меня из-за Кэрол, вот и ввернул где надо словцо, напомнил начальству, что я еще здесь работаю. «Меня спроси, так давно пора, — сказал он. — Тебе уже сколько?» — «Сорок пять», — ответил я. Но меня не интересовало повышение, я не хотел двигаться дальше по служебной лесенке. Наоборот. И я сказал: «Они могли бы меня по-другому премировать. Меньше рабочего времени за меньшие деньги — вот что мне надо, а в начальники я не рвусь».

В этом был резон, раз уж я один остался. Точнее, вдвоем с фургоном.

И потом, мне все чаще улыбалась удача, я становился по-настоящему ушлым малым, оправдывал свое прозвище. По крайней мере, лошадки меня любили, если не кто другой.

И почему бы человеку, которому не о ком заботиться, кроме себя, не устроить жизнь по своему вкусу? С понедельника по среду в конторе, с четверга по субботу на скачках или в дороге.

Наша крыша — небо голубое…

А потерю в зарплате более или менее восполняли коняшки, иногда даже с лихвой. Занятия-то, в общем, родственные, игра на случайностях. Что страховка, что скачки.

«Какие, по-твоему, шансы у Гудвуда?» — говорил Хеннесси.

Так вот, значит, Эми ездила к Джун по четвергам, а я тем временем колесил по стране в погоне за счастьем. И мне пришла в голову мысль — я долго ее обдумывал, прежде чем высказать, долго вертел и так и сяк, но потом все же собрался с духом и выложил. «Эми, — сказал я, — в этот четверг я никуда не поеду. Один раз лошади и без меня побегают. А тебе уж больно далеко тащиться на старом автобусе. Давай я отвезу тебя к Джун в своем фургоне». И она ответила: «Хорошо, Рэй», и мы отправились.

То ли во второй, то ли в третий такой четверг, когда мы ездили вместе, я сказал ей: «Слушай, а ведь я познакомился с тобой в тот же день, что и с Джеком». Она поглядела на меня, озадаченная, и сказала: «В пустыне, что ли?» — «Ну да, в пустыне, — ответил я. — В Египте». Она и нахмурилась, и усмехнулась одновременно. Тогда я сказал: «Я видел тебя на фотографии», — и мой голос прозвучал не так, как мне хотелось — словно я просто играю в игру, отвечаю на загадку, — он прозвучал по-другому, как будто я говорю серьезно. Я никогда не был докой по женской части.

Она поглядела на меня, спокойно и пристально, мягко и проницательно в одно и то же время, и тут я понял, что она знала или, во всяком случае, подозревала это с давних пор. Насчет моего отношения к ней. Несмотря на Кэрол, несмотря на Сью, несмотря на то, что она уже досталась Джеку, несмотря на то, что ее красота почти ушла. Но ведь и в этом есть своя прелесть, я так считаю, в увядающей красоте, — все зависит от твоего вкуса. И потом, не так уж она постарела. Несмотря на то что они с Джеком много лет катились и катились по одной колее, как будто их посадили в вагончик, пристегнули ремнями да и пустили по кругу без остановок. Но я думаю, тут мы все оди-

наковы. Пока не спихнут, с рельсов не сойдем.

Я всегда к ней так относился.

Наверное, мне сыграло на руку то, что Сью и Кэрол меня бросили, одна за другой, потому что Эми, кажется, меня пожалела. Не так, как жалел Хеннесси. Может быть, она всегда меня жалела, и если все это было только жалостью и ничем другим, мне, в общем-то, тоже не стоит сетовать на судьбу.

Добираться туда было сложно. Она ехала на 188-м до Элефант,[16] потом садилась на 44-й, а иногда и в Тутинге приходилось пересаживаться. Больница была недалеко от Эпсома. Так что времени на разговоры у нас хватало, хотя дорогу я уже знал, ездил по ней и раньше. Но после ее посещения мы все равно немного задерживались, просто сидели в фургоне или на одной из тамошних лавочек, если погода позволяла. Она сказала, что Джек и не видел никогда Джун, если не считать первого раза. Никогда не приезжал к ней за город. Вообще-то я об этом догадывался, только уверен не был. Думал, может, он все-таки разок съездил или у него свой, особый режим таких посещений, просто он не любит об этом говорить. Ан нет — не

---

16 Примечания: 16

Элефант (Элефант-энд-касл) — площадь в юго-восточной части Лондона.

ездил. И тут он, конечно, неправ, сказала она, что знать не хочет собственную дочь. Правда, она понимает, что и сама неправа, это она тоже сказала: ее ошибка, наоборот, в том, что она так и ездит сюда по два раза в неделю, уж сколько лет, и толку от этого никакого, но перестать она не может, мать есть мать. И если бы он приезжал сюда сам хоть изредка, это могло бы поправить положение, она могла бы пропускать те дни, в которые ездил бы он, и они с ним не стали бы такими, как сейчас, не тянули бы за разные концы одной веревки. Но теперь уж ничего не попишешь.

Она сказала, что выбрала ее, а не его. Это факт, куда тут денешься. И она это знала, и он тоже.

Я сказал, что это был трудный выбор, или попытался сказать, потому что найти слова было непросто: выбрать ту, которая не знает, кто она, и может, никогда не узнает, а не того, кто здоров и в своем уме и, между прочим, ее муж лет уже этак тридцать. А она посмотрела на меня, спокойно и задумчиво, как будто зря я вообще открывал рот, и я подумал: ну вот, запорол дело.

«По-твоему, Джек знает, кто он?» — спросила она.

«Уж если он не знает, тогда кому ж еще», — ответил я.

Тут она улыбнулась, даже засмеялась еле слышно. «Он не такой уж силач, знаешь ли, в некоторых отношениях. Совсем не такой силач».

«Он протащил меня через войну», — ответил я. Но не добавил, хотя собирался и чуть было не сказал: «И ты тоже».

* * *

Когда она уходила в больницу, я или торчал на автостоянке, или слонялся по территории. Там были лужайки и дорожки, по которым бродили пациенты. На вид ничего особенного. Вполне можно было спутать с нормальными.

Когда я смотрел, как она идет по стоянке и заходит внутрь, я всегда думал, что она выглядит такой же одинокой, как я, и у меня начинало сосать в груди. Но мне не приходило в голову, по крайней мере сначала, что я могу пойти с ней к Джун, сделать то, чего Джек никогда не делал, и это может все решить. Наверное, этого она и ждала от меня с самой первой поездки. Мне казалось, что не стоит туда лезть, я не имею права, мое дело только привезти ее. А может быть, я просто боялся. Но на третий или четвертый четверг я сказал: «Ничего, если я пойду с тобой?» И она ответила: «Конечно, пойдем».

Не знаю, как вы относитесь к таким вещам, к таким зрелищам. Не знаю, что вы сказали бы о женщине, которой нет еще и тридцати, с телом как у любой другой женщины, мягким и складным, — если не обращать внимания на больничную одежду и на все остальное, его можно было бы даже назвать красивым, — но с разбухшей головой и слюнявым лицом, которое может любить только мать. Не знаю, что вы сказали бы о женщине двадцати семи лет, чье имя Джун, но она даже не знает этого, потому что по развитию не дошла и до уровня двухлетнего ребенка. Наверное, сказали бы, что жизнь не бывает настолько несправедливой, чтобы обойтись с вами несправедливее всех, и что если вы не способны к переменам, то кто-то способен к ним еще меньше вашего — хотя бы люди, которые навсегда остались по ту сторону.

Но одно я понял в тот четверг, когда сидел там, ничего не говоря, просто сидел, как сама Джун, под взглядом нянечки, гадающей, откуда я такой взялся: я понял, что Эми ездит сюда дважды в неделю вот уже целых двадцать два года не потому, что считает это своим долгом, который надо выполнять, или привыкла к этому и не может бросить, по ее собственным словам. Она не пере-

ставала ездить сюда, потому что надеялась, что в один прекрасный день Джун вдруг узнает ее, что она вдруг заговорит. Я догадался об этом, просто глядя на нее, на Эми. А одного взгляда на Джун было довольно, чтобы понять, что этого никогда не случится и все безнадежно неправильно. Неправильно, что Эми ездила сюда все эти годы и что Джун вообще родилась такой, коли уж на то пошло, — так же неправильно, как то, что есть мать сорока шести лет, еще красивая, и ее дочь, которая никогда не была красивой. Но из двух несправедливостей одной справедливости не слепишь.

И я подумал: первый шаг сделан, теперь надо сделать второй.

Мы сидели на лавочке, смотрели на голубей. Торопиться назад было незачем. В фургоне дорога получалась вдвое быстрее, чем на автобусе. Я не знал, что сказать про Джун, не знал, что говорится в таких случаях, но мне на язык просились разные сумасшедшие вещи, которые совсем не имели отношения к Джун. По-моему, Эми как-то вся ослабела оттого, что в первый раз была у Джун не одна, а с товарищем. По-моему, так или иначе ей нужно было, чтобы ее обняли. Я чувствовал, как она прислоняется к узенькому промежутку,

который я оставил между нами, точно к моему плечу, и мой стручок начал расти — после ухода Кэрол такого с ним, кажется, и не бывало. Интересно, замечают ли это женщины.

Но сказал я вот что: «А от Винса есть весточки? Говорят, их всех скоро отправят домой».

Зато в следующий четверг нужные слова уже были у меня наготове, и такую возможность нельзя было не использовать. Стояла солнечная, ветреная апрельская погода — как сейчас, когда мы везем прах Джека. Я чувствовал, что жизнь может измениться, даже если ты перестал в это верить. И все равно мне удалось заговорить не раньше Клапема. Солнце пробивалось сквозь деревья на краю поля, вдоль которого мы ехали. Я сказал: «Сегодня мы не поедем в больницу, Эми, сегодня мы не пойдем к Джун. — Я знал, что она не будет спорить. И добавил: — У меня сзади все собрано для пикника. Термос, бутерброды». В Эпсоме была встреча весны. «Хочешь посмотреть скачки?» — сказал я.

Но не очень-то долго мы их смотрели. Должно быть, впервые я приехал на скачки и даже не сыграл толком. Я припарковал машину у «Даунса», и мы попали на трибуну как раз к двухчасовому забегу. Заключили пари друг с другом, как новички.

Ее лошадь против моей, ставка фунт, и я уж позаботился о том, чтобы она выиграла. Конкистадор, семь к двум. Я мог бы поставить и пятьдесят, дело было верное. Но погода начала портиться, и к следующему забегу, как нарочно, пошел дождь. Иногда везенье так и прет. Тогда я сказал: «Можно перекусить», и мы побежали обратно к фургону. Наверное, двое людей чувствуют, когда что-то должно произойти, даже если они не уверены, что это так уж хорошо, и не знают, с чего начать, и хотят и боятся этого одновременно. Но они чувствуют: если это «что-то» вообще произойдет, сейчас самое время. У меня в фургоне на окнах были занавески, в голубую и белую клетку, так что снаружи никто не мог ни о чем догадаться. Разве что по тому, как качался кузов. Но я не думаю, чтобы это было заметно. Я сказал, задергивая свои бело-голубые занавески: «Как дома, правда? Из одного дома в другой». Дождь стучал по крыше. Я подумал: теперь никуда не денешься, даже если это нехорошо. Подумал: Эми выбрала Джун, а не Джека, вот и я теперь выбираю Эми. Они еще и выцвести не успели. Когда дождь перестал, мы услышали, как орут на трибунах: начался большой забег, который в три десять. Странно было слышать, как беснуется народ при виде

нескольких лошадок. И потом это стало нашим обычным местом — «Даунс» в Эпсоме, каждый четверг, и так целых четырнадцать недель, были там скачки или нет. Пока не появился Винс, а за ним Мэнди.

Ленни

Да, надо было подумать, прежде чем затевать драку без всякой надежды на победу. Но как раз этого я никогда и не умел — подумать. Ребята говорят, из меня давным-давно мозги вышибли на ринге, но, честно сказать, у меня их и раньше было с воробьиную кучку. Иначе после армии я не пошел бы снова в спорт. Конечно, если в тебя пять лет стреляли и ты тоже стрелял и собирал куски своих мертвых товарищей, это могло бы заставить тебя поискать заработок получше, чем пытаться свалить с ног другого парня, но выбор у меня был простой: либо дерись, либо толкай тележку с овощем, а с этого ни славы, ни денег не поимеешь.

Но все равно я ему, падле, влепил пару хороших. Аж дышать больно — грудь как мешок с гвоздями.

Тут уж какой уродился. Против своей натуры не попрешь, если у тебя в натуре драться. Мы ведь сегодня поминаем Джека и отдаем ему дань уважения не потому, что у него хватило характера измениться и стать кем-то другим. Нет — мы

здесь потому, что он был Джеком.

В общем, когда я вернулся с драки за свою страну и увидел, что в Бермондси больше воронок, чем в Бенгази, а для нас не приберегли ничего, кроме сборного домишки да продпайка, я сказал Джоан: чем кидаться со зла на всех подряд, уж лучше пойти на ринг и поколотить там такого же дурня, который тоже готов рискнуть своей вывеской. Будешь размазней — ни хрена не добьешься. В этом мире надо уметь брыкаться и бить в морду. А она ответила: «Чушь собачья. Это не обязательно. Надо просто не вешать носа, пораскинуть мозгами и выбрать лучшее из того, что есть, как все кругом делают». Она у меня такая. Я сказал: «На полкроны в день да продуктовую книжку не шибко разживешься». Сказал ей: «Представь, что я выиграл Уордингтонский турнир, это целых полсотни. А я уж постараюсь». Сказал: «Раньше тебе нравилось, когда я выигрывал бои, девочка». А она сказала: «Ты стал на семь лет старше, теперь ты проиграешь».

Но, кажется, по-настоящему я завязал с боксом, когда появилась Салли, — тогда я уже окончательно повесил перчатки на стенку вместе с надеждами и перестал зря трепать языком. Так что, можно сказать, Ленни Тейт не сам справился

со своей натурой — ему помог в этом кое-кто другой, хотя из той же плоти и крови. Малышка Салли Тейт.

Между прочим, благодаря этому я понял, когда познакомился с ним и услышал его историю — чего не произошло бы, если б Салли с Винсом не подружились на школьном дворе, — как тяжело пришлось Джеку, у которого не было такой маленькой помощницы, а была только Джун. Не говоря уж о том, каково было Эми. Так что и Винс, в общем, не виноват, что у него с детства мозги набекрень. Но и я, наверно, тоже не виноват, что был таким дураком и размечтался насчет того, чтобы пристроить Салли в их семейку.

И я думаю, что мог бы простить Винси в конце концов, если б Салли не снюхалась с Томми Тайсоном, а Томми не пригнал Винсу почти что новенькую БМВ, сменившую только одного хозяина, — он, конечно, знал, что Винси поймет, что она краденая, но рассчитывал на его покладистость как бывшего Саллиного дружка. Но Винси не взял у него машину, мало того, заложил Томми, у которого и так уже были приводы и разные нарушения, — тогда-то его в первый раз и посадили. И я сказал Винсу: «Сволочь ты, сволочь. Можно было не брать машину, но зачем же закладывать

Томми? Ему, допустим, в тюрьме самое место, но ты мог бы подумать о Салли».

Он сказал, что это был его долг, видали? Как честного гражданина. А о Салли я сам должен был думать, потому что со стороны похоже, что я вроде как от нее отрекся.

«Краденая тачка — дело серьезное, — сказал он. — А одной ошибкой другую не исправишь».

Я мог бы простить Винси. Салли могла бы простить меня. Можно было не лезть в эту дурацкую драку.

Но все равно я ему отомстил, этому гаду, врезал как следует.

Бомбардир Тейт. Так меня звали, потому что я был в артиллерии, а еще из-за моего вспыльчивого характера. Это звучало неплохо — как будто у меня не кулаки, а бомбы. И в полуфинале Уордингтонского турнира меня поставили против этого тощего паренька, который еще даже не дорос до призывного возраста, которому было столько же, сколько мне, когда я начинал заниматься боксом до войны. Я сказал: «Тоже мне нашли бойца. Разве есть у этого сопляка что-нибудь, чего нет у меня?» И Дуги ответил, завязывая мне перчатки: «Полный самоконтроль и отличная правая». В тот раз, не успев выйти

на ринг, я уже мечтал о финале. Думал: двадцать фунтов, можно сказать, в кармане, это успокоит Джоан, а если в финал выйдем мы с Даном Фергюсоном, у меня неплохие шансы. Потом прозвенел гонг, и я сразу выскочил вперед, кулаки так и чешутся, а в голове одна мысль: за два раунда я с ним справлюсь, если не раньше. Бомбардир Тейт. Потом это прозвище так за мной и осталось: Бомбардир Тейт, средний вес. Где сел, там и слез. Я кинулся на него, а он ушел в оборону, кружит вокруг меня, и я думаю: ничего ты в жизни не видал, салажонок, и никогда не увидишь. Ты не таскал противотанковые пушки по Ливии, по Сицилии, по всей солнечной Италии, где зреют апельсины-мандарины-груши и так далее. Ты ничего не заслужил, не то что я. Каждый должен отхватить свою горстку деньжат, свою капельку славы, прежде чем на него наденут деревянную шинель в конце срока. Мало радости, если тебя запишут в небесные реестры как отличившегося на фруктово-овощном фронте. Я снова пошел вперед для решающего удара и увидел его лицо, холодное, внимательное и спокойное, как у машины. Я подумал: между нами шесть лет, сынок, а это и хорошо, и плохо. Потом я увидел его перчатку там, где раньше было лицо. А потом уже

совсем ничего не видел, ровным счетом ничего. Вообще-то нет. Знаете, как говорят: у него искры из глаз посыпались. Вот их я и увидел.

Ферма Уика

Мы шагаем обратно через луг, не говоря ни слова. Слышно, как тяжело, дуэтом дышат Ленни и Винс. Винси несет банку с прахом. Он держит ее очень крепко и бережно. Как будто мы очутились на этом лугу из-за того, что банка выскочила и драпанула от нас, а нам пришлось бежать и ее ловить. Как будто банка виновата. Но мы-то знаем, что это не так, что все наоборот. Виноваты только мы сами. Затеяли драку над прахом покойного. А банка в руках у Винса точно качает головой, укоряя нас, словно Джек подглядывает за нами изнутри и вздыхает насчет того, что какая-то его часть разбросана по лугу и теперь ее топчут овцы. Да, не ожидал я от вас этого, никак не ожидал.

Ветер хлещет нас по спине, а когда мы подходим к калитке, нас щедро окатывает ливень. Мы успеваем забраться обратно в машину как раз вовремя, а то вымокли бы до нитки. Садимся на свои старые места. Винси отдает банку мне — я вижу, как он морщится, залезая на шоферское место, — потом озирается в поисках чего-нибудь, чем можно вытереть пятна на рукаве и брюках,

но ничего не находит и бросает это дело, и мы все сидим какое-то время молча, с выключенным двигателем, а дождь заливает стекла, словно мы на катере в открытом море. Я гляжу на Винси — он смотрит куда-то вдаль, а на заднем сиденье с сипом дышит Ленни. Как будто у нас не обычный автомобиль, а «скорая помощь». Иначе говоря, тот же мясной фургон. Как будто мы все задумались, стоит ли ехать дальше или пора признать свою несостоятельность и повернуть назад. Два отклонения от прямого пути, одна драка, попойка, да еще угодили под дождь.

Потом Винси словно бы встряхивается, включает зажигание и «дворники». Мы видим, как дождь молотит по узкой дороге, а небо серое и разбухшее, но наверху, над вершиной холма, где торчит старая мельница, виден слабый проблеск около купы деревьев — наверное, скоро облака разойдутся.

— Так, — говорит Винси. — Нам надо ехать на Кентербери. Ищите указатели, где сворачивать. A28 и Кентербери. — Он заводит мотор.

— Кентербери? — говорит Ленни. Он перестает пыхтеть. — А чего бы нам и туда не заехать? Собор посмотрели бы заодно.

Он говорит так, будто шутит, но Винс пару се-

кунд сидит молча, глядя на ветровое стекло, не трогая машину с места. Потом отвечает свирепым тоном:

— Как скажешь, Ленни, как скажешь. Почему бы не прогуляться с ним по Кентерберийскому собору?

Я чувствую, как Вик с Ленни переглядываются на заднем сиденье.

Еще один крюк, еще одна дурацкая задержка. Теперь очередь Ленни.

Винс выводит машину на проселок. Он ничего не говорит, но по его лицу я вижу, что он настроен серьезно: он и правда собирается ехать в Кентербери и даже жалеет, что не ему пришла в голову эта идея.

Это будет получше синего «мерседеса».

Вик молчит, точно считает, что и так сегодня наговорил лишнего.

Поэтому говорю я, но словно бы вместо Вика, сжимая в руках мокрую банку:

— Хорошая мысль, Ленни. Хорошо придумано. Он это оценил бы.

Рэй

Он смотрит на меня прямо и строго, так прямо и строго, что мое лицо по сравнению с его, наверное, кажется дрожащим, как кисель. Я думаю: ты должен сидеть неподвижно, позируя для своего последнего портрета, не шевелиться, не прикидываться, ничего не прятать. Потом он говорит, точно видит, что творится у меня в голове, какой вопрос я хочу задать: «Некоторые ударяются в панику, Рэйси. Главное, не паникуй».

Так говорили у нас на войне. Первая заповедь солдата: не паникуй. Хотя я никогда не понимал, как можно отдать такой приказ, нельзя же приказать человеку не верить, что огонь его обожжет. Однако Джек успешно применял эту заповедь на практике. Как, например, под Соллумом, когда мы ввязались в бой и на том месте, где секунду назад был лейтенант Крофорд, вдруг оказалось только кровавое месиво, и следующий по рангу вопил: «Что мне делать? Что делать?», и Джек ответил ему: «Принимать командование, сэр, вот что. А если вы его не примете, это сделаю я». И я подумал: слава Богу, что мне не надо принимать

командование, меня вполне устраивает, когда другие командуют мной.

По-моему, он и сейчас делает то же самое — принимает командование, берет власть над собой.

«С этим не так просто сладить, Джек», — говорю я, словно не понимаю, что с ним на самом деле, словно это всего лишь очередное испытание, из которого можно выйти целым и невредимым.

«Эми придется труднее, — говорит он. И смотрит на меня в упор. — Если у тебя будет выбор, Рэйси, если это будет от тебя зависеть, уходи первым. Жить дальше — вот что трудно. А помирать как раз легко».

«Ну, мне-то выбирать не придется, верно? — говорю я. — Да и никто таких вещей не выбирает. Тем более если он один».

Он смотрит на меня.

«Насчет этого не загадывай. Но все равно, я счастливчик, что уйду первым».

«Эй, погоди, Счастливчик-то у нас я».

Он не улыбается, это не похоже на старую шутку. Я не счастливчик, Счастливчик у нас ты. Он смотрит на меня. У него такой взгляд, точно он все видит, такое лицо, что на него нельзя не смотреть. Я думаю: он был передо мной много лет, но теперь я по-настоящему вижу его. Не Джека

Доддса — классного мясника из Бермондси, не Джека — завсегдатая нашей «Кареты». Даже не Большого Джека, Грозу Пустыни, или моего друга-приятеля из Каирского Верблюжьего корпуса. Я вижу самого человека, его собственного, личного Джека Доддса, который принял командование.

«Эми будет труднее, — говорит он. — Кому-то надо о ней позаботиться».

«Она придет с минуты на минуту, — говорю я. — Вместе с Винсом».

«Я не очень-то много оставляю ей на жизнь».

Я смотрю на то, что у него есть. Кровать да тумбочка рядом. Пожалуй, теперь у него осталось примерно столько же, сколько всегда было у Джун.

«Если я могу чем-то помочь, Джек…» — говорю я.

Его худая рука лежит на одеяле, в ней ничего нет, и я вижу, как его пальцы слегка сгибаются. Потом он закрывает глаза. Вернее, его веки сами скатываются вниз, как шторки, как глаза у той куклы, которую я когда-то подарил Сью на Рождество. На секунду мне кажется… Не паникуй, не паникуй. Во всяком случае; легкие у него работают. Опухоль вокруг шрама, оставшегося после операции, чуть поднимается и опускается.

Я гляжу на его лицо, на руку, лежащую поверх одеяла. И думаю: каждый занимает какое-то пространство, и никто не может туда ступить, а в один прекрасный день оно освобождается. Это вопрос территории.

Он открывает глаза. Можно подумать, что он обманывал меня и все время подглядывал из-под ресниц, чтобы узнать, не становлюсь ли я другим, когда на меня не смотрят. Но веки поднимаются медленно. Сначала видны только белки, потом все глаза целиком.

«Еще не ушел, Счастливчик? — говорит он. — Да, кое-чем ты и вправду можешь помочь. Как по-твоему, счастье тебе еще не изменило?»

Винс

Пока он еще лежит там, с маской на лице и дополнительными трубками, в маленькой палате, куда их вывозят после операции, чтобы понаблюдать первое время, и до сих пор ничего не знает, потому что не успел даже толком проснуться, находится в сладком неведении. Не знает, что он неоперабелен. И этот тип Стрикленд говорит мне, что все заняло только десять минут, вскрыли и зашили обратно — он называет это каким-то специальным словом, длинным и необычным, чем-то вроде трамтамтам-содомии. Он словно доволен, что так быстро отделался. Вместо того чтобы объяснить все коротко и ясно, он предоставляет мне додумывать самому. И я делаю вывод: ведь раньше он говорил мне, что, если они смогут что-нибудь сделать, это будет двухчасовая работа. Неоперабелен — так он это называет. Неоперабелен.

И я смотрю через коридор, сквозь стеклянную перегородку туда, где лежит Джек, первый справа, и думаю: он неоперабелен, его нельзя оперировать. Он еще здесь, но уже на обочине

дороги, сошел с дистанции. И это чувство вдруг перекидывается на все вокруг. Точно и я тоже очутился в таком месте, где все замерло, а остальные люди и вещи проносятся мимо, как машины по скоростному шоссе.

«Миссис Доддс здесь?» — спрашивает он. «Да, она пошла выпить чашку чаю, — говорю я. — С моей женой». Тогда он кидает взгляд на свои часы и говорит: «Если вы ее позовете, я переговорю с ней сейчас же, пока я тут. Найдем тихий уголок. Да вот хотя бы в ординаторской». И я думаю: ах ты дерьмо. Потому что мои переживания его не интересуют — может, он думает, что для меня это неважно, или просто не берет меня в расчет, разве что в качестве мальчишки-посыльного, и мне хочется ударить его, врезать как следует по этой рябой четырехглазой физиономии. Но я говорю: «Сейчас позову». А он уже отворачивается, не дожидаясь моего согласия, потому что какой-то младший докторишка сует ему стопку бумаг. Он бросает мне: «Я буду здесь». Подталкивает пальцем очки и оделяет меня скупой, вежливой полуулыбкой.

Я отправляюсь искать Эми и Мэнди. Но у меня такое ощущение, точно я никуда не иду, а коридоры и вертящиеся двери сами двигаются мимо

меня, как в одном из старых игральных автоматов, где ты сидишь за рулем, а на тебя бежит лента дороги и кажется, что ты куда-то едешь, хотя это всего-навсего обман зрения.

Они сидят за своим чаем и еще ничего не знают, только то, что Джек жив, что он не отдал концы прямо на столе — вариант номер три. Но я вижу, что она сразу же обо всем догадалась, ей достаточно было на меня посмотреть, и теперь мне не надо повторять словами то, что написано на моем лице. «Он еще не пришел в себя, — говорю я. — Стрикленд в палате. Хочет с тобой поговорить». Потом чуть-чуть наклоняю голову, точно она с трудом мне подчиняется, и Эми смотрит на меня так, будто хочет сказать: молчи, не надо. Будто она сама во всем виновата и признает это, но не понимает, зачем ей идти к директору за лишним наказанием, когда ее уже наказали, просто поставив в известность. Но, может, директор помилует ее на первый раз. Скажет: больше так не делайте. И она встает, а Мэнди в это время пожимает ей руку. Потом встает и Мэнди. Посылает мне легкий вопросительный кивок. Она хорошо выглядит, моя Мэнди. И я киваю ей в ответ.

Потом мы идем по коридорам обратно, они скользят мимо нас и под нами, словно мы только

притворяемся, что идем, и Эми молчит почти до самой палаты, а там говорит «Надо передать дяде Рэю». «Что?» — спрашиваю я. Она уже много лет не говорила так: дядя Рэй, дядя Ленни. Как будто я снова стал малышом.

Стрикленд видит наше приближение и быстро говорит что-то одной из сестер, потом ведет нас в кабинет — он больше похож на склад для белья, чем на ординаторскую, — и закрывает за нами дверь. Здесь только два стула, и он подвигает один к Эми, а Мэнди садится на другой, у двери. Я стою сразу за Эми, а Стрикленд — перед столом, опершись на него задницей, и когда он начинает говорить, я кладу Эми на плечо правую руку, а она находит своей рукой мою левую и вцепляется в нее в ответ на мое пожатие.

Он говорит, что не считает правильным скрывать факты, от этого один только вред. Сначала он смотрит на Эми, но очень скоро переводит глаза на меня — то ли для разговора с Эми ему необходимо передаточное звено, то ли он увидел в ее лице что-то такое, на что не хочет смотреть. Мне ее лица не видно. Я гляжу прямо вперед, точно подсудимый, которому зачитывают приговор перед тем, как отправить на нары. Мне приходится смотреть этому ублюдку прямо в глаза.

А когда он умолкает, у Эми такой вид, будто она его не слышала, будто она вообще не в этой комнате. И мне приходится брать инициативу на себя, задавать вопросы, хотя вопрос, по сути, всего один: сколько еще? Стрикленд выглядит довольным, ведь теперь беседа перешла в другую область, где он ни за что не отвечает: он занимается ремонтом, а не сдачей в утиль, и все это перестанет его касаться, как только он выйдет из ординаторской. Он заводит разговор о «подавлении симптомов», что звучит для меня примерно так же, как «неоперабельность», и именно тогда я замечаю, что руки Эми начинают цепляться за мои и сжимать их, и слышу, как она пытается дышать ровнее. Стрикленд все бубнит что-то насчет подавления симптомов, глядя прямо мне в лицо, а Эми все цепляется за меня, как будто ей самой надо подавить симптомы. Ее руки словно взбираются, карабкаются по мне, точно по лестнице, ведущей к какому-нибудь запасному выходу, прочь из этой комнаты. Но мне кажется, что Эми больше никогда не выйдет отсюда, она будет заперта здесь навечно, это ее собственная тюрьма. Теперь она стала как Джун. И я весь застываю, твердею, как мачта, как башня, а она все хватается и цепляется за меня. И я думаю: она

мне не мать, не родная мать.

Но вдруг мы оказываемся в коридоре — опять так, словно не приложили к этому никаких усилий, а сам мир просто сдвинулся, повернулся вокруг нас, — и Стрикленда уже нет, он удрал через свой собственный запасной выход. Мэнди взяла Эми на себя, она поддерживает ее и ведет к дверям, как бы отстраняя меня взглядом — мол, теперь они, женщины, сами разберутся. Но Эми и ей не родная мать.

Ну что ж — мое дело мужское. И перед тем как выйти за ними, я опять захожу в палату и минуту-другую стою у его кровати, просто глядя на него. Он еще и пальцем не шевельнул, лежит с закрытыми глазами, по-прежнему в маске. Стрикленд говорил, что он сам ему скажет, сам все объяснит, но не раньше чем через сутки после того, как Джек придет в себя: надо ведь подождать, чтобы закончилось действие обезболивающего и всяких других лекарств, иначе он и не поймет толком, о чем речь. Но мне кажется, что это должен сделать не Стрикленд, не его это забота.

Я стою рядом с кроватью, как башня, как неподвижная мачта, но Джек не пытается взобраться по мне, он лежит около меня пластом, и я думаю: лучше бы ему умереть сейчас, не просыпаясь,

чтобы так ничего и не узнать и чтобы никто не должен был ему рассказывать. Разве плохо: он никогда не узнает, а мир спокойно покатится дальше без него. Чего не знаешь, то не причиняет боли. Вот я, например, не помню взрыва того снаряда, никогда не мог вспомнить. Мне говорили: пока их слышишь, с тобой все в порядке, а вот если звук обрывается, значит, хана. Так что если бы тот снаряд убил и меня, я никогда не узнал бы, что родился, и никогда не узнал бы, что умер. То есть мог бы быть кем угодно. Я смотрю на него, как на панораму внизу. Где мои золотые деньки? И я думаю: кто-то ведь должен сказать ему. Кто-то должен.

Рэй

Я поглядел поверх очков на часы Слэттери.

«Теперь он тебе не очень-то и нужен, правда?» — сказал он.

«То есть?» — сказал я.

«Ну, ты ведь теперь один, — пояснил он. — Она небось уже не вернется».

«Как раз наоборот, — сказал я. — Теперь мне можно ездить куда захочу, я теперь вольная птица. Свободен как ветер. Захочется съездить куда-нибудь на несколько дней — пожалуйста, и крыша над головой всегда есть».

Я как следует глотнул пива и причмокнул губами, как человек, который знает, что говорит.

«Это для мужика не жизнь, — сказал он. — Одному катать. Спать на стоянках, на обочине дороги».

«Может, как раз это и есть настоящая жизнь, — сказал я. — Для меня, по крайней мере». Тут я немного помолчал. Потом сказал: «А зачем ты вообще спрашиваешь, Джек?»

«Да я вот подумал, — сказал он. — Если тебе не нужно, если ты не против, я мог бы его у тебя

забрать».

«Ты? — спросил я. — На кой ляд тебе жилой фургон?»

«Ну, когда Кэрол взяла да отчалила — извини меня, Рэйси, — я задумался. О нас с Эми. Естественная вещь».

Я посмотрел на него и выудил из пачки сигарету.

«В смысле, не то чтобы Эми… просто мы вроде как малость завязли в своем болоте. Дальше собственного носа не видим, так? И я подумал, что есть на свете воскресенья, да и в будни можно за прилавком кого-нибудь оставить и прокатиться».

Он повозил стаканом по стойке.

«Ну вот, Винси-то теперь слинял окончательно. За океан. И Сью… В общем, всех куда-то несет. Кроме нас с Эми».

Я внимательно поглядел на него, закуривая сигарету. И сказал: «Ты ведь знаешь, что и я то же самое думал, верно? Что мы с Кэрол сидим как в тюрьме, света белого не видим, так? Раздобуду-ка я средство передвижения. Вот как я думал. И смотри, что из этого получилось».

«Она слиняла. — Он отхлебнул пива. — Но Эми-то не…»

Тут мы ненадолго перестали говорить. Вокруг был только шум «Кареты», обычный для вечера пятницы. Громыхать громыхает, а ехать не едет.

«А Эми знает про все это?» — спросил я.

«Нет, я хотел ей сюрприз сделать», — сказал он.

«Сюрприз? — сказал я. — Вот и я своей тоже хотел».

«Ты деньги потратил, ясное дело, — сказал он. — Я тебе тысячу дам. Наличными, без дураков. Зачем тебе фургон, Рэйси, тебе и маленькой тарахтелки вполне хватит».

Я поглядел на него. Цена хорошая.

«Конечно, если ты не надеешься, что она еще вернется», — сказал он.

Я отвел от него взгляд. И сказал: «Ладно, подумаю».

И я правда думал об этом, всю ту зиму, которую провел один-одинешенек. Я даже спрашивал его: «Твое предложение пока в силе?» — как будто уже почти собрался продать, а он отвечал: «Конечно. Эми будет в восторге». Но я думал и еще кое о чем, еще об одном употреблении для своего фургона. И после того как мы пропустили визит к Джун, в тот первый раз, и поехали в Эпсом, я сказал ему: «Извини, Джек. Не буду я его продавать».

Кентербери

Шоссе петляет между холмов, по склонам которых, с одной его стороны, подымаются фруктовые сады — все голые, коричневые, ровненькие и подстриженные, как щетина на щетке. У обочины указатель: «Кентербери, 3 мили». С другой стороны шоссе выныривает маленькая речка, потом железнодорожный путь, и все это — речка, железная дорога и шоссе — бежит по долине рядом, точно наперегонки. Потом мы выезжаем к каким-то домам и спортивным полям, и вдруг Винс говорит: «Вон он, собор». Но я никакого собора не вижу. Я вижу впереди газгольдер и машины, которые проносятся по A2, в Дувр направо, в Лондон налево. Если бы мы выбрали другой маршрут, по тем холмам, где проходит A2, мы увидели бы город как положено, внизу перед нами, с собором, торчащим посередине. Мы пересекаем A2 и проезжаем знак с надписью «Кентербери, побратим Реймса». Едем дальше, и я все еще не вижу собора, но впереди появляются высокие старые каменные стены, городские стены, и возникает ощущение, что мы добрались

до финиша, до конечной точки нашего путешествия. Но это не так, нам надо ехать в Маргейт, к морю. Насчет Кентерберийского собора Джек никогда ничего не говорил.

Винс едет по указателям к центру города. С тех пор как мы последний раз сели в машину и Ленни подал свою идею, никто и словечка не вымолвил, точно все только и думали, что идея-то, в общем, дурацкая и лучше бы ее забраковать. Но мы уже здесь, и до собора рукой подать, он прячется где-то поблизости, словно сам уже заметил нас, хотя мы его еще нет, и отступать теперь поздно.

Кроме того, Вик вдруг говорит, этак жизнерадостно, точно вспомнил, как мы по его вине таскались к мемориалу, что он никогда не видел Кентерберийского собора в натуре, никогда не переступал его порога. «Я тоже, Вик», — говорит Винс. Его голос звучит тихо и мягко, прямо и не подумаешь, что полчаса назад он чуть не расквасил Ленни всю физиономию. Ленни говорит, что он и близко тут не бывал. Я добавляю: «И я». «В Кентербери ведь ипподрома нету, правда?» — поддевает меня Винс. Но никто не смеется, и, наверное, всем нам приходит в голову мысль, что мы могли бы целую жизнь прожить, так и не повидав Кентерберийского собора, и что надо

бы Джеку сказать спасибо: это благодаря ему мы здесь.

Вдруг он возникает перед нами — его главная башня выныривает из-за крыш впереди, — и Винс стремится подъехать как можно ближе, словно думает, что в такой машине нам удастся подкатить прямо к его воротам. Но он то и дело прячется, точно играет с нами, а улицы ведут все не туда и не туда, так что Винс наконец говорит: «Пойдем пешком, что ли» — и поворачивает на стоянку.

Мы выходим из машины. Я все еще держу банку с прахом и подымаю глаза на Винси, как бы предлагая ее ему, она ведь теперь его по праву, так сказать, военный трофей, но он говорит: «Пускай у тебя будет, Рэйси». Тогда я наклоняюсь и достаю полиэтиленовый пакет, который лежит у моих ног, под приборной доской, и кладу туда банку и думаю: значит, это я понесу Джека в Кентерберийский собор.

Странно мы, должно быть, выглядим. Я и Вик еще более-менее в приличном виде, но Винс весь ободранный, в пятнах грязи. Он надел пальто, и оно закрывает все, кроме ног внизу, однако там-то и есть самое страшное. А Ленни точно сквозь живую изгородь протащили. Он слегка

прихрамывает, но старается этого не показывать. Как будто мы уже не та компания, которая отправилась сегодня поутру из Бермондси, четыре курьера с особым поручением. Как будто где-то по дороге мы превратились в странников.

Винс поправляет галстук и вынимает расческу.

Мы идем по стрелкам, указывающим путь к собору. Улочки узкие, дома кособокие, как в Рочестере, словно они из той же самой книжки с картинками. Попадаются большие куски, где машинам ездить запрещено, и люди бродят там так же, как придется. Туристы. Мостовые все мокрые, хотя дождя нет. Но изредка налетают сильные порывы ветра, и, судя по небу, дождь еще будет, причем нешуточный.

Мы в очередной раз сворачиваем за угол, проходим под старинной аркой, и вдруг перед нами уже ничего нет, кроме самого собора, нескольких огороженных цепями лужаек и гуляющей между ними публики. Здание большое, длинное и высокое, но все равно кажется, что оно еще не набрало своей полной высоты, что оно еще растет. По сравнению с этим собором его рочестерский братец — просто старая церковь, и ты чувствуешь себя совсем крохотным, ничтожным. Словно он смотрит на тебя сверху вниз и говорит:

эй, козявка, я Кентерберийский собор, а ты кто?

Наверно, я ничего такого не заметил бы, если б ехал мимо один, в фургоне, и заглянул сюда ради интереса. Но в этой компании, с Джеком в руках, я весь какой-то взвинченный. У входа большая арка, где народ сначала толпится, а потом выстраивается в очередь, чтобы пройти через дверь поуже. Мы двигаемся туда, и они словно уступают мне право идти первым, потому что я с Джеком, и я смотрю вверх на арку, на стены и барельефы и на всякие хитрые выступы и башенки и чувствую себя примерно так же, как перед входом в больницу, когда Эми сказала мне: «Конечно, ты можешь пойти со мной».

Ленни

Кентерберийский собор. Это ж надо. И кто меня за язык тянул.

Хотя, если учесть, как мы себя ведем, небольшая порция божественного не помешает.

Так что ура. Воспряньте духом и скажите Ленни спасибо.

Вик

Да, здесь человек робеет. Особенно наш брат — стоит только подумать о том, сколько тут всего по нашей части. Могилы, статуи, крипты, целые часовни. А я всего-навсего упаковываю их в ящики да записываю в очередь, каждому по двадцать минут в крематории.

Он купил путеводитель по собору, самый большой и яркий из всех. «Чудеса Кентерберийского собора». Выбирал его, наверно, так же, как свой галстук. Теперь стоит, листает страницы, как будто ему и этого довольно, а что тут на самом деле, его не интересует, и читает нам отрывки, словно без лекции мы и шагу ступить не можем.

— Четырнадцать веков, — говорит он. — Подумать только, четырнадцать! Тут у них и короли с королевами, и святые, — говорит он.

Его пальто почти целиком закрывает следы драки, но на левой брючине видна подсыхающая грязь.

— И кардиналы есть.

Я смотрю на Ленни, слегка подмигиваю и еле заметно киваю головой, точно говорю ему: давай

пошли. А Рэйси пусть отдувается.

Оно и полезно — разделить их двоих хоть ненадолго.

— Девятнадцать архиепископов, — говорит он. — Если бы мы заранее подумали, можно было бы и в Вестминстерское аббатство с ним зайти.

Мы с Ленни украдкой отодвигаемся по боковому проходу, по истертым камням — осторожно, чуть ли не на цыпочках.

Да, здесь робеешь. Но еще человек моей профессии чувствует облегчение из-за того, что не все мы имеем возможность выбирать, а кто имеет, тот обычно немногого просит. Не говорит: меня в Кентерберийский собор, пожалуйста. Так что спасибо Ленни: благодаря ему мы отдаем Джеку должное, принеся его сюда. Уравниваем мертвых между собой, как оно и полагается.

И потом, у него ведь были свои амбиции в этом смысле, насколько мне помнится. «Есть постояльцы?» — как-то спросил он. И я сказал, точно рекламируя свой товар: «А ты когда-нибудь думал, чего бы тебе хотелось?» И подмигнул. Он посмотрел на меня, сморщил лоб и говорит: «Ну, боюсь, это ты не потянешь, Вик. Я ведь малый не промах. Мне пирамиду подавай, не меньше».

Винс

«Пойдешь взглянуть на него?» — спросила Эми. И я ответил: «Пойду, а как же». Она не плакала, и голос у нее был ровный, спокойный. Она не требовала, не настаивала. Просто задала вежливый, тактичный вопрос, как хозяин гостю. По-моему, она даже голову держала чуть повыше и спину чуть попрямее, как будто сегодня важный день, очень важный, и ей хочется, чтобы все прошло без сучка без задоринки, как будто с ней случилось что-то особенное и она хочет этим поделиться.

Она только что вышла оттуда. Только что сама к нему ходила.

«Да, я пойду гляну», — сказал я. Словно не мог ответить «нет», даже если хотел бы. Нельзя отказываться, когда человек предлагает тебе посмотреть на самое главное, что у него есть.

«Пройдешь в ту дверь и спросишь у дежурного», — сказала она, и я подумал: она еще не поняла, что случилось.

Я прошел в дверь и спросил у дежурного. Он был в мятой белой куртке и с толстой бледной физиономией для комплекта и посмотрел на ме-

ня так, словно хотел сказать: не жди, что я пойму, насколько это для тебя важно. Я ведь не жду, что ты поймешь, насколько это неважно для меня.

Там было написано: «Часовня Упокоения». Он спросил: «Мистер Доддс?», и я не понял, кого он имеет в виду. «Он самый», — сказал я, тоже непонятно о ком: о Джеке или о себе. «Сюда», — сказал он.

Это была маленькая комнатка со стеклянной перегородкой почти во всю длину, с проходом в одном конце, но смотреть можно было и так. А по другую сторону стекла я увидел Джека, лежащего навзничь на специальной подставке, и подумал: это не Джек, он не настоящий. Наверное, я был прав.

Открыта была только его голова, потому что его укрыли чем-то бледно-розовым, вроде занавеси или скатерти, прямо до самого подбородка. Даже не видно было, на чем он лежит. Как будто от Джека только голова и осталась, а тела, мертвого тела, тут вовсе нет.

Я зашел за перегородку и стал рядом с ним. Меня пробирал холод. Я подумал: он и не знает, что я здесь, не может знать. Если только… Я подумал: он не Джек Доддс, не больше, чем я — Винс Доддс. Потому что мертвое тело не есть чье-то тело.

Мертвое тело — это просто тело; можно сказать, их тело, а значит, ничье.

Да и тела-то под этой скатертью не видно.

Потом я стоял и глядел на него, и у меня было такое ощущение, что я не просто стою, а выпрямляюсь и расту: мои плечи развернулись, а осанка стала гордой, как у Эми. Я стоял по стойке смирно. Как будто проявить свои чувства к нему можно было только одним способом: стать таким же прямым, тихим, неподвижным и окаменелым, как Джек. Только что не лечь.

И я подумал: я должен увидеть его нагим. Потому что мы все такие, правда? Он там нагой, под этой скатертью. Мне надо увидеть его тело. Надо увидеть его руки и ноги, его колени, мужскую гордость и все такое. Я должен увидеть тело Джека Доддса. Потому что это ведь Джек, Джек Доддс, но он не похож на Джека Доддса, они из него сделали какого-то Папу Римского. Потому что нагими мы вышли и нагими же. А они его нарядили, как Папу Римского, не отличить.

Рэй

— Все в порядке, Винс, — говорю я. — Иди, иди.

Потому что сам я вдруг уселся на деревянное сиденье в боковом нефе, сжимая в руках пакет, точно какой-нибудь старикан, выдохшийся от ходьбы по магазинам.

Он глядит на меня сверху вниз, мимо своего путеводителя, а в дальнем конце нефа я вижу Ленни и Вика. Похоже, они улизнули нарочно, будто знали, что нам с Винсом есть о чем потолковать.

— С тобой все нормально, Счастливчик? — говорит он.

— Ага, — говорю я, — только посижу минутку.

Он захлопывает путеводитель.

— Слишком много болтаю, а?

— Да нет, нет, — говорю я.

Он смотрит на меня.

Если верить священникам, спрятаться человеку невозможно, тем более в церкви. Потому что Он видит все, даже тайные мысли. Но по-моему, если Винс не обладает этой способностью, не видит моих тайных мыслей, и, конечно, если это была его тысяча, если это он дал ее Джеку, когда

Джек умирал, то он не будет просить ее назад, по крайней мере сейчас. Это было бы все равно что просить назад деньги, которые ты положил в ящик для пожертвований. Вряд ли он кому-нибудь скажет.

А Джек уж точно никому не проболтается.

Он смотрит на меня.

— Правда все в порядке?

— Ага, ты иди, иди. Я скоро.

Он глядит на меня. Потом быстро обводит глазами колонны, полукруглые своды, окна и снова возвращается ими ко мне, как будто все понял. Хотя ничего он не понял. И я говорю себе: жалкий грешник. Так полагается себя называть — жалким грешником. И еще не помешало бы стать на колени. Но на самом деле я думаю только, что вся эта красота вокруг меня, все эти «славься» и «аллилуйя» никакого отношения не имеют к тому, что у меня в руках, к Джеку и его капельницам. Что такое пластмассовая банка против всей этой громады? Что значит одна пустячная человеческая жизнь по сравнению с четырнадцатью веками? То же самое я думал и в крематории, хотя ни единой душе об этом не говорил: что все это никак с ним не связано. Бархатные занавеси, цветы, надгробные слова, музыка. Я стоял там,

глядя на бархат, пытаясь как-то привязать все это к нему, и тут Вик сказал, тронув меня за руку: «Можно идти, Рэйси». Потому что теперь к Джеку ничто не имеет отношения, даже его собственный прах. Потому что Джек сам стал ничем.

Вот мне и пришлось сесть, вернее, осесть, точно меня ударили. Точно Винси с размаху врезал мне своей правой.

— Ладно, Рэйси, — говорит он. — Передохни.

— На, — говорю я, отдавая ему пакет. — Я тебя догоню, — и он берет пакет, глядя на меня. Делает такое движение, словно хочет сунуть туда путеводитель, но потом раздумывает. И бредет дальше, медленно, по боковому нефу, вдоль ряда колонн, в своем верблюжьем пальто и грязных брюках. Ленни и Вик добрались до какой-то уходящей вверх каменной лестницы и стоят там, словно решая, куда же теперь податься. Винс нагоняет их. Он трогает Ленни за плечо, Ленни оборачивается, и Винс протягивает ему пакет, и Ленни берет его.

Правила Рэя

1. Выигрывать — так по-крупному.
2. Важно не делать ставки, а знать, когда их не делать.
3. Решают не лошади, а другие игроки.
4. Старую лошадь не выучишь новым фокусам.
5. Всегда смотри на уши, а свое держи востро.
6. Никогда не играй мельче чем по три к одному.
7. Ставить больше чем пять процентов от всех твоих денег можно лишь изредка — раз пять за всю жизнь.
8. Если ты Счастливчик, можешь плюнуть на все правила.

Ленни

Он дает мне пакет. Глядя не на меня, а на путеводитель. Как будто отдает мне пакет только затем, чтобы освободить себе руки. Но я вижу, что это не так. Он изучает путеводитель, точно надеется отыскать там ответы на все вопросы.

— Тут у них где-то Черный принц,[17] — говорит он.

— Мертвые все одного цвета, — говорю я. Может, у них тут еще и Белоснежка есть?

— Надо бы его найти, этого Черного принца, — говорит он.

— Как скажешь, Бугор, — отвечаю я.

И мы бредем дальше по каким-то ступеням, то вверх, то вниз, мимо всех этих каменных парней, лежащих на спине, словно их только что послали в нокаут, от которого им уже не очухаться.

По-моему, он чувствует себя виноватым, вот что. Хочет поправить дело. Если поглядеть назад, на прожитые годы, видно, что все мы только этим и занимались — поправляли дело. Все, кроме Вика. Он-то ни разу и рук не замарал.

---

17 Примечания: 17

Черный принц — прозвище Эдуарда, принца Уэльского (1330-1376).

А из нас к этому трое имеют отношение, считая Рэйси. И Салли свое заплатила, если ей вообще было за что платить, — по мне, так она меньше всех виновата. Потому что, я думаю, недосмотра с ее стороны тут не было. Винси, конечно, первый виновник, но когда она пришла с этим ко мне и сказала, что хочет рожать, это ведь я сказал ей: «Ну нет уж, девочка». Первый раз в жизни я как отец должен был сказать что-то важное, и вот тебе на — выступил. Она сказала, что он вернется и будет с ней. А я ответил: «Не пори ерунды, дочка. Книжек начиталась, что ли?» С тех пор она меня так и не простила.

Видно, тогда все это и случилось, тогда мы и разошлись по-настоящему, хотя окончательно я умыл руки гораздо позже — только когда она снюхалась с этим подонком Тайсоном, а после стала принимать всех желающих. Дочери не сыновья, верно, Рэйси?

Я и доктора ей нашел, О'Брайена. И деньги раздобыл, чтобы ему заплатить. Мне нужен выигрыш, Рэйси, половины не хватает. И Рэйси поставил их за меня.

Все это моя забота, дочка, твое дело приготовиться. Раньше надо было думать. А теперь чего уж — знай готовься, а я все сделаю.

И вот что удивительно: тогда я даже не подумал ни разу о той бедной крохе, которая так и не родилась. Только одно в голове промелькнуло, вроде как оправдание, как дурацкое предупреждение: если дать ей родиться, она может выйти не лучше Джун, так что пожалеешь потом. Будет тебе расплата за грехи. В общем, хоть так, хоть сяк — радости мало.

И еще, когда ты отлично помнишь, как всего несколько лет назад заряжал и палил, заряжал и палил, зная, что вот сейчас шарахнет и еще горстку тех ребят разнесет на куски, и не слишком переживая на этот счет, даже радуясь, что это они, а не ты, и стало быть, меньше шансов, что они сделают с тобой то же самое, и вообще, от тебя ведь только это и требуется, этому тебя учили, и что тогда значит один-единственный жалкий младенец, которому так и не суждено было появиться на свет божий?

Бомбардир Тейт.

И то, что в одни времена называют грехом и преступлением против закона, в другие времена уже ничем таким не считается, верно? Ведь пятью годами позже мы решили бы свою маленькую задачу одним махом, без всяких хлопот, в открытую и законным порядком. Другое время —

другие правила. Это как в армии: когда-то нас носило с боями по всей пустыне, зато из Адена мы убрались в один момент.

Только теперь я задумываюсь, каким он мог бы быть. Он. Или она. Целая жизнь. Все эти каменные чучела. Он мог бы стать нынешним архиепископом Кентерберийским. А она могла бы стать Кэт, Кэти Доддс. Мать другая, а фамилия та же: его семя, нашего Винси. И вышло из них примерно одно и то же, что из Кэти, что из Салли. Той, правда, больше повезло. Явилась на похороны разодетая, аж глазам больно.

Я несу пакет, но он, в общем-то, не имеет ко мне никакого отношения. «Рочестерские деликатесы». Вик шагает впереди. Я кладу руку ему на плечо. Говорю: «Держи, Вик». Точно у нас эстафета, бега по Кентерберийскому собору, и следующий круг его.

Вик

Он читает: «Эдуард Плант… Эдуард Плант… Эдуард Плантагенет. Черный принц. Сын Эдуарда III. Командующий английскими войсками в эпоху Столетней войны. Участвовал в битвах при Кресси и Пуатье…»

Судя по биографии, боец что надо. И на вид тоже хорош — шлем, герб, кольчуга. В смерти все равны.

«…Женат на Джоанне, „Прекрасной деве из Кента“. Гляди-ка, Ленни, его жену как твою звали».

Винс читает, а Ленни тем временем трогает меня за руку. И протягивает мне пакет. Винс подымает глаза чуть ли не с осуждением, точно он наш учитель, а мы отвлеклись. Эй там, на задней парте, а ну повнимательней.

Я беру пакет.

«…Умер в 1376 г.».

Ну вот, Джек, если это хоть как-то тебя утешит, если это хоть что-нибудь для тебя значит, вы с Черным принцем, так сказать, свели посмертное знакомство.

Рэй

Здесь пахнет камнем, простором и древностью. Колонны тянутся вверх, высоко-высоко, а там разворачиваются веером, как будто они уже и не колонны, как будто они избавились от собственного веса и это больше не камень, а что-то воздушное. Там, наверху, точно крылья, они выгибаются и распахиваются, и я понимаю, что надо смотреть вверх и думать, как это удивительно, и чувствовать, как ты взмываешь туда, и я смотрю, таращусь во все глаза, вглядываюсь туда, но не вижу его, не могу различить. В смысле, иного мира.

Но я, пожалуй, могу слетать в Австралию. На другой край этого мира. Деньги у меня есть. И Сью избавлю от лишних хлопот — ей не обязательно будет лететь сюда, на этот край. Когда я… Словом, если что.

Хотя она наверняка прилетит, я просто уверен. Несмотря на то, что это вроде бы и ни к чему, какая разница, а деньги всегда найдется куда потратить. Купить новую машину, построить бассейн.

Что и говорить, от Сиднея до Лондона подальше, чем от Лондона до Маргейта. И когда она попадет сюда, то удивится, зачем вообще прилетала, здесь все будет не похоже на старые места, где ее корни, не будет никакого деревенского кладбища с пташками. Один Бог знает, где меня похоронят. Но кто-то ведь должен это сделать — надо, чтобы у тебя был этот кто-то, и у меня есть она.

Но я мог бы избавить ее от лишних хлопот.

Ленни

Я нашел ей доктора. О'Брайена. Хотел бы я знать, в каком списке он числился и, стало быть, из какого вылетел, после какой такой истории ему пришлось умыть руки.

Доктор. Мясник уж скорее. Семейный мясник.

Сейчас это кажется мне забавным. Хотя в церкви шутить не положено. Но ведь когда Джек, который теперь в пакете, был еще на ногах — верней, уже не на ногах, но еще живехонек, лежал на спине, как один из этих парней вокруг, только что в камень еще не обратился, — он вдруг сказал мне, что всегда хотел быть доктором.

Я уставился на него — не знал даже, что сказать. А он говорит: «Ну да, врачом, знахарем, костоправом. Лечить больных, ухлестывать за сестричками и так далее. Живое-то мясцо лучше мертвого, нет разве?»

Я посмотрел на других лежачих, а потом снова на него — думал, он меня разыгрывает, а он говорит: «Чего скалишься, Бомбардир?»

«Да просто не ожидал от тебя», — говорю.

А этот Черный принц небось всю жизнь без

улыбки обходился.

Винс смотрит в путеводитель и говорит: «Я считаю, надо еще заглянуть в монастырь, а потом валить отсюда».

«Ладно, Бугор, ты начальник», — говорю я. Мы с Виком обмениваемся быстрыми ухмылками и плетемся вслед за Винсом, как будто отсюда нельзя уйти, пока все не посмотришь, как будто мы обязаны это сделать.

В церкви шутить не полагается, да и в больнице вроде бы тоже. Но это или страшный позор, или очень смешная шутка — перед самым концом вдруг захотеть стать не тем, кто ты есть. И я бы скорей уж смеялся, чем плакал. А если подумать как следует и все учесть, то, пожалуй, последним-то смеяться будет наш Бугор — ведь он знает, что он не Винс Доддс и никогда им не был, хотя сейчас ему явно надоело шуметь по этому поводу. Но все мы, остальные, так и не знаем, кто мы на самом деле. Боксер. Врач. Жокей.

Хотя Вик — он знает.

Мы проходим в дверь, которая ведет на монастырское подворье. Рэйси куда-то делся.

Живое мясцо лучше мертвого — так он сказал, но вот что думает об этом Джун Доддс, мы, наверно, никогда не узнаем. И Салли всегда будет

жалеть, что у нее не родился тот ребенок, что мы убили ребенка этого подлеца, хотя она запросто могла бы обойтись без всего живого мяса, благодаря которому с тех пор кормится. Иногда то и другое почти не различишь. Но плоть есть плоть. Она свое берет.

Может, первое, что мне следует сделать после возвращения из Маргейта, это пойти навестить Салли. Привет, девочка. Я твой старый папка, неужто не помнишь? А ты небось думала, очередной клиент.

Плоть свое берет. Иногда ее, конечно, стоит осадить, но она свое берет, и тут уж ничего не поделаешь. Наверно, не очень-то хорошо думать об этом здесь, на монастырском дворе, — о том, какой была Эми сорок лет назад, когда возвращалась с морского побережья и отдавала нам крошку Салли. Но я вдруг вспоминаю это, и очень живо. Наверно, не годится думать о том, как торчали под платьем ее соски и какая у нее была фигурка, когда везешь в последний путь останки ее мужа. А я вот думаю.

В церкви не годится думать о дурном, но ты все равно думаешь и даже рад этому, точно находишь в этом поддержку. Не годится думать о таких вещах, когда ты уже старик и еле пыхтишь,

когда тебе шестьдесят девять, а между ног у тебя нет ничего, кроме грошовой свистульки, но я все равно думаю — как будто теперь-то уж можно, раз Джек в этом пакете. Вспоминаю, как она целовала Салли и ласкала ее, а я ревновал к собственной дочери и думал, что счастливей Джека нет никого в целом мире. И это ведь я подал идею завернуть сюда. Божественного захотелось. Джеку-то какая разница. Кому он теперь расскажет, кому похвастается вечером за стаканом пивка? Мои приятели меня уважили, сделали со мной круг почета по Кентерберийскому собору.

Нет, это было ради нас — чтобы мы снова стали вести себя как подобает, чтобы искупить то, что мы натворили. Из-за отсутствия Эми.

Я раздеваю ее в своих мыслях.

Хорошо, что мысли не всегда отражаются у человека на лице, хотя по моей физиономии вообще вряд ли чего поймешь. Морда что твой пожарный фонарь. Но тут уж ничем не помочь, это еще хуже, чем с мыслями. Нельзя запретить плоти быть плотью.

Это вроде того, как Джек говорил, — помню, однажды он рассказывал нам в «Карете», что в старые, да не шибко добрые времена на Смитфилде был не только мясной рынок. В тот вечер

он был веселее обычного, а Рэйси нет: видно, проигрался на скачках. Мы отмечали день рождения Винси, его условный день рождения. С новой барменшей. Задница у нее была ничего себе. Рэйси еще неудачно пошутил насчет кареты, которая никуда не едет. Все здорово накачались. И тут Джек говорит: «Кок-лейн рядом со Смитфилдом — знаменитое было место насчет этого дела. Отсюда и название[18] Кок-лейн, около Гилтспер-стрит. Кок-лейн, Кок-стрит, Кок-авеню — мы все катали по ним свои кареты».

18 Примечания: 18
Кок-лейн — «Херов переулок».

Вик

«Видно, придется мне самому ехать», — сказал я.

Трев поднял глаза.

«Звонил Тони, — сказал я. — Он сегодня дома. Похоже, подцепил ту же заразу, что и Дик. Прямо мор какой-то».

«Есть же Рой, — сказал Трев. — И я еще».

«Это за Саттоном, — сказал я. — Вам обоим надо быть в крематории к половине четвертого. Так что время поджимает. Придется мне поехать. С Харрисами управишься?»

Трев кивнул. «А если ты не успеешь вернуться до того, как я отправлюсь в крематорий?»

«Повесишь табличку „Закрыто“. Как будто еще не вернулись с ленча. Нельзя оставлять на посту одну Мэгги, — Я стоял у окна, и я улыбнулся. — Разве что махнуться на полчасика с Джеком Доддсом. Он часто предлагал».

И только тут я сообразил: Фэрфакская больница и приют в Чиме. Как раз тот самый, где Джун. Куда ездит Эми, а Джек не ездит.

«В общем, беру это дело на себя. Заодно и отвле-

кусь маленько».

И вот, чуть позже половины второго, я взял бумаги и ключи, пошел в гараж и выехал в путь на черном фургончике с зачерненными задними стеклами — мы называем его «Черная Мария». У катафалков прозвища не такие мрачные — Дорис и Мэвис. Женские имена звучат приятней.

Не то чтобы я рассчитывал ее увидеть. Нашему брату часто приходится разъезжать по больницам и приютам, и то, что именно в этом заведении находится Джун, ничего принципиально не меняло. Больницы, приюты и хосписы — оттуда многие уезжают на наших каретах. И хуже всего приюты, потому что они устроены совсем не для того, чтобы кого-то по-настоящему приютить, это просто благозвучное имя для места, куда отсылают старых и неполноценных, или синоним слова, которое в хорошем обществе употреблять не принято: психушка. И вы знаете, что многие из них приезжают туда отнюдь не на короткое время, что эти бедняги проводят там иногда большую часть своей жизни, а иногда и всю жизнь, и жизнь эта в таком случае похожа на смерть, на тоскливое и бесприютное существование.

Как говорит Берни Скиннер — и в этом он похож на любого домовладельца — после того, как

в третий раз объявит о закрытии: «Вам что, податься больше некуда?» — с такой неожиданной свирепостью, точно хочет оскорбить своих собственных клиентов, точно и впрямь ненавидит всех пьянчуг и бездельников, и самое худшее, в чем можно обвинить человека, — это то, что ему негде приклонить голову.

Мне всегда грустно ездить по таким заведениям. Забирать кого-то из одной тесной коробки только затем, чтобы уложить в другую. Как будто у человека с самого начала не было никаких шансов, и если сосредоточиться, можно было бы услыхать, как заколачивают гроб, задолго до моего появления. Однажды мне пришлось увозить заключенного. Его звали Уормвуд Скрабс. Сердечный приступ, пятьдесят один год. Я спросил надзирателя: «За что его посадили?», и он ответил: «За убийство. Прикончил жену три года назад. Теперь выходит, что получил пожизненное». Или дождался помилования.

Преступники и отверженные тоже умирают, как и те, кого упрятали подальше и забыли, и тогда на сцену с неохотой вылезает какой-нибудь родственник. И ты никогда не спрашиваешь их — не твоя это забота, — что, собственно, значит для них эта смерть. Хотя иногда видишь, что не так

все просто и гладко, как они надеялись, и дело отнюдь не сводится к благополучному избавлению. Но ты должен просто организовать нормальные похороны с соблюдением всех приличий и уважения к покойному, этого заслуживает любой. А в душу лезть ни к кому не надо.

В нашей профессии учишься держать рот на замке.

Там были кирпичные стены, ворота, и подъездная аллея, и деревья, и клумбы, — в общем, если забыть, что ты на окраине Лондона, можно было бы принять это место за чью-нибудь загородную усадьбу. Правда, главное здание этой усадьбы напоминало большой барак старого типа с решетками на окнах, а внутри стоял обычный для больниц кисломолочный запах и тянулись обычные скрипучие коридоры, по которым, как обычно, катали дребезжащие тележки.

Дежурная проверила мое удостоверение и бумаги, и я подумал: когда-нибудь вот так же приедут и за Джун, с такими же документами. Увозить тело. А до этого крупных событий в ее жизни не предвидится. Дежурная взяла трубку и набрала номер, а потом посмотрела на меня, как смотрят, когда слушают телефон: вроде бы куда-то мимо и в то же время не сводя с тебя глаз.

У нее была прическа-перманент, волосы жесткие, как проволока, а на шее висела цепочка с очками, и я подумал: она здесь уже достаточно давно, чтобы смотреть на всех сверху вниз, подозревать каждого в каком-нибудь неблаговидном умысле. Достаточно давно, чтобы решить: если бы начальницей была она, все крутилось бы гораздо лучше. Острый нос, скептически поджатые губы. Она держала трубку около уха и явно начинала злиться, что ее заставляют ждать, и злиться на меня за то, что я вижу, как ее заставляют ждать, и я подумал — иногда у меня проскальзывают такие мысли, они помогают мне успокоиться: и ты когда-нибудь тоже, милая. И за тобой кто-нибудь приедет.

Потом она сухо сказала в телефон: «Хорошо. Я ему объясню», а потом мне, с явным удовольствием: «Вам придется подождать. Заведующий обедает, вернется не раньше трех».

«Я подожду», — ответил я, а про себя порадовался, что не отправил сюда Трева.

Она еще раз проверила мои документы, словно там что-то могло измениться, и протянула их мне, глядя в сторону, давая этим понять, что я свободен. Потом, как раз в тот момент, когда я уже был готов задать вопрос, сказала с легким вздохом,

точно мне самому полагалось это знать: «Позади главного здания, в дальнем конце двора».

Но я бы и так нашел. Где-то всегда есть морг с трубой. Глухая двойная дверь, вроде выхода из кино. Если никого не видно и нет никаких надписей, ты стучишь по этой двери кулаком. Кто-нибудь выглядывает из окошечка и видит подогнанную задним ходом «Марию».

«В три», — сказала она.

Люди чувствуют к нам неприязнь. На нас точно клеймо — вот подходящее слово. Как никто не стремится заводить знакомство с человеком, который вывозит из его дома мусор. Я привык к этому, это естественно. Мой отец говаривал, что похоронных дел мастер наполовину господин, наполовину прокаженный. Обижаться тут не на что.

Я хотел было спросить: а перекусить где-нибудь можно? Но передумал. Мелькнула и такая сумасшедшая мыслишка: а не заглянуть ли к Джун? За двадцать минут вполне успею. Из чистого любопытства, а может, и еще ради чего-то. Чтобы увидеть то, чего Джек никогда не видел. Можно было бы отыскать ее здесь и просто зайти, черный пиджак служит пропуском во многие комнаты. Но потом я подумал: нет, Джун-то разыскать

несложно, да и неплохо было бы, но сначала надо миновать эту милашку.

«В три», — повторил я, засовывая бумаги обратно в карман.

Но глядел я туда, куда вели коридоры, и думал: так вот, значит, где. Значит, это сюда ездит Эми дважды в неделю, год за годом. Интересно, здоровается ли она с этой злюкой, получает ли в ответ улыбку.

И только тут я сообразил, что сегодня четверг. Четверг, после полудня: как раз время посещений Эми. И я невольно подтянулся, распрямил плечи и поправил лацкан, как делаешь, если тебе грозит незапланированная встреча, как часто приходится делать человеку моей профессии. Неизвестно ведь, с кем ты можешь столкнуться, на чью мозоль наступить. Это не профессия — это положение в обществе. Так считал мой старик. Некоторые говорят, что по важности я следующий после викария, и я отвечаю: «Верно. Зовите меня просто Виком».

И я перестал быть обыкновенным скромным посыльным. Я превратился в настоящего, солидного распорядителя похорон, которому палец в рот не клади, и она, должно быть, это увидела, потому что я заставил ее отвести от меня взгляд.

«Денек нынче славный, — сказал я. — Пойду пройдусь».

На дворе было ветрено, солнце то и дело появлялось и опять исчезало за облаками. Я вышел к стоянке, проверил, в порядке ли «Мария», а потом зашагал по одной из дорожек, вьющихся между лужайками, чувствуя себя мальчишкой, удравшим с уроков, чувствуя, как это приятно — мне, хозяину, заниматься работой наемника, который ныряет в чужой бизнес и выскакивает из него, точно солнце, прячущееся за облаками. В эти двадцать минут я мог смотреть на мир по-другому.

Вокруг были розовые клумбы и деревья. Больные тоже гуляли, дышали воздухом. Как следует их называть? Больными? Жильцами? Постояльцами? Некоторые из них как-то странно двигались или странно стояли без движения. Один худой парень пошел ко мне; губами и пальцами он сжимал окурок сигареты так, словно пытался вытянуть изо рта длинную веревку, но она затягивалась обратно. Другие казались нормальными, их выдавала только старая одежда. И все же. Смотри не попадись. Откуда ты, говоришь, взялся? Ах, похоронных дел мастер? Ладно, пойдем-ка с нами.

Я присел на скамейку, а солнце то скрывалось

за облаком, то выбегало снова, то скрывалось, то выбегало. Тот, с сигаретой, развернулся и пошел назад, как будто я занял его скамейку, и, проходя мимо меня, зарычал по-собачьи, со слюнями, обнажив зубы. Я не испугался. Забудьте о страхе. Интересно, подумал я, было ли страшно Эми, боялась ли она, когда пришла сюда в первый раз. Но женщины не боятся, или их пугает не то, что нас. Я подумал: ты смотришь на мертвых, разбитых и искалеченных или попросту лежащих навзничь, и думаешь, что эти люди стали чужими, совсем чужими. Но чужие-то как раз те, что еще живы, это про их настоящий облик мы не знаем ровным счетом ничего.

Тогда я и увидел эту пару. Что-то заставляет человека повернуть голову. Они сидели на скамейке у другой дорожки, впереди слева. Я увидел русые волосы Эми, их шевелил ветер и освещало солнце, а сама она сидела, как всегда, просто, ровно и прямо, точно ожидая своей очереди. Но сначала я все-таки заметил Рэя — рядом с ней он казался маленьким, почти как ее сын. Его маленькую робкую головенку, похожую на кокосовый орех, и то, как он чешет шею, запустив руку за шиворот, точно целую мышь хочет выловить, — по одному этому жесту я бы признал его где угодно.

Интересно, догадывается ли он, что лысеет? Под волосами уже просвечивает розовая макушка.

Выбери я другую дорожку, мог бы напороться прямо на них. Но сейчас я живо отступил у них за спиной назад, к своей машине — можно сказать, почти на цыпочках, а потом увидел и фургон Рэя. Должно быть, он и раньше там был, но ты не замечаешь того, чего не ждешь увидеть. Он стоял на дальнем конце площадки, кремовый с темно-зеленым, а наверху еще эта странная штука, которая раскрывается, как аккордеон, чтобы внутри можно было выпрямиться в полный рост.

Я забрался в свою «Марию». Через переднее стекло мне было хорошо их видно, в пятидесяти ярдах от машины, чуть слева, Рэй с того края скамейки, что ближе ко мне. И хотя это были два отдельных силуэта людей, как будто случайно присевших на одну скамейку, мне почудилось, что у них вдвоем один силуэт, общий.

Рэй наклонился вперед и раскурил сигарету, спрятав ее в ладонях от ветра. Потом затянулся, вынул сигарету изо рта и большим пальцем той же руки, опершись локтем на колено, потер нижнюю губу. Между ними был вклинен бумажный пакет с остатками чего-то съедобного, потому что

Эми вынимала оттуда крошки и бросала птицам, которые клевали их у ее ног. Воробьи, голуби. Она делала это быстрыми взмахами, словно хотела не накормить, а распугать птиц, но крошки приманивали их обратно. Рэй не кормил птиц. Он курил, и потирал губу, и чесал шею. Потом сел прямо, и точно в тот же момент Эми наклонилась вперед, как будто они были механизмом, который работал таким образом. Она погладила свою ногу пониже колена, словно у нее там ныло.

Я глянул на часы: почти три. Но заведующий может и подождать. Я ведь его ждал. Хотя выдача тела — серьезная операция. Тут нужны и подпись, и свидетели, и указание точного часа с датой. Нельзя опаздывать к мертвым только потому, что они мертвые. Такое у меня правило: когда имеешь дело с покойниками, не тяни волынку. Сколько раз выговаривал за это своему Тони.

В пять минут четвертого они еще сидели на скамье, а в моем фургоне не было совершенно ничего, что помогло бы убить время: только старый замурзанный телефонный справочник да документы у меня в кармане. Но их я и так помнил наизусть. Джейн Эстер Паттерсон. Дата рождения, дата смерти. Ей было восемьдесят семь лет. Причина смерти: кровоизлияние в мозг.

Ближайшие родственники: Джон Реджинальд Паттерсон. Сын. Если заведующий окажется не слишком сердитым, спрошу у него, сколько лет она здесь провела.

(Я спросил. Он ответил, что двадцать восемь.)

Я смотрел, как Эми выпрямилась — на этот раз Рэй остался неподвижным, — снова быстро сунула руку в пакет и бросила крошки. Чувствовалось, что они оба хотели бы, чтобы между ними не было этого пакета. Потом Эми взяла пакет, скомкала его и начала отряхивать юбку, точно собираясь встать, но прежде чем она это сделала, Рэй протянул руку и положил на ее дальнее плечо, а затем передвинул ладонь ей на шею, запустив пальцы под ее волосы, как перед тем запускал их к себе за шиворот. Словно ему давно уже хотелось сделать это или что-то подобное, но отважился он только потому, что она решила встать и у него больше не было бы такой возможности. Тогда Эми чуть помедлила и как будто слегка потерлась шеей о ладонь Рэя. Потом встала, как собиралась, и Рэй тоже вскочил, точно на пружине, и они оба пошли к выходу на автомобильную стоянку.

Я скрючился на сиденье, но они вряд ли увидели бы меня из-за отражений на ветровом стекле, даже если бы посмотрели в мою сторону. У меня

возникло впечатление, что несколько секунд назад они были двумя молодыми людьми, а теперь стали людьми постарше или только притворились ими. Они выглядели немножко странно. Но где же и выглядеть странными, как не здесь. Эми выбросила скомканный пакет в урну, а Рэй кинул окурок себе под ноги и наступил на него. Они шли отдельно, будто нарочно стараясь держаться поодаль друг от друга, как люди, случайно идущие в одном направлении.

Наверно, тут часто происходят встречи. Пути посетителей пересекаются. Есть время, чтобы поговорить, и бремя, чтобы его разделить. Постоянно действующий клуб одиноких сердец.

Они прошли четыре или пять машин слева от меня, и на сей раз я попросту спрятался, уткнувшись носом в пассажирское сиденье, то есть тоже повел себя странно. Потом я потерял их из виду, когда они огибали фургон сзади. Но я подглядывал в зеркальце, а из бокового окна мне были хорошо видны главные ворота. У фургона есть один плюс: ты можешь смотреть поверх стоящей рядом машины. Я услышал, как завелся мотор, как Рэй выехал задним ходом, а потом увидел его проезжающим через ворота, мимо столбика посередине со стрелками «Въезд/Выезд». Что-

бы попасть домой, надо было свернуть налево. Другая дорога вела прочь из Лондона: в Юэлл, Эпсом, Ледерхед. Я увидел, как Рэй притормозил, замигал поворотником и поехал направо.

Не надо никого судить. В нашем деле учишься хранить тайны.

Рэй

Я сказал, что пока чувствую себя самым натуральным Счастливчиком. Оправдываю прозвище.

А он, улыбаясь, ответил, что чувствует себя самым натуральным ослом. И шансов поумнеть, видно, уже нету.

Тут он поглядел на меня, и я подумал, всего на секунду: уж не считает ли он, что это зависит от меня? Вроде как тогда, когда его только привезли в больницу, еще до операции, до того, как он узнал: я стал замечать, что все поглядывают на меня с особым выражением, будто мне теперь и карты в руки. Рэй все обмозгует, все уладит. Джек может положиться на своего старого корешка. Рэйси. Пока Рэйси рядом, можно не сомневаться: все будет в ажуре, хирург заштопает Джека как надо.

Ужасно тяжело быть Счастливчиком, подумал я.

Но он глядит на меня, точно понимает, что ставит меня в трудное положение, хотя на самом-то деле в трудном положении сейчас не я, а он. А

потом говорит, будто качает головой в ответ на мои мысли: «Мне хана, Рэйси, — этак медленно и внятно. И повторяет, будто я мог не расслышать: — Мне хана. Я только об Эми думаю».

Тут я замираю, глядя прямо ему в глаза своими, широко раскрытыми, словно стоит мне хотя бы сморгнуть — и я пропал.

«Мне-то хана, — говорит он, — но я еще не разобрался с Эми. — Я смотрю на него и бровью не веду. — Не хочу, понимаешь, оставлять ее на мели».

«Ты же не виноват, что у тебя…» — говорю я.

«Да нет, — отвечает он. — Просто я ей кое о чем не сказал».

Я гляжу на него. А он — на меня.

«Это я о деньгах, — продолжает он. — Мы ведь вроде как собрались купить домик в Маргейте, так? В Уэстгейте. И все кругом решили, что Джек Доддс наконец поумнел и хочет начать новую жизнь. И надо же, мол, что как раз на ее пороге он возьми да и свались на больничную койку — экая жалость».

«Так и я думал», — отвечаю.

«И ты, — говорит он, — и Эми. Только никто не знает, что, не продай я свою лавку, я бы прогорел. Потому и продал. Никто не знает, что пять лет

назад я взял заем, чтобы спасти магазин, и срок возврата истекает через месяц. Но все утряслось бы. Я продаю магазин, продаю дом, покупаю маленький домик в Маргейте, крохотный такой домишко, а на разницу выкарабкиваюсь из ямы, тюк-в-тюк хватает. Но теперь все отменяется, верно? Теперь вариантов нет, правда же?»

Он смотрит на меня, точно мне лучше знать.

«А почему было не продать все пять лет назад, вместо того чтобы идти занимать?» — говорю я.

«Потому что тогда мне надо было зарабатывать на жизнь», — говорит он.

Я гляжу на него.

«Я мясник, Рэйси, — говорит он. — Вот кто я есть».

Но я все гляжу на него. Это он и в то же время не он. Как будто раньше он прятался. «Зато теперь мне заработок ни к чему», — говорит он.

«Так значит, у тебя… никакого проблеска не было?» — спрашиваю я.

«Нет, Рэйси, — отвечает он. Но мне все не верится. — И никакой такой новой жизни. Не для меня это».

Мы смотрим друг на друга.

«Сколько?» — спрашиваю я.

«Брал семь штук, — говорит он. — А отдавать

надо почти двадцать».

Я складываю губы трубочкой, чтобы тихо присвистнуть. А он говорит: «Мы здесь не о банках толкуем. Это был особый заем. У частного лица».

«Не у Винса ли?» — спрашиваю.

Он смеется. Откидывает назад голову и заходится сухим болезненным смехом, так что я невольно тянусь к картонным мисочкам, соображая, не позвать ли сестру. «Винс? — говорит он, задыхаясь. — Да Винси мне стакан воды перед смертью не подаст».

«У кого же тогда?» — говорю я.

«Из Винси гроша не вытянешь, тем более на лавку, — говорит он. — Его послушать, так я давно должен был пойти в супермаркет».

«Ну и у кого же?»

«У одного из его старых приятелей. Партнеров по бизнесу. Так что пришлось под большие проценты, ты ж понимаешь».

Он смотрит на меня, точно ждет, что я покрою его презрением.

«Лучше б тебе было рискнуть и на двухлетку поставить, — говорю я. — Пришел бы к дяденьке Рэйси».

А сам уже понял, куда ветер дует.

«Но мне ведь много надо было, Счастливчик, —

говорит он. — А на ставку откуда взять? Вообще-то интересно, что ты об этом заговорил».

Он смотрит на меня, начиная улыбаться, и я быстренько перебиваю: «Ну а Эми ты рассказал?»

Он качает головой.

«И не собираешься?» — спрашиваю.

«В том-то и загвоздка, — говорит он. — Я надеюсь, что, может, не придется, может, нужды такой не возникнет. Интересно, что ты о ней заговорил».

Он тычет пальцем в картонную мисочку, которую я все это время держал в руках, и говорит: «С этой штукой ты будто милостыню просишь».

Я возвращаю мисочку на место.

«Не знаю, какие у нее планы, — говорит он. — В смысле, когда я уже… Может, она захочет здесь остаться. А может, будет торговать тот домик в Маргейте. Там еще не все нитки оборваны. Еще можно довести дело до конца. В любом случае я не хочу, чтобы к ней заявился кредитор. Не хочу, чтобы она обнаружила за собой должок в двадцать тысяч».

Похоже, он ждет, что я подскажу ему решение.

«Прямо золотое яичко, верно? — говорит он. — Двадцать штук. Так это у людей называется:

золотое яичко».

«Стало быть, она думает, что ты просто поумнел, — говорю я. — Что правда собирался начать новую жизнь. И ничего не подозревает».

Он глядит на меня, точно хочет сказать: я, мол, и сам все понимаю. И говорит: «О некоторых вещах лучше помалкивать».

«А почему Маргейт?» — спрашиваю я.

«Я не хочу оставлять ее на мели, — говорит он. — Хочу, чтоб у нее все было в порядке». И его глаза вдруг закрываются, веки тяжело падают вниз, словно он больше не может их удержать, словно он улизнул куда-то без предупреждения, а я пусть разбираюсь как знаю.

Потом он открывает глаза, точно и не заметил, что прикрывал их.

«Что она будет делать, по-твоему?» — говорю я.

«Это зависит от того, как все повернется, — говорит он. — И от тебя в том числе».

Я гляжу на него.

«Мне нужен выигрыш, Рэйси, — говорит он. — Позарез нужен, как никогда в жизни. — Он медленно поднимает над одеялом правую руку. Из-за всех этих трубок, которые к ней прикреплены, кажется, что поднимает ее не он, а кто-то другой, как в кукольном театре. — И теперь у

меня есть что поставить».

Он тянется к тумбочке и открывает маленький ящик, где у него лежит всякая мелочь. Его рука дрожит. Он пытается сладить с ящиком, и я хочу помочь ему, но чувствую, что этого делать не надо: не так уж много осталось вещей, с которыми он еще может сладить сам.

Он вынимает бумажник. Я никогда не видал у Джека Доддса такого толстого бумажника.

«Загляни-ка сюда, — говорит он. — В задний кармашек».

И отдает его мне. Я беру этот толстый бумажник и открываю его у Джека на глазах. Фотографий там нет. Только пачка денег.

«Тут тысяча, круглым счетом, — говорит он. — Восемь сотен бумажками по пятьдесят, остальные двадцатками».

Я смотрю на деньги. Тру верхнюю банкноту большим пальцем. И говорю: «Ты держишь здесь тысячу наличными?»

«А кто их возьмет, Рэйси? — спрашивает он. И обводит комнату взглядом. — Эти доходяги?»

«Но где ты…» — начинаю я.

«Секрет, — говорит он. — Ты вынь их, сочти».

Я качаю головой. «Ладно, верю».

«У меня с этим всегда было плоховато, так

ведь?» — говорит он.

«С чем?»

«Да посчитать что-нибудь. С арифметикой. Котелок-то у меня не чета твоему. — Он чуть поднимает подбородок, словно хочет кивнуть на собственную голову. И говорит: — В общем, бери. Мне нужен выигрыш. — Он смотрит на бумажник в моей руке. Потом добавляет: — Кажется, скоро в Донкастере начнутся, верно? Первые, те, что без препятствий».

Верно, думаю я. И если все будет нормально, я туда попаду.

«Но это большой риск, — говорю я. — Чтобы тысячу превратить в двадцать. Очень большой риск».

«Знаю», — говорит он.

«А если я поставлю не на ту лошадь?» — говорю я.

«Не поставишь, — отвечает он. — Не может такого быть. Это нужно для Эми».

Кошелек или жизнь, думаю я.

А он говорит с улыбкой: «Можешь считать, что это деньги за фургон. Тысяча фунтов, помнишь? Ты тогда еще продавать не захотел?»

Кентербери

Их нигде не видно. Как будто они ушли и бросили меня одного в Кентерберийском соборе. И я бреду обратно к тому месту, где мы с Винсом расстались, на случай, если они будут меня искать, и снова сажусь на деревянное сиденье, опираюсь локтями на колени и думаю: я сейчас вроде запасного жокея на скачках.

У меня такое чувство, будто он смотрит на меня, видит мои мысли. Давай, Рэйси, решайся, хватит тянуть. Как будто дело не только в монете, дело во мне, в нас двоих. Вот они деньги, Эм, а вот он Рэйси. Теперь у тебя все будет в порядке, со Счастливчиком-то. И локтем в бок, и подмигивает. Я думаю, вы с ним споетесь.

Как будто мне следовало быть вместо него.

Я жду на сиденье, поглядывая по сторонам, но их нигде не видать, поэтому я встаю и нахожу выход, а там и их: они стоят на мостовой и озираются, ищут меня. Здрасте, друзья-приятели, думаю я. Небо темное, грозовое, и ветер холодный, но их это, похоже, не огорчает. Со стороны кажется, что им хорошо быть здесь вместе, что

все прощено и забыто.

Может, и так, думаю я.

— Куда ты пропал? — говорит Винс. — Мы уж думали, потерялся.

В руках у Винса путеводитель. Вик держит пакет. У меня ничего нет, но такое ощущение, будто я несу много чужого и все это видят.

Я чувствую за собой огромный собор, он смотрит на меня.

— А мы в монастыре были, — говорит Винс. — Ты туда заходил? — Точно без этого нельзя.

— Заходил, — говорю я, а сам думаю: по мелочам врать легко.

Потом мы идем обратно в ворота и по узким улочкам, хотя теперь выбираем не ту узкую улочку, по которой пришли сюда, а другую. Она называется Бутчери-лейн,[19] поэтому мы ее и выбираем.

Винс говорит, что надо идти по ней. Когда мы на нее сворачиваем, начинает барабанить дождь. Но посередине нам попадается маленький бар, «Арсенал», и он открыт, и Ленни говорит, что не мешало бы пропустить по глоточку — вреда, мол, от этого не будет.

---

19 Примечания: 19
Бутчери-лейн — Мясницкая.

Вик

А потом он говорит — серьезно, без улыбки, сидя у меня в кабинете, руки розовые и тщательно отмытые после сегодняшней возни с мясом, точно это не Джек, а такой предусмотрительный клиент, которого хоть сейчас обряжай да клади в гроб: «Честно сказать, Вик, — ты же старый моряк, ты меня поймешь, — я был бы не против, если б меня похоронили в море».

Эми

Наверное, они уже там, уже добрались до берега. Вытряхнули его из банки, развеяли по ветру. Сейчас они, должно быть, уже на полпути обратно, если не застряли в Маргейте, чтобы устроить себе отдых после работы: катанье на осликах и всякое такое.

Но я и сейчас думаю, что мое место здесь. У меня свой маршрут. У них свой, а у меня свой. Живые важнее мертвых, даже те, кто в его глазах был не лучше мертвого, так что теперь они для него все одинаковы. И потом, я уже попрощалась с ним, если не в первый раз, то в последний. Прощай, Джек, прощай, моя старая любовь. Кто-нибудь может сказать, что Джун и не заметила бы, пропусти я эту встречу с ней ради последнего дня с ним, я ведь и раньше их пропускала — когда-то, давным-давно, целую дюжину, — а ведь прах собственного мужа не каждый день развеивают, тут уж второго раза не будет. Но откуда ему знать, заметит она или не заметит? Да и, вдобавок, кто-то ведь должен ей сообщить.

Что ей все равно, что ему.

Кроме того, не думаю, чтобы я справилась. Стоять там, на Пирсе, где раньше была Дамба, внизу волны, соленые брызги в лицо, и чувствовать на себе их взгляды. Ты первая, Эми, не торопись, мы подождем. Ветер полощет юбку. Погода нынче такая — в Маргейте, наверное, чуть ли не шторм.

Вот где мое место — на втором этаже автобуса. Можно сказать, что за многие годы этот сорок четвертый номер стал мне родней собственного дома. Я ни здесь, ни там, вечно в дороге. Не знаю, смогла бы я когда-нибудь поселиться в Маргейте или нет. «Собираем манатки, Эм», — заявил он. Когда я уже давно махнула на него рукой, давно решила, что этого никогда не случится, уверенная, что в один прекрасный день он просто свалится замертво у себя за прилавком, в своем полосатом фартуке, с ножом в руке, чего ему, наверно, и хочется: еще одна туша для обработки. «Я завязываю. Все ясно?» Ха. «Начнем новую жизнь, крошка, — ты да я». Не знаю уж, что там случилось, какая муха его укусила, какой медведь в лесу сдох. И глядит на меня, точно ждет, что я запрыгаю от радости, точно смотрит не на женщину, с которой прожил полвека, а на кого-то другого, незнакомого. «Маргейт, — сказал он. — Как насчет Маргейта?» Будто можно пере-

вести стрелки назад и начать все сызнова. Второй медовый месяц. Будто Маргейт — это волшебная страна фей.

Тогда я и поняла, что мы поменялись местами. Ведь много лет назад, когда я в первый раз распрощалась с ним, это я думала, что всегда можно начать заново, что жизнь не кончается только потому, что ты в ней завяз. У меня еще хватало сил выбирать. И я выбрала не его, а Джун. Я наблюдала, как он окончательно превращается в мясника Доддса — Джек Доддс, мясник экстракласса, возьмите фарша, мадам, возьмите лопатку, — потому что не смог тоже выбрать Джун, выбрать свою плоть и кровь, всего-то навсего, и я думала, что еще способна на перемены, а вот он нет. Да, было такое дело. Но когда он смотрел на меня в ту пору, смотрел, как на кого-то другого, я чувствовала, что застряла в собственной колее. Стала женщиной, которая каждый понедельник и четверг ездит на сорок четвертом автобусе. Даже через неделю после смерти мужа.

Словно это моя вина, что я его оставила, распрощалась с ним — раз, потом другой.

А она никогда не узнает. Никогда.

Маргейт, Маргейт. А как же Джун?

Насчет автобуса. Красный, двухэтажный, шле-

пает и хлюпает сквозь дождь, с номером над кабиной, со своим пунктом назначения и своим маршрутом, который сохраняется из года в год. Точно пока есть номер сорок четвертый, идущий от Лондонского моста до Митчем-Крикетерс, этот мир не разлетится на куски, Лондонский мост не рухнет. Точно и впрямь, как всю жизнь бубнил он и его папаша, Смитфилд — это настоящее сердце Лондона, чтоб мне провалиться, ребята, и в таком случае красные линии автобусных маршрутов, должно быть, артерии, артерии и вены, по которым бежит кровь.

Ни разу на такси. На Джекову-то выручку? И ни разу на метро, хотя это быстрее: по Северной до самого Мордена. Потому что я люблю видеть, люблю думать, когда путешествую, когда я в дороге. Мне нравится смотреть по сторонам. И только дюжину раз в фургоне. А может, больше? На сколько больше дюжины, а, Рэйси?

Но почему я сегодня поднялась наверх? Здесь как на корабле, по которому хлещет дождь. Чтобы доказать, что я еще здоровая женщина, не чета старым воронам внизу? Чтобы доказать, что я еще способна на выбор? Чтобы по-новому увидеть мир, скользящий мимо? Ламбет, Воксхолл, Баттерси, Уондсуорт. Разве могла бы я, Рэй, стоять

рядом с тобой, вместе разбрасывать его пепел? Мое место здесь, в сорок четвертом. Возьмите немного пепла, мадам. И пока бегут красные автобусы, будет бежать красная кровь и сердце будет стучать, стучать. Ах, Рэй, счастливчик, ты такой маленький. Прости, бедный мой Джек.

Рэй

В общем, я развернул перед собой «Рейсинг пост» с полной таблицей Донкастерских скачек. Потом закурил сигаретку и вынул блокнот с записями. Отчет Рэя Джонсона за 87-й, 88-й, 89-й. Всегда записывайте свои ставки. Потом мысленно прошелся по забегам и участникам, прикидывая в голове ограничения и соотношения, куда можно соваться, а куда не следует, — все это со временем начинает делаться автоматически. Люди думают, что, раз я Счастливчик Джонсон, у меня работает только шестое чувство, и иногда это так и есть, везение играет свою роль. Однако я умею извлекать из этого занятия выгоду — а это никогда не удалось бы ни Джеку Доддсу, ни Ленни Тейту, — именно потому, что все хотят верить во внутренний голос и со стороны это выглядит везением, но по-настоящему это на девяносто процентов расчет, обыкновенная арифметика. Не зря же я просиживал штаны в страховой конторе. Люди думают, что выигрыш падает с неба, что это ответ на их молитвы, но надо уметь перехитрить букмекера, а чтобы перехитрить букмекера, надо

кое в чем кумекать и самому.

В общем, я изучал участников, поглаживал подбородок и думал: да, нелегкая мне выпала задачка. Нестандартная ставка, да еще налог. С тысячи-то фунтов. А гандикапы в начале сезона — это кот в мешке. Ладно еще, если б я попал туда сам, тогда было бы легче. Ты видишь лошадок, чувствуешь атмосферу, это тебе не голые цифры. И на душе спокойнее. Стук копыт по дорожке, солнце на жокейских костюмах, ирландский треп. Вся эта бурлящая смесь пива и надежды. Все, чего Джек больше никогда не увидит и не услышит.

Дымок от сигареты тянулся к окну. Легкие облачка после дождика, слабый ветер — значит, хорошие, чуть мягковатые дорожки. Учтем.

Я глянул на часы: половина двенадцатого. Только дурак торопится ставить, атмосфера меняется каждую минуту, расчет и чутье — вот что решает. Поспешишь — людей насмешишь. Но что, если? Если бы Джек.

Я старался не смотреть на имя, которое смотрело на меня из середины списка по забегу в три ноль пять. Двадцать два участника. Разве имя что-нибудь значит? Меня вот зовут Счастливчиком. Только дурак ставит на имя. А Джека уже не

спасти, ему уже крышка.

Я перелистал блокнот, набросал кое-какие цифры. Правило номер один: выигрывать, так по-крупному. Но Джеку и этого мало, ему нужен огромный выигрыш, всем выигрышам выигрыш, чтобы спасти свою шкуру, свою несчастную дырявую шкуру. И арифметика его не волнует.

Так что это случай из ряда вон.

Но я все старался не смотреть на имя, которое смотрело на меня. Безнадежный аутсайдер, шансы примерно один к двадцати. Хотя оно так и пялилось на меня. Есть удача и удача. Есть ровная удача, которая ничем тебе не грозит, которая не дает пулям задеть тебя или помогает тебе иметь маленький навар, свои пять процентов, а есть сумасшедшая удача, благодаря которой ты срываешь банк. Есть расчет и шестое чувство, которое иногда усиливается настолько, что забивает расчет, и ты узнаешь о лошади все, что тебе нужно, по одному только наклону ее головы. Можно сказать, что все дело в ставках, но иногда это просто бег, и азарт, и рев скачек. Иногда это чистое торжество лошадей.

И я затушил одну сигарету, прикурил другую и прошелся по комнате, точно что-то мешало мне усидеть на месте. Постоял у окна. Задворки

Бермондси. А круг в Донкастере широкий, в самый раз для гладкой скачки.[20] Это же дураком надо быть. Но я чуял удачу — нутром, всеми поджилками. То, ради чего оно все делается, ради чего ты этим и занимаешься, в конце концов. Я открыл окно, как будто мне не хватало воздуха. Почувствовал ветерок, и дым у себя в ноздрях, и жизнь во всем теле, и как Джековы деньги жгут мне грудь у самого сердца.

Чудотворец.

20 Примечания: 20

Гладкая скачка — обычная скачка в отличие от стипль-чеза (скачки с препятствием).

Эми

В те дни легко было заставить мужчину улыбнуться. Даже наш учетчик Альф Грин — грудь колесом, на ней болтаются палочки, под носом черные усищи и взгляд как у старшины, берегись, если у тебя недобор, — и тот изображал передо мной что-то вроде улыбки. А может, это мне только мерещилось. Кажется, что бы ему стоило иногда отойти от правил, зачесть шесть бушелей за семь. Я у корзины в своей легонькой юбочке, разгоряченная, липкая, и он со своим ножом для насечек. За семь бушелей давали шиллинг, и каждый хотел дотянуть до двух с половиной шиллингов в день. Тяжелая работа, с рассвета на ногах. Но не думайте, что и там не было обходных путей, разных хитрых способов получать заветные жетоны. Если судить по жетонам, то чемпионкой была Ширли Хопкинс. Двести бушелей в неделю, хотя на самом деле это были не только бушели. Под конец она наколотила чуть ли не десять фунтов плюс излишки за наличные. Ее мамочка с папочкой в Дептфорде небось на стенку влезли от счастья, когда она послала им

пятерку. Малютка Ширли, наша неутомимая труженица.

И не думайте, что у нас не было своих маленьких радостей. Там можно было работать и даром — сад Англии платил тебе солнечным светом, свежим воздухом, запахом сена и хмеля, и у тебя было такое чувство — хотя работа от себя не отпускала и гулять было особенно некогда, корзины в ряд, и на каждую по три-четыре человека, прямо фабрика под открытым небом, — что ты на свободе. На воле. Жили в шалашах и палатках, как кочевники, не привязываясь к одному лагерю. Вокруг ни лоточников, ни цыган, ни собак, ни других сборщиков. Жареная вкуснятина по вечерам. Костры, котелки, масляные лампы, болтовня обо всем на свете.

Приходили и цыгане со своими лошадьми, тоже собирать хмель, но становились табором поодаль, на противоположной опушке, поглядывая на нас так, словно мы заняли чужое место, и я завидовала им, потому что они были еще большими отщепенцами, чем мы, — профессионалами в отличие от нас, любителей, и когда мы вернемся обратно в Бермондси, в свои каменные коробки, они по-прежнему будут скитаться по лесам и полям. Завидовала их темной ореховой коже — не

то что мы, лондонцы, квашня квашней, белые с красным, как столбики перед входом в парикмахерскую. Я каждый вечер подглядывала, как один из них водит коня на водопой к пруду, — мы в это время как раз шабашили. Он-то хмелем не баловался, забава для городских пигалиц. Здоровый парень. Оба с голыми спинами, что он, что конь.

Наверное, это было больше, чем зависть.

Мать говорила мне, ты там не вздумай…

Я и не вздумала, хотя могла бы. Вместо этого я крутила любовь с Джеком Доддсом — Джеком Доддсом, который был с другого конца Бермондси. Сосед, можно сказать. Не знаю уж, что делала Ширли Томпсон, как она предохранялась, но она-то не залетела, а вот я да, с первого же раза.

Он тоже был мускулистый, тоже крупный мужик, даже больше того цыгана, хоть и не такой ладный. Мне не стыдно признаться, что тогда они мне нравились, большие ребята, — а может, я сама себя обманывала. Что еще надо девчонке, кроме дюжего парня? И я знала, что он положил на меня глаз — все зыркал оттуда, с другого ряда корзин, делал стойку. А тот цыган и ухом не вел, и головы в мою сторону не поворачивал, разве что за моей спиной, когда не было риска, что я оглянусь. Джек тоже не считал сбор хмеля муж-

ским делом, с его-то ручищами. Похудел, правда, кожа да кости. Он говорил, это все равно что на ромашке гадать. Любит — не любит. Или считать пуговицы. «Так чего ты тогда приехал?» — спросила я. «Есть причины», — ответил он. «И что ж ты здесь делаешь, кроме работы?» — «Так я тебе и сказал». Но кто-то шепнул мне на ушко, когда увидели, куда ветер дует: «У него папаша мясник», — да он и сам себя выдал в воскресенье вечером, на прогулке, когда мы зашли за ферму и остановились поглядеть на свиней: смотрел на них как на что-то знакомое, но словно бы с другой точки зрения, точно сосиски развешивал.

Все равно что гадать на цветах, бусинки нанизывать. Но нас свели вместе хмельные сережки, все началось со сбора хмеля. Так жизнь решает за тебя. Пей до дна, Винси, глядишь, и детишки появятся. Где собирают, там и выбирают. А потом так дальше и катится.

Он притащил газетный сверток, в котором было фунта два фасоли в стручках, — сказал, что ему дал ее один малый с фермы Уика, хотя я-то знала, что он наверняка своровал ее с поля, — и спрашивает, не надо ли мне. И я ответила: давай, если поможешь чистить. Вроде как сделала ему одолжение. Дядя Берт с Бенни оставили меня

готовить ужин, а сами пошли в «Кожаную флягу» пить пиво, тратить свои жетоны, и он бы тоже туда пошел, если б не поджидал этого момента. Фасоль в стручках. «Ладно», — говорит он. Тогда я зашла в хибарку и взяла кастрюлю, два ножа, дуршлаг. Приходилось все таскать с собой, как беженцам: кастрюли, тазы, сковородки, прочую утварь. Потом отправилась к крану, принесла воды и дала ему ножик и только тут улыбнулась этакой неопределенной улыбкой, вроде желтого света на светофоре. Сразу никогда не заметишь, как одно за другое цепляется.

Потом я села на ступеньку у входа, разложила на траве газету, высыпала на нее фасоль, а кастрюлю специально поставила на ступеньку рядом, а то бы он туда уселся, места хватало. И говорю: «Внутри есть стульчик, если хочешь», — но он ответил: ничего, ему и на травке хорошо. Ноги мои лучше видать. Я бросила ему стручок и сразу поняла, что чистить он не умеет. Грудинку порубить он, наверно, умел, но фасоль явно никогда не чистил. «Вот так», — сказала я. Потом зажала дуршлаг у себя между ног, так что юбка вся сморщилась и натянулась. И говорю: «Кидай сюда. Попробуем полный набрать». Потому что хотела, чтобы он видел, чтобы он знал, если уж ему до сих

пор непонятно, что это я, я сама жду, пока меня наполнят. Если только он этот дуршлаг со щитом не спутал. И мы принялись его наполнять. Вместо того чтобы вставать и класть туда фасоль, он целился и кидал, и, конечно, кое-что пролетало мимо, попадало совсем не туда, соскальзывало по моей юбке. Она была старомодная, кремовая с голубыми цветочками и на пуговицах спереди. Он все смотрел на эти пуговицы, считал их, что ли. В общем, дуршлаг мы наполнили. Я спрашиваю: «Ну, что дальше?», наматывая прядь волос себе на палец. Говорю: «Дядя Берт с Бенни еще не скоро вернутся, — а дуршлаг все торчит у меня между коленями. — Может, ты к ним хочешь?» Он сказал, что нет, не хочет, глядя на фасоль. Тогда я говорю: «Подожди. Давай сходим погуляем». Взяла дуршлаг и встала, отряхиваясь от фасоли, досадливо цокая языком, потом забрала кастрюлю, отнесла все внутрь и снова вышла с улыбкой, и он улыбался тоже.

Я подумала: что ты творишь, Эми Митчелл, куда тебя несет? Ты ведь даже не знаешь этого парня. Он тебе даже не нравится, по крайней мере не настолько, не до такой степени. Но вокруг было совсем тихо, безветренно, и так чудесно пахло. И такое чувство внутри меня, промеж меня: напол-

ни. И надо же, чтобы, пересекая дорогу у пруда, мы увидали не кого другого, как моего цыгана с конем. Цок-цок. Все в этом мире случается благодаря совпадениям, что тут еще скажешь. Одно происходит из другого.

Но ты никогда не узнаешь, Джун, что именно благодаря этому произошла ты. Благодаря совпадению. И Джек никогда не узнает, что во всем виноват тот цыган, который попался нам по дороге. О чем-то можно говорить, а о чем-то нет. Ты никогда ничего не узнаешь, и раньше не знала, о теплых августовских вечерах и дуршлагах с фасолью. Ты никогда не узнаешь — да тебе это и ни к чему, может, без этого ты счастливее, — как одно цепляется за другое. Подведи человека к колодцу, и он станет пить. И вот ты уже с животом, пытаешься убедить себя, что виновата не больше, чем он, но все равно понимаешь — от этого никуда не скрыться, — что связала его по рукам и ногам, сказав: да, согласна, во взятом напрокат подвенечном платье, а остальные глядели на все это, точно у них самих на рыльце ни пушиночки. Подцепила — вот как это называется.

Но только после твоего рождения я почувствовала, как он рвется, выдирается прочь и одновременно обращается против меня, словно

теперь все это и впрямь только моя вина, моя беда, а не его. Вот видишь, что ты наделала. Разве не лучше было бы, в конце-то концов, если бы мы сделали то же, что делают другие пары, когда жаркий вечер застает их в зарослях хмеля?

Но я думала: это не наказание, потому что одно ведет к другому, это не кара. Очень важно не считать это карой.

Не знаю, как я наскребла денег. В то лето о сборе хмеля уже и речи не было. Какое там! Ни одного лишнего шиллинга. Зато лишний рот. Правда, кормили этот рот не мы, его у нас взяли. Я чуть ли не на колени стала перед отцом и дядей Бертом. Сказала, у нас с Джеком даже медового месяца не было, так ведь? И теперь — теперь вот что. Имейте сочувствие.

Пожалуй, тогда я готова была бросить тебя, тогда я подошла к этому ближе всего.

Я сказала Джеку: на уик-энд едем в Маргейт. Не спрашивай, я все утрясла. Только уговори своего старика отпустить тебя. Скажи, это наш медовый месяц. Пароходом от Тауэрского моста. Думала: пусть скажет или покажет, что я ему еще нужна, даже если не нужна *она*. И пусть только попробует этого не сделать. А я скажу или покажу, что, пока ему нужна я, все остальное неважно, напри-

мер ты. Тебе никогда не придется узнать, Джун, какими расчетливыми обманщицами мы умеем быть в иных случаях.

Я разорилась на новое летнее платье. Бельишко, туфли, чулки, купальник, полный комплект. Дядя Берт пошел в ломбард и заложил дедовы часы.

Солнце сияло, как будто оно было на нашей стороне, и волны искрились, и я была в новом платье, и так далее. Только вот мать в твоей душе вдруг заявляет о себе, когда ты меньше всего этого ждешь. Про это тебе тоже не придется узнать. Даже когда ты на морском берегу, мороженое и Панч с Джуди, и ты в новом купальнике, восемнадцатилетняя, и мужчины глазеют на тебя. А они таки глазели, со всех сторон. Я точно принадлежала всем разом.

Я думала: что ж, ты получил свой шанс, я дала тебе шанс.

Пирс, Дамба, Пески. Страна Грез.

Я думала, война все изменит, все расставит по своим местам. Начались передряги. Бомбы свистели над Бермондси, погибали целые улицы. Я думала: его могут убить. Или меня. Или тебя. Случайная бомба угодит в приют для безнадежных больных, никто не расстроится, благополучное

избавление, в сущности. До чего подло. Но война просто подтолкнула все туда, куда оно и так катилось. Здесь были ты и я, больше никого из родных и близких, а там Джек, солдат, которого пули облетали стороной, снова превратившийся в холостого. На пару с Рэем Джонсоном. Так что когда Винс Причетт, то есть уже просто Винс, свалился на меня — на нас — с неба, мне следовало бы понять, что это ровным счетом ничего не изменит, его это уже не вернет. Как бы ты ни хотела чего-то, одним хотеньем делу не поможешь. Разве что подведешь лошадь к воде, но как заставить ее пить? Эми Доддс — добрая душа, приютила младенца Причеттов, а ведь у нее у самой-то. Но это ж и есть причина, разве не ясно?

С тех пор так и повелось: мы с тобой, а он с Винсом. Вернее, они с Винсом друг против друга, на ножах, на мясницких ножах. Но борьба объединяет мужчин, не дает им скучать.

Да, Винс, это случилось здесь. Вот где все завязалось. В саду Англии.

И чего ты никогда не узнаешь, так это того, что твое детское убеждение не было ошибкой. Все произошло из-за хмеля, можно сказать, во хмелю. Потому что в корзине. В большой корзине из дерюги, вместимостью в двадцать бушелей,

подвешенной на своих опорах. Полное уединение, точно создана для этой цели. Как кролики в мешке.

И еще ты никогда не узнаешь, что три ночи спустя на том самом холме, рядом с той самой ветряной мельницей, у которой тогда еще были крылья, он посмотрел на меня, прямо мне в лицо, и, не отводя глаз, сказал: «Ты прекрасна, знаешь ты это? Прекрасна». Такого от сына мясника просто не ждешь. И когда это говорит мужчина, все в тебе переворачивается, что-то наполняет тебя целиком. Быть живой, дожить до того, что это скажет мужчина, любой мужчина, и видеть по его улыбке, что он говорит искренне.

Но тебе этого не понять, Джун, тебе этого никогда не дождаться.

О чем-то можно говорить, а о чем-то нет. Учетчик приходил со своими палочками и ножом для отметок, считал бушели, проверял, сколько ты набрала. Каменное лицо: я не кто-нибудь, а учетчик, не думай, что тебе удастся обвести меня вокруг пальца. Молись, чтобы все сошлось, учет дело серьезное. «Так… Митчелл Эми». И никаких улыбок. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, он улыбнулся бы — хоть чуть-чуть, хоть самую малость, — если бы знал, что все произошло в

этой самой корзине.

Вик

Вот и хорошо, подумал я, что на мне еще форма. Девушки это любят. А до конца службы еще с месяц. Опять же и нашивки за целых четыре года.

Но она сказала: «И чем ты займешься, Вик, когда перестанешь плавать на своих лодках?»

Я подумал: ну вот, попался, этого следовало ожидать, уж я-то знаю, что сейчас произойдет. Сначала она глянет на мои руки, мельком, в расчете, что я не замечу, но я замечу. Потом вовсе отведет глаза, словно ее вдруг страшно заинтересовали эстрадные номера, которые показывают в этом импровизированном танцзале, хотя на самом деле ничего подобного — просто ей надо поскорей все обдумать. А потом, когда я спрошу насчет следующего раза, отделается стандартными извинениями.

А ведь пока она была самой лучшей из всех, Пам Саммерфилд, лучшей из моего не очень-то длинного и не очень-то серьезного списка, и не только благодаря своим внешним данным. Энергия, уравновешенность, мужество. Она явно не собиралась ничего упускать, не в ее стиле было

проворонить свой шанс, чтобы потом жалеть, но было в ней и что-то другое, рассчитанное на долгий срок и не вчера возникшее.

И одета она была дай Бог — во всяком случае, для Госпорта в канун Рождества сорок пятого года. В черном и розовом, как будто настроилась нынче на что-то важное.

Оркестр играл «Чаттанугу чу-чу».

«Не на лодках, а на кораблях», — сказал я. А сам подумал: с этой нельзя хитрить, изображать из себя морского волка, да и что это даст: рано или поздно она все равно спросит, так что, может, оно и лучше, что именно сейчас.

И я сказал: «Буду работать в бюро похоронных услуг. У нас династия».

Она посмотрела на меня. И ни единого взгляда на руки. Прямо на меня, и сказала: «Ну надо же, Вик, а я бы в жизни не догадалась. Что ж, по крайней мере, безработица тебе не грозит. — Потом опустила глаза и снова быстро подняла их, словно решилась идти до конца, и только в уголке рта у нее играла улыбка. — Значит, с телами ты обращаться умеешь».

Рэй

«Ну что насчет двора — ударим по рукам?» — говорит он.

Прямо так в лоб и выпалил, этаким наглым тоном — мол, мне-то ты не откажешь, — точно видит, что я думаю: он, должно быть, шутит, с каких это пор у него появилось чем платить? Но он не шутит, он серьезно, и он знает, что стоит только подождать, и я сам вернусь к этой теме, к тому, что ему нужно.

«Опять по рукам? Вроде уж ударили», — говорю я.

«Это разве ударили? — говорит он. — Пока просто договорились».

«По мне, так очень даже неплохо договорились, — говорю я. — Чего еще надо?» Теперь, когда у него на дворе уже две машины и он разбирает их, чтобы потом снова собрать. «Ровер» и «элвис», да вдобавок мой фургон, которым он недавно воспользовался. Можно сказать, поселился там.

«Договорились, конечно, хорошо, и я за это благодарен, — говорит он. — Но это вроде как одолжение мне. Вы сделали одолжение бывшему

солдату, который хотел повозиться с двигателями, чтобы не потерять квалификацию механика. Нельзя же рассчитывать, что это навсегда, так? Не могу же я полагаться только на вашу доброту».

Он достает пачку сигарет, ловко, привычным движением встряхивает ее так, что две штуки выпрыгивают наружу, дает одну мне и щелкает зажигалкой. «Я вам благодарен, дядя Рэй», — говорит он.

Дядя Рэй.

И я думаю: интересно, знает ли он, что я все понял неправильно, всю ситуацию? Думал, ему понравится сидеть у меня под крылышком, как я сам когда-то прятался под крылышком у Джека. Ведь если б не это, я бы не попивал пивко да не покуривал в «Карете» вместе с Винси, а уже лет двадцать пять как лежал бы под крестом в Ливии. Вот я и решил вернуть должок, чем смогу помочь парню после возвращения из армии, чтоб Джеку с ним не возиться. Только Джек-то смотрел на все по-другому, а я об этом и не подумал. Он еще не отказался от своих планов, даром что пять лет прошло. Доддс и сын.

И чего я встрял между ними, сидел бы себе в сторонке.

А сейчас тем более все изменилось, вся кар-

тина стала другой, когда появилась эта девица, что спит теперь под крышей у Джека и Эми, по крайней мере часть времени, с учетом всех моих отъездов и приездов — похоже, у всех вдруг возникла тяга к перемене места жительства. С учетом этих пикников в Эпсоме.

Я слышал, что вы с тетей Кэрол. Мне очень жаль, дядя Рэй.

И может, я никогда не пустил бы Винси к себе на двор, может, и лошадку бы ему не посоветовал, чтобы он смог купить свою первую подержанную машину, — Незнакомка, Сандаун, шесть к одному, — если бы Эми не сказала: «Винси скоро вернется, через месяц-другой будет дома. Наверно, пора нам с этим кончать».

«И еще, — говорит он и останавливается, чтобы прикурить свою сигарету и выпустить большой клуб дыма; он смотрит на него, как на собственную жизнь. Костяшки пальцев у него все черные, потрескавшиеся. — И еще, раз я теперь начинаю свое дело, мне нужно место, чтоб все выглядело нормально. Если открываешь свое дело, без своего места нельзя, правда ведь?»

«Чего-чего ты открываешь?» — говорю я.

«Вы слышали, Рэйси, — отвечает он. Рэйси. Наглеет на глазах. — Я всегда говорил, что зани-

маюсь этим не для потехи, хотя вы, может, и не верили, что это серьезно. — Он берет свое пиво и делает глоток. — Но я хочу все раскрутить по-настоящему, как полагается. А то вы всегда можете сказать: „Помнишь наш уговор, Винси? Извини, но теперь у меня другие планы, так что давай-ка выметайся“. И мне придется очистить двор, так? Куда я тогда денусь?»

«Но у меня нет других планов насчет этого двора», — говорю я.

«Сейчас нет, потом будут, — отвечает он. — Это ведь лакомый кусочек в смысле торговой площади, так, Рэйси?»

Я гляжу на него. И говорю: «Какая еще торговая площадь. Бывшая свалка металлолома. Там до сих пор на воротах „Диксон“ написано».

«Вот-вот, — говорит он. — А Чарли Диксон уж больше года как в ящик сыграл. С тех пор вам ни платы за аренду, ничего. Вкалывали только у себя в конторе. Да лошадок обхаживали».

«И дальше буду», — говорю я. И гляжу на него. А он выпускает новый клуб дыма.

«Так что ты предлагаешь? — спрашиваю я. — За аренду мне платить? С каких шишей?»

Он качает головой. «Нет, я о продаже говорю. В мое полное владение».

Я смотрю на него. Что-то у него в лице такое: мол, лучше не смейся.

«Тот же вопрос, только еще интересней, — говорю я. — На какие шиши?»

«Я предлагаю вам вложить деньги, Рэйси, — говорит он. — В „Доддс моторс“. Вернее, даже не деньги, вам не придется потратить ни пенни. Вложение на время. Пока, конечно, никакой „Доддс моторс“ нет и в помине, но через пять лет будет, это я вам говорю. Вы продаете мне двор, а выручку даете взаймы на пять лет. После этого срока я возвращаю вам деньги с процентами. Если не выйдет — но это вряд ли, — то двор снова будет ваш. Все просто, риска никакого. А как только я налажу следующую машину и у меня появится резерв, вы получите задаток. Это пожалуйста».

Наверное, он догадывается, что я хотел бы засмеяться, да не могу. Я говорю с таким видом, будто я стреляный воробей и меня на мякине не проведешь: «Зачем же мне соглашаться на всякие сомнительные предложения? Я ведь могу взять да и продать двор человеку с деньгами, так?»

Он не торопясь прикладывается к стакану, делает хороший глоток. «Сдается мне, в последний год у вас с этим не горело. Сдается мне, вы были не против, чтоб я держал на вашем дворе свои

машины, причем задаром. Вот и учтите: ваша добрая воля, моя благодарность. Потому я и надеюсь, что мы в очередной раз друг друга поймем».

Я гляжу на него. И думаю: он ведь в свое время от бомбы увернулся.

«Я не настаиваю, — говорит он, — я только предлагаю. А если вам показалось иначе, стало быть, я виноват. Это, конечно, риск, игра. Но это ведь не вам объяснять, правда, дядя Рэй? У вас лошади, у меня машины».

Но он смотрит на меня так, будто твердо уверен, что не промахнулся со ставкой. Глаза его блестят по-особенному. И тогда до меня наконец доходит: он знает. Не пойму откуда, но знает. По атмосфере, потому что сам этим занимался. Спал в моем фургоне. И не только спал.

Лошадок обхаживали.

Вот почему он думает, что я не смогу ему отказать.

«Еще по глоточку?» — говорит он и протягивает руку за моим стаканом, сама любезность, но я качаю головой, как будто не хочу перебивать другое течение. Которое тянет в его сторону.

«А как насчет цены?» — спрашиваю я таким тоном, словно мне это неинтересно, словно я всего лишь привожу очередное возражение,

проверяю его. И думаю: вряд ли у него уже готов ответ, не мог же он всерьез рассчитывать, что я соглашусь.

Но он отвечает мгновенно, даже не убрав руки от моего стакана: «Две штуки. Плюс двадцать процентов годовых за пять лет. Двадцать процентов. На круг пять штук набежит минус задаток».

Все посчитал, стервец.

Он снова выпускает клуб дыма, потом раздавливает бычок, отведя от меня глаза, упершись взглядом в пепельницу, а я смотрю на дым, как он поднимается и рассеивается, потому что и я знаю, и он должен знать — тут и спрашивать ни у кого не надо, — что уж больно это дешево, даже для шестьдесят восьмого года, даже для старой свалки металлолома на задворках Спа-роуд. А если б я знал, что произойдет в ближайшие пять лет, если б я только знал, что принесут с собой эти годы, но Винси и тут все учел, я сказал бы: забудь это, Винси, забудь, и дело с концом. Не продаю я. А пока пользуйся даром.

Главное — не остаться в проигрыше.

Он говорит, глядя вверх: «Что ж, я только предложил. Поднял вопрос, а решать вам. Вы точно не хотите еще пивка?»

«Ага, — говорю я. Потом добавляю: — Хочу», —

на случай, если он не так меня понял.

«В общем, подумайте, — говорит он. — Можете оказаться у истоков „Доддс моторс“. Отец-основатель. Берни! Еще пару!»

Я думаю: может, он и не догадался, но мне этого никогда не узнать.

Тут Берни выныривает из укрытия и снова наливает нам по пинте, и Винс платит за них, а я говорю, прежде чем пригубить: «Есть еще одна сторона вопроса». И сам сознаю, что эти слова увлекают меня по той дорожке, куда он норовит меня загнать.

«Какая?» — спрашивает он.

«Называется „мясная лавка“, — отвечаю я. Мне ясно, что этим я уже себя приговорил. — „Доддс и сын“ называется».

Он замирает, не донеся пиво до рта, с обиженным и растерянным лицом, будто верил, что я его понимаю, а я вот не понял. «Сделайте одолжение, — говорит он, — дайте передохнуть. А я-то надеялся, что вы на моей стороне». С таким видом, будто над ним, бедным сироткой, издеваются все кому не лень.

Потом он вдруг улыбается и поднимает стакан. «Ваше здоровье». Я тоже поднимаю и пью. Он говорит: «Вы все же подумайте». Я отпиваю

еще, молча, а потом говорю: «Я хочу, чтоб у меня там фургон стоял. Где-то ведь надо его держать». Он смотрит на меня и говорит: «Ну ясное дело. Бесплатно. Я даже берусь за ним приглядывать, подремонтирую, если что. А надумаете продать — милости просим, я помогу». Он подносит стакан к губам, и мне мерещится, что он подмигивает.

«Я покамест не согласился», — говорю я.

«Конечно, Рэйси», — отвечает он.

Джек меня не простит, думаю я. Хоть так, хоть сяк, все равно не простит. Обидел человека один раз — значит, можешь обидеть и второй. Я представляю, как он сейчас у себя в лавке рубит и взвешивает и ничего не знает, а мы тут пивко потягиваем. У него всегда было правило: не поддавать во время ланча, ни глоточка, работа с ножами — дело опасное.

Потом Винс быстро допивает свою пинту и смотрит на часы. Руки у него грязные, не то что у Джека. На одной, пониже локтя, наколка синим и красным, в Адене сделал: кулак с молнией, а под ним маленький свиток с его инициалами: «В.И.П.».

«Доддс моторс», с ума сойти.

Он вытирает рот тыльной стороной ладони и говорит: «Надо рвать когти, сейчас клиент придет».

И ухмыляется. Сует свою пачку сигарет в нагрудный карман и соскальзывает с табурета, потом слегка пихает меня в плечо. «Подумайте», — говорит он уже на ходу, как бы между прочим, точно мое решение его вовсе не волнует.

А я остаюсь сидеть, медленно допиваю пиво, достаю свои собственные сигареты и закуриваю, а часы над стойкой подбираются к без четверти три. Потом говорю «Пока, Берни» и отправляюсь к Билли Хиллу, вроде как ни о чем не думая, и ставлю фунт на стиплера[21] в Седжфилде, а сам думаю: это не ради денег, а чтобы решить. Если придет среди первых, оставлю все как есть, если нет — продам. Хотя вообще-то игроку суеверным быть нельзя. И мой приходит четвертым из девяти. О'Грейди говорит, пять к одному. И я выхожу, думая: это ничего не решило, и иду к себе во двор, думая: либо он там будет, либо нет, и если будет, тогда.

Но его нет. На дворе ждут «ровер» и «элвис», блестя на солнце, словно их уже сдали в металлолом: в разных местах не хватает панелей, а у «элвиса» зад подперт двумя стопками кирпичей, и рядом стоят банки с маслом, валяются инстру-

---

21 Примечания: 21
Стиплер — лошадь, участвующая в стипль-чезе.

менты и грязные тряпки. Я думаю: ему нужна яма. Несладко весь день лежать на спине, уткнувшись носом в маслосборник. Фургон стоит около гаража: погода для середины февраля мягкая, а им сейчас регулярно пользуются. Регулярно и нерегулярно. Но в этот момент он свободен. Я думаю: давненько я не выезжал на прогулку, а все из-за того, чтобы этой девице было где ночевать, все других жалею.

Думаю: я готов продать Винсу двор. А Джеку фургона не продал.

Потом я просто стою посередине двора, моего собственного двора, рядом с гаражом, где раньше была конюшня для Дюка, а рядом, на фоне голубого неба с легкими облачками, торчат новые дома, и мосты пересекают железную дорогу, каждый мост — чья-нибудь собственность, и пахнет пылью и ржавчиной, и слышно, как невдалеке проносятся машины, а где-то на строительной площадке что-то бухает. Сначала Джонсон, потом Диксон, потом Доддс, думаю я. Или Причетт. Это вопрос территории. Когда ты говоришь: это мой участок, мое место под солнцем, тогда и начинаются сложности. ТоустерУинкентонХейдок.

Значит, двор будет его.

Но теперь мне кажется, что ничего он в то

время не знал, да и теперь не знает. Ведь если б знал, наверняка намекнул бы, уж сегодня-то не удержался бы ни за что.

Я думаю, что он так нахально пер на меня только из-за своего характера и еще оттого, что в ту пору они с Мэнди баловались у меня в фургоне. Ни о чем не догадываясь. Но все же он заставил меня продать двор за бесценок и здорово потерять на этом — вот и еще одна причина, по которой я мог бы оставить его тысячу себе.

Эми

Можно сказать, теперь он тоже дал мне шанс, вот что он сделал. Услуга за услугу. Припомнил мне мои слова. Это ведь ты, девочка, хотела убедить меня в том, что дела никогда не оборачиваются так худо, чтобы нельзя было попробовать еще разок, что жизнь всегда начинается заново именно в тот момент, когда кажется тебе конченой.

Что ж, воспользуйся этим шансом. Мужчина, с которым ты прожила пятьдесят лет, — в полосатом фартуке, с запасом шуточек для домохозяек — был всего-навсего дублером. И вот он ушел, видишь, как раз тогда, когда ты думала, что настоящий Джек может появиться в новом обличье. Айда все к морю. Чудно это — снова расправить плечи только затем, чтобы отдать концы. Что имеем — не храним, потерявши — плачем, верно, хозяюшка? Берите вырезку, не пожалеете. Так вот он, твой шанс, жизнь начинается сызнова. Лучше поздно, чем никогда.

Хотя в восемнадцать-то лет оно проще.

Он навел на мишень ружье, одним глазом це-

лится, другой зажмурен, и я, конечно, подумала: когда-нибудь ему, возможно, придется стрелять по-настоящему, не в жестяных уточек, а в людей. Или кто-нибудь будет стрелять в него. Наверное, некоторые из посетителей тиров уже в то лето понимали, что это не просто игра. Ну а его, я считаю, призвали как раз вовремя. Увезите меня отсюда, вызволите, отправьте туда, где я смогу начать все сначала. Безвыходных положений не бывает. Пулям не кланяться легче, по крайней мере для него. Эй, сестричка, глянь-ка на этот шрам. Пожалуй, я уже тогда знала, что одних вещей он боится меньше, чем других.

«Пусть попробует ваша девушка. Три выстрела за два пенса».

Но я подумала, вот ведь была дурочка: если он попадет, мы найдем какой-нибудь выход, а если промахнется — никогда.

Может, они чего придумают, сказал он, в наше-то время неужто не придумают? Они. Сделают из неудачного ребенка нормального. Взмахнут волшебной палочкой. Только однажды мы об этом и говорили, в гостиничной спальне с чудесным видом из окошка на трамвайное депо, только однажды у нас зашел разговор о нашей дочери. Потом он сказал: а знаю ли я, что у него была

такая дурацкая мечта, давным-давно, — стать доктором?

Но он же не доктор, сказал он, правильно? Доктор из него как из меня Флоренс Найтингейл.

В общем, я уже поняла, что это не просто спасательная операция, как я рассчитывала, не просто пан или пропал. Маргейт или конец всему. Потому что, может, и нельзя перешагнуть через свою жизнь, но попробуй-ка объяснить это Джун.

Чем я и занималась целых пятьдесят лет.

Самое лучшее, что мы можем сделать, Эм, — это забыть про нее.

Уточки двигались бесконечной вереницей на каком-то невидимом ремне, каждая раскрашена зеленым, белым и красным, но с царапинами и щербинами, следами старых выстрелов, каждая с одним широко раскрытым глазом и изогнутым в улыбку клювом, как будто это сплошное удовольствие — звякнуть, нырнуть, когда в тебя попадут, а потом выскочить снова.

Я стояла рядом с ним на досках Дамбы — вокруг огни, шум, толпа, и чувствуешь, как внизу в темноте шевелится море. А со стороны Клифтонвилла смутно маячили белые утесы. По заливу шел пароходик, не спеша возвращался обратно в столицу, сам на вид такой же подгулявший, как

большинство его пассажиров. Я подумала, может быть, это и ему пришло на ум: попаду или промажу, пан или. Три утки — значит, жизнь еще не пошла прахом. Целился он ужасно долго. Тинь! Одна уточка есть. Еще три проплыли мимо, кося на него глазом. Тинь! Вторая. Тинь! И после того как проплыли еще две со своими выкаченными глазами и улыбками, третья опять нырнула в пруд, которого там не было.

«Отлично стреляете, сэр! Ни одного промаха! Видите, джентльмены, это возможно. Хоть они и с крылышками, а от меткой пули не улетят, верно? Ну как, еще? Что выбираете, сэр? Конфеты, китайский сервиз или плюшевого мишку? Пусть решит ваша девушка, ладно? Она приносит удачу».

И я, как дурочка, выбрала медведя — большого желтого плюшевого мишку. Зачем он мне сдался? Разве только чтобы показать всему свету, что сегодня мой счастливый день, наш счастливый день, и я приношу удачу. Он не улыбнулся, он даже не выглядел довольным. Просто посмотрел на меня, как я улыбаюсь и обнимаю плюшевого медвежонка, точно не понимал, к чему это все. И сейчас, вспоминая это, я думаю: а ведь его-то я так и не обняла за то, что выиграл мне приз. Только прижимала к себе медвежонка и смея-

лась. И думала: куда теперь? Снова на берег или дальше, в конец Дамбы? Наверное, стоило тогда вернуться на берег. Сплошные ошибки, хоть он и выбил три мишени подряд. Но на Дамбу не ходят затем, чтобы повернуть обратно на полпути, приз призом, а прогулка прогулкой, и надо дойти до конца, так полагается. И пока мы шли вперед по этой Дамбе, я чувствовала, что все еще возможно, наш корабль еще на плаву и волны играют и плещутся под нами, и не заметила — а если и заметила, то не обратила внимания, — что улыбка у него на лице стала как у тех уток. И только когда мы дошли до конца, я подумала: это неправда, это всего лишь картинка, открытка с видом на море, и он, наверно, думает то же самое. Как я могу смеяться и улыбаться и вести себя так, будто жизнь — это вечный праздник? До чего же идиотская затея — поехать в Маргейт. Ветер полоскал мою юбку. Мужчины смотрели на меня. Счастливый плюшевый мишка. Я подумала: только ради того, чтобы снова побыть свободной, с этим ветром, и ночью, и морем, и глазеющими на тебя пляжниками. Делай свой выбор. Как будто ты опять в самом начале. ЛамбетВоксхолл.

Ремешок на одной из моих туфелек, еще не разношенных, натирал ногу, и я отдала Джеку

медвежонка, а сама нагнулась поправить. Может, просто хотела спрятать лицо. Думаю, как только я отдала его, мне стало понятно, что он сделает. Он застыл на мгновение, взрослый мужчина, в конце пирса, с плюшевым мишкой на руках, человек в конце пирса. Поглядел на этого мишку, словно не понимая, зачем он его держит, не понимая, какое он имеет к нему отношение. Потом шагнул ближе к ограде. А потом уже не было никакого мишки, был только Джек. Прощай, Джек.

Рэй

Но я не сразу надел плащ и отправился к Билли Хиллу. «Джордж, я ставлю вот эту пачку». Выложи я там штуку наличными, на меня поглядели бы как на дурака. Я потерял бы всякое доверие — кому охота связываться с шизиком. «Что это ты задумал, Рэйси? Похоже, ты свой банк уже сорвал». И кроме того, у меня был бы соблазн ляпнуть в тамошней компании, среди всех этих любителей себя помучить и горемык, рискующих последней парой фунтов: «Это за Джека, я отдаю его деньги. Ну знаете, Джек Доддс, — нужно спасать парня». Надо быть идиотом, чтобы ставить на коня по кличке Чудотворец, надо быть идиотом, чтобы держать такого и тренировать его. Еще подумают, что букмекер мне на ушко шепнул. И все же — предчувствие есть предчувствие, Счастливчик я или нет?

И я прямо тут же, на третьей сигарете, взял трубку и набрал известный мне номер, где должны были принять четырехзначную ставку даже у мелкой сошки вроде меня, и без всяких вопросов. Где мне скажут: «Сколько?», а я отвечу: «Тысяча

фунтов, на победителя, с выплатой налога».[22] И они запишут номер моей кредитной карточки и недрогнувшим голосом повторят за мной имя, Чудотворец, думая: один такой рождается в мире каждую минуту, у нас не самый трудный способ делать бабки.

Тридцать три к одному.

Но совсем другое дело, если ты знаешь. И если ничего не выйдет — а так оно и будет, — то Джек получит свою тысячу назад. Я погашу этот долг из своих, потом отыграюсь. Верну Джеку его деньги, и моя совесть будет спокойна. Цену фургона.

«Принято, мистер Джонсон. Благодарим за звонок».

И это должно быть записано на мое имя, а не на Джеково. Потому что вдруг. Чем черт не шутит.

Потом я кладу Джекову тысячу в особый укромный уголок за шкафом. Ни к чему без нужды таскать с собой штуку наличными. И надеваю плащ, и сую в карман сигареты, и прежде чем выйти, озираюсь, как будто никогда раньше не видел своей комнаты. Самого одинокого места на свете.

Значит, и дом родной продаешь.

---

22 Примечания: 22

Ставки, сделанные не на ипподроме, облагаются налогом.

Я зашагал в сторону «Кареты», думая: если я так уверен, можно было самому пойти на ипподром и поставить собственные деньги или выбрать комбинацию, чтобы покрыть свои потери. Что было бы нелогично, если я знаю, да и в любом случае значило бы искушать судьбу. Это не мой день, а Джека. Надо смотреть проще. Хотя дело далеко не простое.

Или можно было бы пойти к нему прямо сейчас, сказать ему. Наверно, поэтому я и бегу по улице, точно куда-то опаздываю. На пятьдесят третьем автобусе до Святого Фомы, Вестминстер-бридж. Сказать, что его деньги поставлены, но проигрыш пойдет за мой счет. Это все, что я могу сделать, Джек. Только сейчас мне не хочется смотреть ему в глаза или чтобы он смотрел в мои. И если он хоть что-нибудь соображает, он тоже настроит приемник на нужную волну, это ему еще под силу. Трансляция из Донкастера. И тоже будет в курсе событий.

Я захожу в «Карету». Для пятницы тихо. Берни приносит мне пинту и говорит, этак между нами: «Как там Джек?» Я говорю: «Вчера вечером у него был и сегодня пойду. Вопрос времени, Берн». И смотрю на часы Слэттери. Четверть третьего. И Берни качает головой, словно с Джеком произо-

шло что-то немыслимое, чудо наоборот. Я говорю: «Выпьешь стаканчик, Берн? Выпей за мой счет. Заодно сандвич мне принеси. С ветчиной, без горчицы». Высоко на полке, сбоку, работает телевизор: экран наклонен как надо и звук в самый раз, чтобы любой клиент, сидящий у стойки, мог краем уха и краем глаза следить за ходом соревнований, не теряя нити, когда заказывает очередной стакан. Трансляция из Донкастера. Линкольнский гандикап.

Берни приносит мне сандвич, видит, что я гляжу на экран, и спрашивает: «Тоже пару фунтов поставил?» Я говорю: «Да нет, честно сказать. Как-то не ко времени оно нынче, правда?» Берни одобрительно кивает. «Но все равно, свои соображения есть?» — говорит он. «Молчание — золото», — говорю я и откусываю сандвич. Берни улыбается, точно ждал от меня такого ответа. Наливает себе пива, глядя на экран. «Был бы сейчас там, наверно? Если б не обстоятельства». «Ага», — говорю я. Вроде как Джек виноват.

В Челтнеме тоже, на Золотом кубке, потом в Донкастере — первые без препятствий.

«Твое здоровье, Рэйси, — говорит он, подымая стакан. — Не чихай». «И твое», — отвечаю я. «Звук прибавить не надо?» — спрашивает он. Я качаю

головой, и он потихоньку уходит, с полотенцем на плече, как обычно, когда чувствует, что посетителю не хочется разговаривать. Но он видит, как я сижу на табурете, не отрывая взгляда от телевизора, что довольно странно для того, кто ничего не поставил. Видит, как я смолю одну за другой и тушу бычки раньше обычного. Рэйси пьет медленно, но верно. «Плесни-ка теперь покрепче, Берн. Двойную».

«Малость торопимся, а, Рэйси?»

Но когда подходит время моего забега, я чувствую себя не игроком, не рисковым парнем, которому нужен глоток для храбрости. Я думаю как жокей. Чувствую себя жокеем, у которого нет выбора.

Какой-то малый по фамилии Айронс, никогда о нем не слыхал, Гэри Айронс. Тяжеловатое имя для жокея.[23] Я думаю, каково бывает жокею, если под ним конь по кличке Чудотворец. А у самого фамилия Айронс. Я сижу у стойки в «Карете», но чувствую себя жокеем, мои носки упираются в верхнюю подставку для ног, колени напряжены и сжимаются, зад еле касается сиденья. Все, что мне нужно, — это первый удар хлыста. Я смотрю,

---

23 Примечания: 23
Айронс — «стремя», но и «оковы», «цепи».

как он выходит из паддока, широкая грудь, дубленый нахрапник, и направляется к старту, и уже заранее вижу, как он поведет себя в забеге, как возьмет старт и сразу пойдет широким, плавным, ровным галопом, выносливый и уверенный, и думаю: сегодня день этого коня, этого жокея. Что нам наши цепи. И день Джека. А потом я просто гляжу на то, что уже видел, что и так уже знал, даю коню выиграть для меня гонки. Смотрю, как он мчится — такого бега он никогда еще не показывал и никогда больше не покажет, по крайней мере при этих же шансах, — держится посередине, находит брешь, увеличивает скорость, сразу заявляя о себе, как будто решил покончить с легкой разминкой, и — с пятого по порядку места, отставая от лидера корпуса на три, — делает рывок и обходит их всех, точно включив дополнительную передачу, точно ему не хватило еще пары фарлонгов, чтобы как следует разбежаться.

Иногда это чистое торжество лошади.

Я и ухом не веду, когда он пересекает финишную черту. То же самое, когда его ведут обратно к ограждению, и жокей спешивается, и расседлывает его, и треплет по холке, а он наклоняет голову и фыркает, точно не произошло ничего особенного. Сижу с неподвижным лицом, когда

объявляют результат и, в подтверждение, стартовые цены. В сокращенном виде, но мне они и не нужны.

Тридцать три к одному.

«Кому-то сегодня повезло», — говорит Берни. И я отвечаю: «Ага», подымаю свой стакан с виски и осушаю его, глядя через мутное дно. Потом смотрю на часы, свои и Слэттери, ставлю пустой стакан обратно и спешиваюсь, то бишь слезаю с табурета. «Ладно, я пошел, Берн. До встречи». — «До встречи», — отвечает Берни, забирая стакан. Трудно вообразить себе этот паб без Берни за стойкой, так же как и без часов Слэттери.

Потом я выхожу и думаю: надо сразу пойти к нему. Если повезет, на этот раз с автобусом, уложусь в двадцать минут. Надо сразу же ему сказать. Но если он не дурак, он и сам поймет, нутром почует. Счастливчик не прогадал, дело в шляпе.

А еще его тысяча фунтов, которую я спрятал для сохранности. Он должен получить ее обратно, надо ему отнести. И еще будет маленькая проблема с передачей выигрыша, который ведь не может быть выдан наличными, хотя он-то небось думает, что может, — так это, наверное, представляется Джеку Доддсу. Пачка вроде тех,

с какими он имел дело у себя в магазине, только гораздо толще. Тридцать четыре тысячи фунтиков в тумбочке у кровати, этакий загашничек. Сестричка, гляди, чего у меня есть.

Но это будет чек, Джеки. Для удобства я использовал собственное имя. И на кого теперь выписать — на тебя? Или на Эми?

В общем, я вернулся домой, достал Джекову тысячу и пересчитал на всякий случай, хотя ее никто не трогал. Восемьсот банкнотами по пятьдесят фунтов и двести двадцатками. Перезвонил по тому специальному номеру, узнать насчет выплаты, и голос у меня был довольно-таки спокойный для парня, который только что выиграл тридцать с чем-то тысяч. Решил, что налог заплачу сам, а Джек получит чек с тремя нулями. Потом у меня чуть не подкосились ноги. Я подумал: видно, последняя порция в «Карете» была лишней, не надо было переходить на виски. Зачем, если я и так знал? И в больницу нехорошо идти, когда от тебя пахнет виски и пивом и ты еле держишься на своих двоих. Что подумает сестра Келли?

И я сварил себе кофе покрепче и посидел маленько, чтобы прийти в себя. Полчаса погоды не сделают, тем более если он не дурак… Но вместо того чтобы взбодриться, я отключился, заснул

в мгновение ока, и следующим, что я услышал, был телефонный звонок — прошел уже час, хоть я этого и не заметил, и мой кофе стоял там, где я его поставил, холодный и нетронутый, а небо снаружи потемнело, там собирались тучи. Я взял трубку и узнал голос. Это был голос Эми. Но он звучал странно, и я не мог понять, что она говорит. Она сказала: «Все кончено, Рэй, он умер».

Маргейт

Мы въезжаем в город по Кентербери-роуд, мимо старых, облезлых домиков с эркерами, выстроившихся вдоль улицы сплошными рядами, — только здания на морском побережье бывают так похожи на черствый пирог с потрескавшейся глазурью. Гостиницы, комнаты на ночь. Сдается внаем. На фоне серого облачного неба дома кажутся совсем бледными, а на фоне туч носятся маленькие белые пятнышки, как отслоившиеся кусочки белой краски, подхваченные ветром. Чайки. Ветер чувствуется даже в машине, он гуляет по переулкам и набрасывается на нас, и все мы думаем: сейчас оно появится, в любой момент, до него уже рукой подать. И тут мы видим его, поднявшись на взгорок, в открывшуюся между зданиями прогалину: вот оно, море. И весь Маргейт распахнулся под нами, залив, набережная, песчаные пляжи, а там дальше Клифтонвилл, только песка не видно, точнее, почти не видно, потому что прилив на пике, как и предсказывал Вик, и море серое, хмурое и пенистое, как небо, с белой пылью над волнами. И длинная стена

гавани на дальней стороне залива, единственное, что более или менее похоже на пирс, который волны хлещут еще свирепей, — наверное, туда-то нам и надо, там мы и должны сделать то, за чем приехали. А шторм уже назревает.

— Приехали, — говорит Ленни. — Аллилуйя. Мне бы нужду справить.

Две лишние пинты в Кентербери.

— Как будто ждет нас, — говорит он. — Дамба эта.

Вик явно оживляется, точно попал наконец в свою стихию. Я думаю: а не сдует нас с той стены? Я снова держу Джека, в банке, в пакете, и крепче сжимаю его в руках, точно мне уже не хватает балласта. Винс весь спокойствие, внимательность, аккуратность. Он ничего не говорит. В последнем промежуточном порту он перехватил только одну порцию, но мне сдается, все мы рады, что слегка заправились по дороге перед тем, что нам предстоит. Он медленно съезжает вниз с холма, к широкому заливу впереди, а сам шарит глазами туда-сюда. Улица не сказать чтоб запружена автомобилями, туристов тоже мало. Не сезон.

Мы добираемся до набережной, и он тормозит у обочины, не выключая двигатель. Похоже, не

пропустил мимо ушей просьбу Ленни. Кругом сразу столько воды. Чего всегда хватает на морских курортах — это общественных сортиров, и он останавливается неподалеку от одного из них, смахивающего на склад. Но это еще не все. Он открывает свою дверцу и выходит наружу. Дует тут ого-го как. Он огибает машину, ступает на тротуар и обводит взглядом залив — его запачканная белая рубашка полощется на ветру, как знамя, — потом открывает дверцу для Ленни, сама вежливость, ни дать ни взять личный шофер. Кивает головой на домик со слепыми стенами по другую сторону тротуара. «Оправляйся, Ленни», — говорит он, и это звучит так, будто он про себя улыбается. Он словно хочет, чтобы с этого мгновения все было пристойно и как положено, чтобы никому не досаждали мелочи вроде переполненного мочевого пузыря. «Еще кто?» — спрашивает он. Но я позыва не чувствую. Я вовремя перешел на виски, взял пример с Вика.

Ленни выбирается на тротуар, покорный, смущенный. Пока он выходит, сырой ветер с новой силой набрасывается на машину, но Винс, кажется, не обращает на это внимания. Он точно хочет извиниться за то, что первый ступил на землю

Маргейта и вдохнул соленый морской воздух. Я поворачиваюсь назад и вижу, как он распрямляет плечи и поднимает голову. Слышно, как шумят волны. Я держусь за Джека. Крохотные струйки дождя секут ветровое стекло и почти сразу же высыхают, как будто, несмотря на облака, небо слишком взвинтило себя и не может даже разрешиться нормальным ливнем. Ветры пускает, а отлить не может. Ленни встает на тротуар и в свою очередь набирает грудью воздух — у него такой вид, словно ему от этого и хорошо, и немного больно. Он оглядывается, сгорбленный и напряженный, и смотрит на Винса, прямого и высокого, озирающегося окрест.

— Помнишь, Бугор? — говорит он. — Помнишь?

Винс

И я вхожу в больницу с деньгами во внутреннем кармане. Восемьсот бумажками по пятьдесят фунтов, остальные двадцатками, перехваченные резинкой, в конверте. Я думаю: вряд ли еще кто-нибудь, кроме меня, заявляется сюда, как в казино. Надеюсь, он поймет, что это было непросто. Уж насчет наличных-то он должен понимать, у него ведь есть опыт. Может, он считает, что для меня это ерунда, сущая мелочь, раз на мне костюм за четыре сотни и раз я продаю свои драндулеты на месте за живые деньги, но уж он-то должен понимать, что такое прибыль, особенно теперь. Иногда нал течет рекой, а иногда нет. Сейчас он еле капает.

Так что смотри, Хуссейн, не вздумай меня кинуть.

А когда я получу их назад? Умирающему в услуге не откажешь, какая бы глупость ни взбрела ему в голову, но это еще не значит, что. С собой их не заберешь, но он может — он может.

С таким же успехом можно было пойти да швырнуть эти деньги со скалы в море.

Но потом я выхожу из лифта и иду по коридору, а мимо, как обычно, везут тележки и коляски, и вокруг снова этот запах, к которому так привыкаешь, что начинаешь чувствовать его даже в других местах, где его нет. Я чувствую его у себя в салоне. Там пахнет машинами, но я все равно чувствую. Он как запах тампона, который тебе дают после укола, только сильнее, а еще к нему примешивается затхлый душок чего-то старого, изношенного, как запах дряхлой, вытертой до прозрачности кожи. Наверное, так пахнет… я думаю обо всех пациентах этой больницы, лежащих в кроватях, — интересно, сколько их всего, сколько попало сюда сегодня. И еще думаю: я сделал, что он просил, я просто выполнил его просьбу, и если этих денег мне больше не видать, все равно — моя совесть чиста, мне не в чем себя винить.

Так что я шагаю по коридору с высоко поднятой головой, как будто я снова в военном лагере и меня вызвал сержант. Есть в наряд! Гляжу на всех этих скрюченных бедолаг, на старух в креслах-каталках и думаю: у вас небось не отыщется лишней тысчонки, правда? Но это ведь только деньги, не бог весть что. Бумажки — они и есть бумажки.

Я вхожу в палату. Он лежит там со своими трубками, насосами и датчиками, с круглым, как у беременного, животом. Вид у него неважнецкий. То есть даже с учетом болезни. Сегодня он выглядит хуже, чем вчера. Каждый день — маленький шажок только в одном направлении. Но я вижу, какая мысль не дает ему покоя, и решаю обойтись без шуточек, не дразнить его. Вынимаю конверт, быстро оглядываюсь по сторонам, точно вокруг полно воров и шпиков, и отдаю ему, глядя на него, думая: ну вот, теперь можно распрощаться со своими денежками.

«Держи обещанное, — говорю я. — Можешь не считать».

Хотя он наверняка пересчитает, сразу после моего ухода. А пока он просто заглядывает в конверт, на ощупь прикидывает толщину, проводит по краю пачки большим пальцем, а потом смотрит на меня, окидывает взглядом с ног до головы, точно на построении, точно он и есть тот самый сержант, проверяющий мой внешний вид, и говорит: «Хороший ты парень, Винс».

Эми

Теперь они отправятся туда, куда чуть не уехали мы. То ли конец, то ли новое начало. Старые люди, новые люди, а может быть, те же самые.

Он смотрит на меня, сидящую около кровати, — я держу его за руку, его большой палец непрерывно и мягко движется, описывая маленькие круги у основания моего, и я думаю: не так уж долго осталось нам смотреть друг на друга, сколько раз нам еще доведется поговорить? Сначала считаешь годами, десятилетиями, и вдруг они превращаются в часы и минуты. И даже теперь, а ведь это его последний шанс, он не собирается упоминать о ней, не хочет и слова о ней сказать. Как будто мы снова в той же гостинице, что и пятьдесят лет назад, и мне вдруг становится ясно как день, что он и знать ничего не желал. Врачи наверняка что-нибудь придумают.

Он глядит на меня, точно жалеет, что так затянул с переменами, что ему приходится уходить как раз тогда, когда он решил все наладить. Он стал бы другим, верь, девочка, с новой душой, весь мир перевернулся бы с ног на голову только

ради нас. Он точно жалеет, что был таким, каким был. Какой есть. Но и не думает заводить речь о ней, признавать свою вину. И вообще — жалеть-то он жалеет, но виноватым что-то не выглядит. Смотрит на меня прямо, в упор, так что мне приходится отвести глаза — всего на секунду, хотя, казалось бы, сейчас нельзя тратить время на то, чтобы смотреть в сторону. Но я думаю: я всегда буду видеть его лицо, всегда буду видеть лицо Джека, как маленькое фото у себя в голове. Словно в чужих мыслях человек никогда не умирает.

Но он так и не упоминает о Джун. Он говорит о Винсе, который никогда не был нашим и теперь не наш. Говорит: «Винс о тебе позаботится. Он славный парень. И работа у него неплохая». Говорит, что у меня все будет хорошо, обо мне позаботятся, но не говорит, что сам никогда не заботился о Джун, не говорит: «Передай Джун, что я ее люблю».

И я думаю: тогда и я не упомяну о Рэе, не скажу о нем ни слова. Хотя это и для меня последний шанс, время настало, у смертного одра, — теперь или никогда.

Он не заговорит о Джун, поэтому и я не заговорю о Рэе. Все честно. Чего ты не знаешь, то тебя не мучит. Но он смотрит на меня своим при-

стальным, немигающим взглядом, и мне снова приходится на мгновение отвести глаза. Я смотрю на соседнюю кровать — сейчас она пуста, ни одеял, ни простынок, — а когда мой взгляд снова возвращается к нему, вижу, что он и бровью не повел, по-прежнему смотрит на меня и за, как будто хотел бы шагнуть прямо сквозь меня и пойти дальше, а потом развернуться, и прийти обратно, и обнять меня. И он говорит, точно это его последнее слово обо всем, и о том, почему он лежит здесь, а я сижу рядом, держа его за руку, и о том, почему это оказался именно он, почему я сошлась с ним, а не с кем-нибудь из тысячи других, спасибо той летней ночи: «Вся жизнь игра, верно? Это и Рэйси скажет. Но у тебя все будет хорошо».

Маргейт

Это не похоже на финал путешествия, не похоже на последнее пристанище, где хотелось бы окончить свои дни и найти мир и покой на веки вечные. Это не Голубая Заводь. Если посмотришь в одну сторону, за общественный сортир, куда пошел Ленни, там только разбухшее серое небо и разбухшее серое море да серый горизонт, который старается хоть намеком разделить их, а в другой стороне, через дорогу, кто-то будто бы наспех соорудил декорацию, чтобы бросить вызов всей этой серости, — дома смахивают на передовые отряды пограничников, развернутых в цепь для устрашения врага, но вместо формы по ошибке одетых в клоунские наряды.

Фламинго. Тиволи. Ройал. Граб-сити.

— Марин-террас, — говорит Винс. Он уже забрался обратно в машину, и мы ждем Ленни. Похоже, он снова решил сыграть роль гида, как в Кентерберийском соборе, только теперь извлекает факты из головы. — Марин-террас, Маргейт. Золотая Миля. — Но это короткая миля, всего пара фарлонгов, и не шибко золотая с виду, по

такой-то погоде, золотом тут и не пахнет.

БургерыХотдогиМороженоеКоктейлиЧай-ПопкорнЛеденцыСахарнаяВата. Уйма вывесок и цветных фонарей, одни горят, другие мигают, и все дребезжит и трясется на ветру, а на мостовой там и сям лежат поваленные ветром афишные тумбочки на цепях. Большинство игровых залов закрыто, но в двух-трех горит свет, там все сияет и переливается. У одного из входов, в специальной будочке, торчит малый в шляпе с низкой тульей и куртке из ослиной шкуры, явно ждет не дождется конца своей смены. Нельзя сказать, чтобы народ туда валом валил.

— Вот что значит не сезон, — говорит Винс.

Вполне можно представить себе, что Винс — хозяин игрового зала. Разница, в общем, невелика. Салон Доддса с автоматами вместо машин.

Мираж. Золотой прииск. Мистер Би.

На ветровом стекле становится все больше мелких штрихов и капелек, и Винс включает «дворники», но они только размазывают воду, и он снова выключает их. Дождь еще не пошел всерьез, хотя небо темнеет с каждой секундой.

— В самый раз успели, правда? — говорит Вик. — А по утру судя и не подумал бы.

— Главное, что добрались, — говорит Винс.

Море этого не знает.

— Не очень-то удобная погодка для нашего дела, — говорит Вик, как будто до него это никому не приходило в голову.

— Это как посмотреть, — говорит Винс.

Я держу коробку.

— Попутного ветра в спину, — говорит Вик.

Я говорю, просто чтобы убедиться:

— А Пирс где?

— Ты на него смотришь, Рэйси, — медленно и терпеливо отвечает Винс. — Вон та штука впереди, на которую ты глядишь, и есть Пирс.

— Она и на пирс-то не похожа, — говорю я.

— А называется Пирс, — говорит он. — Хотя вообще-то это стена гавани. — И он снова вспоминает о своей роли гида. — Раньше тут была другая штуковина, Дамба, которая выглядела как пирс, по ней гуляли, пароходы к ней приставали. Но ее называли Дамбой, а то, что на самом деле стена гавани, называется Пирсом.

— Разумно, — говорю я. — А что случилось с той другой штуковиной, с Дамбой?

Винс смотрит на меня так, словно я плохо подготовился к экзамену.

— Снесло штормом. В семьдесят каком-то. Помню, Эми мне говорила: «Ты слыхал о Маргейтской

Дамбе?» Наверно, поэтому Джек и написал про Пирс. Он-то хотел, чтобы это был не Пирс, а Дамба. Мы все помним, как по ней гуляли. Но он, видать, сообразил, что Дамбы больше нет, вот и поменял ее на Пирс.

Я начинаю путаться и на всякий случай молчу.

— Отсюда не видно, это, должно быть, за Пирсом, но кусок Дамбы вроде бы еще остался, — говорит Винс. — Стоит в море сам по себе.

— Может, его сегодня смыло, — говорю я.

— Это еще не шторм, — говорит Вик. У него тон знатока.

Ясное дело, нет, думаю я, глядя на водяную пыль.

По небу носятся чайки — можно подумать, что они то ли одурели от восторга, то ли, наоборот, жалеют, что вообще снялись с места.

— Чего он там? — говорит Винс, глядя через дорогу. — Искупаться, что ли, решил?

Потом мы видим, как он появляется из-за стенки, маскирующей вход в мужской туалет. Он замечает, что мы за ним наблюдаем, и специально мешкает в тот момент, когда на него набрасывается ветер, делая вид, что ему трудно идти. Он мрачно смотрит на небо, потом слабо улыбается, как часто улыбаются мужчины,

только что опорожнившие мочевой пузырь. Он выглядит человеком, который всегда последний и знает это, который всегда заставляет других ждать. Он ненадолго останавливается — за ним ограда и серое море, — как будто, раз мы на побережье и он оказался в центре внимания, ему надо выкинуть какой-нибудь смешной номер, но он не может придумать какой и потому просто стоит, неуклюже ухмыляясь, точно его фотографируют. Я в Маргейте. Погодка аховая. Вдруг он подымается на цыпочки, сжимает кулаки, отводит плечо назад, делает выпад правой. Одно его лицо чего стоит — оно и впрямь сгодилось бы клоуну. Потом он тащится к машине, еле-еле — не идет, а плывет, — и открывает дверцу. Ветер кидается внутрь.

— Денек не для пляжа, — говорит он.

— Шальная мартовская погода, — говорит Винс.

— Уже апрель, — вставляет Вик.

— Первоапрельские шуточки, — говорит Ленни.

— Шальной Бомбардир Тейт, — говорит Винс, словно бы ничего не имея в виду, словно это просто так вырвалось.

— Джек Доддс, вот кто у нас шальной, — го-

ворит Ленни, хлопая дверцей. — Вчера первое апреля было. Специально он, что ли, все тут перебаламутил?

Я держу банку, но на этот счет ничего сказать не могу — она не вздрагивает, никаких сигналов. Только ворчит двигатель.

Винс смотрит на отражение Ленни в зеркальце, потом прямо вперед. Мы стоим у тротуара.

— Так, — говорит Вик, словно час пробил.

— Так, — повторяет Ленни.

А я молчу. Мы все точно ждем чьей-то команды, и ее, наверно, надо подать мне, потому что Джек у меня и я должен почувствовать, как он говорит: «Ну ладно, двигай, ребята». Но я молчу. Не принимаю на себя командования.

Винс смотрит вперед, его руки спокойно лежат на руле, как будто мы едем, хотя на самом деле мы стоим без движения. Ветровое стекло все серебрится, небо как свинец. Потом я открываю рот, чтобы сказать «Ну, поехали», и мы вдруг начинаем двигаться. Словно Винс так ничего и не сделал и автомобиль решил за нас, словно мы просто груз, а «мерседес» тронулся сам по себе: щелк — и поехал, как та лента, которая увезла гроб с Джеком за синие бархатные занавески.

Это не похоже на конец пути, не похоже на

цель, к которой ты стремился. Здесь как будто стараются растянуть на весь год то, что случилось в одно счастливое воскресенье. Так вот что ты получаешь, вот к чему ты приходишь. Я думаю, это оттого, что каждому хочется снова стать малышом — совочек с ведерком и полное пузо мороженого. Или оттого, что здесь чувствуешь себя на краю, хотя ты и так на краю, в другом смысле, и знаешь это. Не куда приходит дорога, а откуда она уже не ведет дальше, потому что утыкается в болото. Конец пути, конец пирса. Плюх. И если бы побережье само по себе было таким замечательным, к чему тогда устраивать всю эту китайскую ярмарку с увеселениями? Все пытаются раздразнить твои чувства, точно компания старых проституток. Как будто это не берег Кента, а район бардаков в Каире.

Фламинго. Тиволи. Ройал.

Винс позволяет машине медленно катиться вперед, он едва прикасается к педали газа, как будто наш «мерседес» сам знает, что делать, у него свое соображение — Дюк вот тоже всегда приходил домой сам, и я понимаю, почему Винс так себя ведет, что у него на уме. Наш автомобиль как бы стал катафалком, большим синим катафалком. Ведь это последнее путешествие Джека, по

Марин-террас в Маргейте, вдоль Золотой Мили. Последняя ездка сегодня, да, Джек? Винс смотрит прямо вперед, руки на руле, словно не хочет ни на что отвлекаться. Мираж, Золотой Прииск, Океан. Все они размалеваны и разукрашены, как дворцы для бедных, — только в конце ряда маячит, возвышаясь над ними, простая кирпичная башня, а на ней несколько крупных слов. Это смахивает на вход в тюрьму, а не в парк аттракционов. Мы уже миновали башню, но все видели, спускаясь с холма, край большого колеса за ней и высокую горку, черную и тонкую на фоне серого неба. Этим и знаменит Маргейт, ради этого сюда и едут люди. Страна Грез.

Эми

И единственное, чего я хотела, единственное, на что надеялась все эти пятьдесят лет, — поверь мне, я никогда не просила слишком многого, — это что ты посмотришь на меня, хоть разок, и скажешь: «Мама». Не так уж много за полвека. Черт побери, тебе ведь пятьдесят лет. Ты уже свила бы себе гнездышко, не захотела бы оставаться со мной, жила бы по-своему. Ради Бога, мама, я уже взрослая. Что ж, ладно, пожалуйста, раз ты взрослая, поступай как знаешь. Твоя жизнь, охота губить — губи.

Я пыталась понять, каково это — быть тобой. Вечно в этом приюте, куда я только наезжаю. Всегда в этом теле, которое я вижу лишь дважды в неделю. Хотя это не так уж трудно, правда, — ведь когда-то оно было частью моего? Плоть от плоти. Но я думаю, когда перерезают пуповину, то заодно отрезают и все остальное. Тебе говорят: теперь ты сама по себе, ты другая и отдельно от всех, как любой человек в этом мире, а думать иначе — чистая глупость. И если сложить все мои визиты, по два раза в неделю, выйдет, что мы

провели вместе чуть больше года — не слишком много за пятьдесят-то лет, не слишком много для матери и дочери. Но если поглядеть с другой стороны — целый год одних только посещений.

Вот кто я есть, вот кем я была — посетителем. И когда пришла посмотреть на Джека, в той маленькой комнатке, а Винси ждал снаружи, — пришла посещать Джеково тело, как, можно сказать, делала и при его жизни, хотя сколько таких посещений было за пятьдесят лет, я не считала, и подумала: ну и в чем разница? Теперь он уже никогда не превратится в кого-то другого, но не обманывай себя, Эми Доддс, это и живому Джеку было не под силу.

В общем, что верно для тебя, то верно и для него. Может быть, поэтому он никогда и не навещал тебя — потому что уже посетил себя самого, как-то умудрился посмотреть на себя в той комнатке, где лежало его тело, понял, что уже не изменится. Может быть, он принес тебе эту жертву: нет надежды для тебя, значит, нету и для него. Пожертвовал всеми другими Джеками, которыми он мог бы стать. Но посмотри на дело иначе. Может быть, Джек Доддс, мой муж, был святым, а я этого не знала, никогда не умела соответствовать. Была слабой и эгоистичной. Привет, мам.

Самое лучшее, что мы можем сделать, Эм, это…

Негодяй, мясник, вот ты кто.

Я стояла там, положив руку на его холодный лоб, холодный как камень, и думала: это единственный Джек, какой только был или будет, один-единственный, мой бедный-бедный Джек. Думала: его вынули из холодильника, а потом засунут обратно, как сам он делал со своей говядиной и свининой. Скажи что-нибудь, Джек, хотя бы передо мной не притворяйся мертвым.

Думала: ради Винса я должна выглядеть сильной, несломленной. По крайней мере, мы дали этому несчастному мальчишке крышу над головой.

«Пойдешь посмотришь на него, Винси?» — сказала я.

Я пробовала понять, каково это — быть тобой, девочка. Понять, что значит быть лишенной того, чего лишена ты, и даже не знать об этом. Я пыталась понять, лучше было бы или хуже, если б мы знали заранее и имели выбор, избавить тебя от твоей жалкой доли еще до того, как ты узнала, что ты — это ты. Если, конечно, ты вообще об этом узнала. Тогда мы с Джеком получили бы свободу и смогли бы вести разные жизни, если бы ты положила за это свою. Твоя жертва.

Только похоже, что этот вариант не принес ничего хорошего Салли Тейт, бедной неудачнице, — ни сразу, ни потом. Похоже, и она переключилась на посещения. Муженек в тюряге. Потом ее тоже стали посещать, с платой за постой. На это живут, можно понять, что доводит женщину до такого существования. А Ленни Тейт повернулся спиной, умыл руки. Твоя жизнь, охота губить — губи. Хотя у него и от собственной-то немного осталось, судя по его виду в последнее время, он и сам превратился в развалину. А что до Джоан Тейт, повернулась она спиной или нет, я не знаю. Хотя, по-моему, она всегда знала, что Ленни на меня заглядывался.

А потом, это ведь преступление, как считалось тогда, в злое старое время. Вам нарубить, хозяюшка? Хотя почему преступление, когда добрая половина человечества, если поразмыслить, если вспомнить обо всех страданиях, добрую половину жизни думает, что лучше бы вовсе на свет не родиться? Нам с тобой еще повезло, Джун. И как ни крути, факт остается фактом: Салли по-настоящему хотела Винса. А я так и не перестала хотеть Джека. Всем нам прямая дорога в Страну Грез.

Зеленая фасоль. Дуршлаг. Вместо головы сито, и так далее.

Автобус сегодня еле ползет. Наверно, из-за дождя: улицы превратились в реки. Погода мерзкая. Но автобус всегда добирается до места. Я нынче опоздаю, девочка, но что тебе за печаль, разве ты когда-нибудь замечала, утро на дворе или вечер? Хотя иногда, по понедельникам и четвергам, мне казалось: а вдруг ты ждешь. Думаешь: сегодня понедельник, сегодня четверг, значит, она приедет. Надеюсь, что приедет, надеюсь, она никогда про меня не забудет.

Тем более что я не хочу, чтобы сегодня мое путешествие закончилось быстро. Есть время подумать, пока тащится автобус, есть время подготовиться к тому, что мне надо сказать.

Я старалась, я ждала и надеялась все пятьдесят лет, и теперь ты не можешь меня упрекнуть. Ты можешь упрекать меня за то, что вообще родилась, но за то, что будет теперь, нет. Пятьдесят лет — немалый срок. Наверное, многие в этом мире думают, что родиться было ошибкой, но уж коли родился, так не хнычь, терпи. Это и к тебе относится, девочка, даже к тебе. Только ты теперь можешь показать, доказать: это не то же самое, как если бы тебя вовсе не было, появись ты на свет или не появись — все едино. Пятидесяти лет довольно, чтобы вырастить ребенка. Прости

меня за все ложные надежды и обещания, за минуты слабости, прости за всех этих дублеров, Винси-Салли-Мэнди. Но это не освобождает тебя от обязанности быть той, кто ты есть. ДжунДжунДжун.

Теперь мне придется заботиться о себе. Впрочем, ты этого не знаешь, не можешь знать. Посмотри на меня — жалкая беззащитная вдова, сидит в сорок четвертом автобусе, на втором этаже, хотя одному Богу известно зачем, в такую-то погоду, что ты увидишь за мокрыми окнами, кроме этой мерзости. А Бермондси сейчас глушь глушью. Там, где ты есть, безопасней, поверь мне, девочка. И вот, потому что мы опаздываем и в школах уже кончились уроки, нам пришлось затормозить у остановки, где их целая толпа, вопящих, чтоб посадили. Нахальная мелкота в темно-синей форме. Все завалились наверх, толкаются, пихаются и орут, как будто нормально говорить не умеют. И я понимаю, что это всего лишь дети, они просто спускают пар, но пугаюсь чуть ли не до полусмерти. Я испугалась бы вдвое меньше, будь Джек еще здесь. Хотя какая разница, ведь здесь-то его все равно не было бы. Он был бы там, за своим прилавком, отличное мясцо, сударыня, а не здесь, в автобусе, вместе со

мной. Ни разу не съездил повидать тебя. И никогда не спрашивал: ну как она? Как там Джун? Но меня до смерти пугает, что хоть он и не здесь, его нет и там, где он всегда был, рекомендую кусочек окорока. Он даже не лежит на больничных подушках, где тоже словно целую вечность пролежал, целую жизнь, принимая посетителей. Ты вот что, Эм, ты приходи ко мне. И даже тогда не упомянул твоего имени. Теперь его нигде нет. Или он уже смыт в море или смешивается с песком на маргейтском пляже, если все прошло по плану, если погода не помешала закончить дело. И я знаю, что они будут думать, что они скажут: надо было ей поехать, надо было быть здесь, это ее долг. Что ж, корите меня и за это, Эми виновата. Но кто-то же должен сказать тебе.

Что я хочу сказать — черт возьми, это ведь твоя вина. Что никто тебя не целовал, никто по тебе не скучал, одна я. Твоя, черт побери, забота. И, конечно, не стоит надеяться, не стоит и думать, что после пятидесяти лет без взгляда, без звука с твоей стороны ты ждешь сейчас, зная, собираясь сказать: я понимаю, всегда понимала. Ты права. Забудь меня.

А я собираюсь сказать: прощай, Джун. Прощай, Джек. Они кажутся мне одним человеком. Теперь

нам придется жить друг без друга, идти разными путями, каждой своим. Мне надо подумать о собственном будущем. Что-то Рэй говорил на этот счет, сколько у меня не хватает.

Помнишь ты Рэя, дядю Рэя? Однажды мы приходили к тебе вместе с ним, в то лето, когда я пропускала четверги.

Теперь я буду принадлежать только себе. Но я не могла просто перестать ездить, не сказав тебе прямо в глаза: прощай, Джун. И не могла не сказать еще одного, ведь две эти вещи связаны. Ты все равно не поймешь, но кто-то должен сказать тебе, а больше никто этого не сделает. Что твой папа, который никогда не навещал тебя, которого ты не знала, потому что он не желал тебя знать, что этот твой папа.

Рэй

Когда он раздевался до пояса, чтобы взяться за дело, будь то погрузка машины или перетаскивание боеприпасов, или когда посещал места, которые в армии, и нигде больше, называют санбытпомещениями, а однажды когда он дремал в теньке, под взорванной стеной в Матрухе, а мне полагалось нести караул — солдат почти всегда готов что хочешь отдать за часок сна, — я залезал к нему в нагрудный карман и доставал оттуда бумажник. Прямо как вор, только я ничего не брал, а просто вынимал ту фотографию и завидовал ему. Чтобы сохранить рассудок в пустыне, люди делают и более сумасшедшие вещи. Хотя если бы я был на его месте и она принадлежала мне, я не мог бы использовать его в роли своего щита и хранителя, так сказать, заслоняться им от пуль. Я не был бы малышом, прячущимся за чужой спиной, а был бы здоровым парнем впереди. Крупной мишенью.

И в любом случае я чувствовал бы себя еще более слабым и беззащитным после того, как до меня дошло известие о смерти отца. В военное

время новости ходят медленно. Он умер много недель назад, а я и не знал этого. Он был уже мертв, когда я сидел на верблюде с Джеком, когда мы выбирали себе девок в борделе. Умер, едва я ступил на африканскую землю. Я и Африка. Ну что ж, Рэйси, сынок, хоть на мир поглядишь, увидишь что-нибудь кроме задворок Бермондси, только сиди тихо, не высовывайся, вот что я тебе скажу. Я никогда не понимал, как можно выполнить оба этих совета одновременно.

Его доконала не бомба, а слабая грудь. Наверно, вы не поймете, отчего это так прямо сказалось на моей тревоге за собственную жизнь — его уход, когда он все равно был далеко, что живой, что мертвый. Но у меня пропало чувство поддержки, чувство резерва. Ты замечаешь, что очутился на переднем крае, что ты следующий.

Странно думать, что все вышло наоборот. Когда казалось бы. Ведь аккурат перед тем, как получить это известие о нем, я послал ему открытку: мол, жив-здоров, загораю на солнышке, хотя и не пожелал бы ему присоединиться ко мне. При том, что человеку его профессии тут было бы раздолье — вон сколько бесхозного железа валяется, — и климат для его легких что надо: тепло и сухо, только вот пыль, да дым, да бензиновая

гарь, да мухи эти чертовы. А он, наверно, собирался с духом, готовился получить похоронку: извещаем вас, что рядовой Р. Джонсон сыграл в ящик. «Хоть об этом ему теперь не беспокоиться», — сказал Джек. Сам валялся под той стеной, точно мертвый. А я думал о том, что когда-нибудь мне, возможно, придется сказать этой девушке на фотографии: «Миссис Доддс? Эми Доддс? Вы меня не знаете, но я дружил с Джеком. В Африке. — Держа в руках то, что по-армейски называется „личные вещи“. — Меня зовут Рэй Джонсон. Я тут неподалеку живу».

И запомни, Рэйси, сынок, — ты не металлолом собирать родился.

Этот снимок сделали на побережье. Сразу видно было. Летнее платье, летняя улыбка, пляжный фотограф. Теперь-то я знаю где.

Мы поворачиваем вдоль набережной, все тем же черепашьим шагом, медленно, торжественно и благопристойно. Но если мы хотим опередить дождь, надо бы поторопиться. Хотя стоит посмотреть на водяные брызги, фонтаном взлетающие над стеной гавани, то бишь Пирсом, как становится ясно: все одно вымокнем. Ветер, похоже, дует как раз поперек залива, с запада на восток. Дома здесь уже не такие капитальные, и дорога

между ними и морем не такая широкая. Они кажутся хрупкими и какими-то жалкими — потому ли, что больше открыты стихиям, или потому, что им с самого начала нечем было особенно похвастаться. Кофейня Марио. На окнах некоторых домов ставни — видно, хозяева покинули их навсегда. Кондитерская Роуленда. Рубин — пиво всех сортов. Я гляжу на рубиновую физиономию Ленни — наверное, он тоже приметил эту вывеску. По-моему, мы все отметили ее про себя. Казанова — блюда на вынос. Роковая женщина — аксессуары и парфюмерия.

Не так уж это много. Не о чем и домой писать, если ты наконец попал сюда. Если море — это просто море, мокрая пустыня, а все остальное чепуха, не заслуживающая внимания. Пирс, почтовая открытка, монетка в щель автомата. Пожалуй, можно сказать, что Джеку и Эми повезло, точнее, повезло Эми. Убогая мечта — сюда переехать. Хотя мечты — они все убогие.

Тридцать четыре тысячи.

Я мог бы посмотреть мир. Не везде же одни моря да пустыни. Махнуть на край света. Сидней, Бонди-бич, куда там Маргейту. Поглядеть на Сью, прежде чем она получит извещение, что… прежде чем она скажет Энди, который, наверно, уже

не носит ту афганскую куртку: «Это мой старик».

Сыграл в ящик.

Я скажу ей: извини. Извини, что перестал писать. Потому что первым перестал я, не спорю, но у меня были свои причины. Я человек маленький, но у меня есть своя гордость, и в некоторых вещах мне трудно признаваться. Это все из-за Кэрол. Потому что она бросила меня, променяла на другого такого же олуха, и мне было стыдно и боязно говорить тебе, ведь я думал, что ты подумаешь, поскольку вы с ней всегда были на ножах: это я виновата, или решишь, что я набиваюсь на сочувствие или что это имеет какое-то отношение к твоему отъезду. Я думал, что вовсе не писать будет лучше, чем сочинять всякое вранье, вот и перестал. Правда, теперь, когда ты все знаешь и знаешь, что я молчал чуть ли не двадцать пять лет, это может навлечь на меня подозрение и похуже. Ведь все двадцать пять лет ты могла думать, что на другом краю света живем мы с Кэрол, а главное, я, и мы просто решили не писать. С глаз долой — из сердца вон. Радовалась, наверно, что сбежала от таких родителей. Но вот он я, наконец явился и говорю тебе это прямо в лицо. Кэрол оставила меня через полгода после тебя, это факт. И еще один факт: по ней я давно

перестал скучать, что ж поделаешь, зато по тебе скучал всегда.

Ну а где внуки-то? И бассейн. А медвежат коала покажешь?

Я мог бы посмотреть мир. Это лучше, чем мотаться по ипподромам. ЧелтнемЭпсомЮттоксетер. Лучше, чем лошадок обхаживать. Слыхали? Старина Джонсон, Счастливчик, бросил скачки, больше не играет. Мир полон одиноких, невезучих людей — они трутся на ипподромах, заключают пари, дожидаются результатов футбольных матчей, рвут пополам счета, а есть и такие чудаки, которые по воскресеньям клады ищут.

А потом я сказал бы Сюзи: есть еще кое-что, о чем ты не знаешь. Я ведь не один приехал сюда, в такую даль, — нет, дочка. Погоди-ка секундочку. Тут вот со мной… это Эми. Помнишь — твоя тетя Эми, как ты ее всегда называла. Хотя теперь-то она уж не тетя тебе, все теперь малость по-другому. Думаешь, с чего мы пустились в это путешествие? Это не просто поездка к родным, не просто старикам на месте не сидится.

И тут наступит момент, когда надо будет все выложить начистоту. Расколоться. Мы с тетей Эми. Прямо как твоя мать и… Но между прочим,

сначала надо будет уладить дело с Эми, спросить у нее, набраться духу. Без спросу ничего не получишь, кто не рискует, тот не выигрывает, первая заповедь игрока. Хотя иногда вороши не вороши старые угольки — все равно ничего не найдешь. Только золу. Она сказала: «Надо кончать с этим, я снова начну ездить к Джун, — с видом монашенки, удравшей из монастыря. — Я не могу не видеться с Джун», — сказала она.

Как насчет прогуляться в Австралию? На край света?

И допустим, она скажет: «Забудь об этом, Рэй, все кончилось двадцать лет назад, разве не так? Мы уже старики». Или просто: «Забудь об этом». Может, лучше и дальше жить одному, как оно, в общем, всегда и было. И по миру ездить одному, и на край света одному отправиться, с тридцатью тысчонками в кармане вместо балласта. А кому какое дело. Винси ведь даже не знает, куда делась его тысяча. Тут можно быть спокойным.

Еще раз такое не выгорит, чудеса не повторяются. Да и в любом случае — это вроде как Джеков подарок, с какой стороны ни посмотри.

А может, надо просто отдать ей деньги и голову не морочить. Держи, Эми, здесь тридцать тысяч, чтоб тебе жить спокойно. Я тут ни при чем — бла-

годари Джека да еще одну лошадку. Только как ей остального не рассказать? Это ведь было что-то вроде знака, вроде разрешения, как будто он нас благословил: продолжайте, мол, там, где остановились. А потом то же самое, пан или пропал, вся жизнь на волоске: да или нет. Что скажешь, Эми? И весь мир узнает, счастливчик я или только прикидывался. Не я буду на мир смотреть, а он на меня. Рэйси у нас темная лошадка, верно? Лихо все провернул, ничего не скажешь.

Но он-то, выходит, знал с самого начала. Вот оно что получается. Все продумал, сметал, как говорится, на живую нитку. Вернее, на мертвую, чтоб уж не разошлось. Словно сказал мне: вот моя рубаха, Рэйси, не стесняйся, бери и носи. Тебе бы и раньше ее носить, если б в этом мире всем заправлял не только слепой случай, если бы нам дано было видеть и выбирать. Ты и Эми. Если бы мы могли выбирать. И ты приходил бы первым в скачках на дерби, а Ленни стал бы чемпионом в среднем весе. А я был бы доктором Килдером.[24] А Вик? Что ж, Вик, наверно, и так на своем месте, с ним, кажется, все в порядке.

В общем, носи на здоровье. Может, она тебе и

---

24 Примечания: 24
Доктор Килдер — герой телесериала.

великовата, но ходить ты в ней сможешь.

Если бы мы умели видеть. Перед нами уже начало Пирса. Барнаклс — пиво на любой вкус. Клуб Танет — бар, бильярдная. Если бы мы умели видеть и выбирать. Тогда букмекеры разорились бы. Но некоторые вещи все равно случаются, так что грех сетовать. Как будто не мы их увидели и выбрали — хотя и выбрали бы, если б увидели, — а они нас и случились с нами, так что мы тоже не остались в стороне, нас тоже не забыли, хоть мы и не самые рослые, ловкие, ухватистые и смышленые парни в округе. Небо осело вниз, вот-вот лопнет, и Винс ищет местечко поставить машину, а я думаю: банка у меня в руках, но я не заслужил этого. У моря цвет одиночества. Цвет мокрого праха. Собирается дождь. Ах, Рэй, ты самый чудесный на свете. Дожить до того, чтобы услышать такое от женщины, пусть это и неправда. Ты лучше всех. Стук дождя по крыше, шум толпы, как шум волн. Со слезами на глазах, голосом, хриплым от волнения: ах, Рэй, ты чудеснее всех, ты счастливый, ты лучик солнца, лучик надежды.[25]

---

25 Примечания: 25
Ray (англ.) — луч.

Джек

Он говорил: «Знаешь, сынок, тут вся штука в отходах. Ты пойми главное: привозишь в магазин одно, а уносят оттуда совсем другое. Все искусство мясника в том, чтобы избегать отходов. Если бы мясник сумел получить деньги за то, что он выбрасывает в таз, за жир и всякое такое, он был бы счастливым человеком, верно? Он бы и в ус не дул. Если ты вычтешь вес отходов из того, что купил на рынке, и разделишь на результат то, что заплатил сам, выйдет настоящая цена, которую и надо сравнивать с выручкой. Никогда не забывай об этом. Ты будешь платить и за кости, и за жир, и за усушку, и за тупые ножи. А дороже всего обойдется тебе плохое хранение и плохая разделка, после которой остается много дурных, не годных в продажу кусков. Надо постоянно следить за отходами, постоянно. Ты пойми, в чем беда с нашим товаром. Он слишком быстро портится».

Маргейт

Винс ставит машину, а я держу банку, думая: не заслужил я, не заслужил. Между дорогой и морем кусок обычной земли, в центре которого стоит приземистое здание с башенкой и часами, таможня или что-то в этом роде, а дальше начинается Пирс. С одной стороны гавань с покатым бетонным покрытием, она будто зажата у Пирса под мышкой, а с другой — просто высокий берег с парапетом, изгибающийся в противоположном направлении, вдали маячат скалы, белые в сером свете, и чайки вокруг выделывают свои трюки или усаживаются на парапет, не торопясь складывать крылья. Словно в той стороне уже не песчаный пляж, а открытое море, Северное море, следующая остановка Норвегия, а Пирс построили специально для того, чтобы отгородить залив с пляжем и гаванью, защитить их от стихий. Только сегодня стихии атакуют с другого бока.

— Ну вот, — говорит Винс и открывает свою дверцу, заодно выключая зажигание. — Пошли дело делать. — Точно эта медленная езда по набережной потихоньку заводила в нем скрытую

пружину и теперь он должен двигаться быстро. Но и небо советует нам пошевеливаться, ясно, что долго оно без ливня не выдержит. Винс смотрит вверх и поднимает чашечкой руку — проверить, нет ли дождя, а заодно и поторопить нас, манит пальцами наружу. Пока там только отдельные капли, ничего серьезного, но волны будто знают: вот-вот бабахнет. Они скачут и мечутся, как звери в час кормежки, точно им не терпится еще больше вымокнуть.

— Может, обождем чуток, — говорит Ленни. — За лишние десять минут Джек не обидится.

— Этот дождь не пройдет, — говорит Вик. — Зарядит надолго.

Есть, капитан.

Винс идет к багажнику и достает пальто, оставив свою дверцу открытой. Холодный ветер снова бросается внутрь машины, а с ним и запах моря: тут и бодрящая свежесть, и в то же время воняет дегтем и какой-то дрянью, точно в корабельном трюме. Этот запах сразу напоминает что-то знакомое, напоминает морской берег, хотя я-то никогда на побережье не бывал. Нам с тобой, Рэйси, или пирс у Тауэрского моста, или ничего. Оно пахнет, как сама память, словно ты угодил в вершу для омаров.

Винс опять появляется в поле зрения. Он несет все наши плащи и куртки, этакий добрый папаша, но мы сидим неподвижно. Наверное, испугались. Все разом. Винс стучит кулаком по крыше над Виком и Ленни, и Ленни невольно втягивает голову в плечи, рот его разъезжается в длину, глаза вылезают на лоб — ни дать ни взять лягушка.

— Ну давайте, — говорит Винс, — пошли.

Вик открывает дверцу, и Винс дает ему плащ. Я тоже открываю свою, но остаюсь сидеть, сжимая в руках банку, как будто она вдруг стала слишком тяжелой. Винс обходит машину кругом, чтобы забрать ключи, и кидает мое пальто на свое сиденье, откуда мне легко его достать. Я смотрю на него, держа банку, точно говорю: не хочешь ли? Может, возьмешь? И он говорит: «Неси его, Рэй», — будто вспоминает, что сам уже носил эту банку и даже выбросил оттуда немного, кусочек Джека, который мы не довезли до места. «Неси его». Стало быть, Джек пока при мне. «Пакет, наверно, больше не нужен, как по-твоему?» — говорит Винс. Я вынимаю банку и роняю пакет к своим ногам. Джек Артур Доддс. Капли начинают падать чаще. Я беру плащ и вылезаю из машины, Ленни тоже. Винс дает ему пальто, захлопывает

дверцу и запирает ее. Мы все стоим на ветру и под шум моря натягиваем на себя свои шмотки. Я надеваю кепку поглубже, чтоб не слетела, — Джек мешает мне, но я не хочу ставить его на асфальт. Банка на глазах становится мокрой и скользкой. А вдруг уроню? Винс стоит с непокрытой головой, его гладкие волосы аккуратно зачесаны назад, но я уже надел кепку, хоть и думаю: может, не стоило?

— Ну-ну, давайте, — говорит он, — пошли. — И нам перестает казаться таким уж странным, что мы ехали сюда весь день, а теперь вот вдруг заторопились. Когда думаешь об этом заранее, представляешь это в мыслях, все выглядит спокойно и торжественно — Вик подсказывает на ушко, что делать, руководит церемонией, и для спешки и беготни просто нет места. Что ж, доберись мы сюда пораньше — а ведь могли бы, — у нас были бы простор, солнце, покой, время. Но погода словно подгоняет нас, стихии как будто не столько преграждают нам путь, сколько подталкивают нас в спину. Словно мы все время балансировали на краю, а теперь отступать уже поздно. Потому что небеса вот-вот разверзнутся.

Пирс шире, чем казался издалека, он широкий, как дорога, а это значит, что мы не так уж сильно

промокнем, во всяком случае не от брызг. Со стороны открытого моря, где волнение должно быть сильнее, хотя сейчас все наоборот, вдоль всего Пирса идет плоский барьер высотой в несколько футов — как защитная стена, только наверху что-то вроде обломков старой ограды и фонарных столбов, коротких и ржавых, — наверное, в прошлые времена можно было гулять по этому барьеру, если, конечно, не бояться, что тебя сдует. Но теперь он закрыт, ступеньки наверх все обвалились, а внизу, на основном уровне, по которому идем мы, стоят знаки с надписью «ЧАСТНЫЕ ВЛАДЕНИЯ — ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Так что мы могли бы развернуть машину и убраться восвояси, оправдание есть. Извини, Джек, чужие владения. Хотя кто нас остановит в такую-то погоду? Вокруг ни души. Да и вообще — особые обстоятельства, особый случай, особая миссия. Знаки точно подхлестывают нас, вместо того чтобы помешать.

Пирс широкий и крепкий. Я рад, что это не дамба, тем более что море так и бесится внизу. Но он весь в выбоинах, неровный и латаный-перелатаный, поэтому пройти по нему и в хорошую погоду было бы нелегко. С внутренней стороны барьера сделаны полукруглые ниши, там полно камней,

ржавых банок и всякого мусора, а дальше, где барьер становится выше, к нему приткнулись запертые сарайчики и пристройки для хранения Бог знает чего — краска на некоторых из них совсем облезла, и дерево под ней серое, трухлявое.

Надо сказать, все это здорово смахивает на свалку.

В длину этот Пирс ярдов двести — двести пятьдесят, но Джек велел с конца, специально про это написал. Мы идем вперед, растянувшись цепочкой, но как будто не по своей воле, а из-за ветра, точно каждый из нас в одиночку борется со стихиями. Мы держимся правее, подальше от моря и его брызг, хотя иногда большие фонтаны все-таки достают нас, капельки колют лицо, а остальная вода шлепается на Пирс с таким шумом, будто по нему рассыпают гравий. Впереди Пирс изгибается, и видно, как разрезанные им волны забегают внутрь и вздымаются еще выше — каждая волна как бешеный зверь, который хочет с маху вскочить на ровную поверхность и хлещет себя хвостом, поняв, что это у него не получится. Мы не разговариваем. Да и не можем, потому что идем не рядом, но я, наверное, и так не стал бы. Я чувствую, как у меня в груди, под плащом, куда я спрятал Джека, что-то поднимает-

ся и растет, точно волны хотят с боем прорваться в мою собственную гавань.

Я не ожидал этого, не думал, что так будет. Словно какая-то часть меня взяла командование на себя и говорит мне, что делать, как поступать.

Винс опережает меня, наверно, ярда на четыре: целеустремленный, одна рука в кармане пальто, другая придерживает у горла воротник. На брюках у него кентская грязь. Вик шагает вровень с ним, но левее, как будто немного лишних брызг ему нипочем. Голова его поднята, а на лице странное выражение, почти улыбка. А Ленни чуть позади меня, то есть я надеюсь, что он там. Мне следовало бы повернуться, протянуть руку, взять его за рукав и помочь не отстать, что было бы непросто, я ведь еще и несу Джека. Но первым оборачиваюсь не я, а Винс, он останавливается посмотреть, не потерялись ли мы, и я, проходя мимо, беру за рукав его, не беспокоясь о Джеке: другая моя рука и это чувство в груди о нем позаботятся. Я крепко держу его за рукав, тяну за собой и, оказавшись совсем близко к нему, говорю:

— Твоя тысяча у меня. Я тебе верну. И все объясню.

Я рад, что шум и вся обстановка вокруг не располагают к длинному разговору и что летящие

на нас брызги не дадут Винсу толком разобрать, с каким лицом я произношу эти слова. Но на лице Винси отражается только чистое облегчение, как внезапно упавший на него блик света. Видно, что он готов подождать объяснений, но сейчас отпала какая-то мелкая дополнительная проблема, не дававшая ему покоя, и теперь он может полностью сосредоточиться на нашем деле. Мы оба поворачиваемся и глядим на Ленни: сгорбленный, с горящим лицом, он хромает позади, стараясь догнать нас. Догоняет и говорит:

— Эми-то, видать, правильно сделала, что не поехала.

Мы идем дальше, снова каждый в своем маленьком пространстве, на этот раз Вик впереди на несколько ярдов. Похоже, этот забег выиграет он. Виктор-победитель. И тут дождь наконец решает, что его час настал. На небе ничего не меняется, но сверху начинает сыпать по-настоящему. Струи дождя заносит на нас ветром, как будто ему надоело стараться промочить нас брызгами с моря, и через несколько секунд мы уже совсем мокрые, хоть выжимай, вода льет с наших носов и подбородков, но меня это не огорчает. И то ли ветер снимает часть тяжести дождя, то ли самому дождю трудно пробиваться сквозь ветер, но с

началом настоящего ливня на Пирсе становится как-то тише, безопаснее, словно мы очутились в самой гуще катаклизма и больше нас уже пронять нечем. Свет над заливом тускнеет, там будто полощутся гигантские кружевные занавески, и волны уже не выглядят такими сердитыми, да и Вик, может, ошибся со своим мрачным прогнозом, потому что вдалеке, у самого горизонта со стороны берега, брезжит какая-то узенькая полоска. Да, умеем мы выбирать момент.

Идти осталось немного. Не знаю, говорю ли я это вслух или только про себя, но я говорю: «Осталось чуть-чуть, Джек, — придерживая его под своим мокрым плащом, — уже почти пришли». И теперь, когда мы миновали изгиб Пирса, можно смотреть сквозь пелену на центр Маргейта, точно мы оказались на разных берегах, на разных островах. Нам видны Марин-террас и вереница увеселительных заведений, мимо которых мы ехали, — они подмигивают нам огоньками, как маленькие игрушечные домики, словно пытаются сказать: эй, мы здесь. А за ними, на фоне бледной полосы в небе, вырисовывается чертово колесо и горка, и можно даже представить себе, что сейчас там катаются какие-нибудь ненормальные — в раскачивающихся кабинках,

дребезжащих машинах, вопят и орут под дождем и ветром, точно они еще большие психи, чем мы.

Вик уже добрался до конца. Он замирает там, вглядываясь вдаль. Капитан на мостике. Над ним, на приподнятой части Пирса, возвышается башенка с сигнальным огнем, как маленький маячок, но там, где стоит он, только каменная площадка и обрыв. Он начинает прохаживаться туда-сюда, поджидая нас. Это кстати, что Вик дошел до места первым, посмотреть, все ли в порядке, не забыли ли чего, нехорошо ведь будет, если что-то упущено. Мы догоняем его, а он оборачивается и глядит на нас, прямой и неподвижный, точно ветер решил огибать его стороной, и выдает нам одну из своих корректных улыбок, которые всегда держит про запас. Пристальней всех он глядит на меня.

— Ну вот и пришли, — говорит он. Но здесь нет ничего, кроме огромных каменных плит, уложенных вплотную друг к другу, — все они корявые, щербатые, в ямины налилась вода, — и низкого гранитного парапета, вроде бордюра на тротуаре, почти совсем разбитого, да еще ветра, брызг и дождя. С одной стороны волны кидаются на Пирс и расшибаются вдребезги, а с другой булькают и

квохчут, точно извиняясь. В одном направлении Маргейт и Страна Грез, в другом открытое море. Хотя там не только открытое море, потому что теперь, когда мы можем заглянуть за приподнятую часть Пирса, нам становится видна старая ржавая железная конструкция, торчащая из воды ярдах в трехстах, похожая на остатки разрушенного моста. Волны так и скачут вокруг нее.

— Это Дамба, — говорит Винс. Ему приходится повысить голос: мешает ветер. — Тот ее кусок, который никак не снесет.

— Может, сегодня снесет, — говорит Ленни.

Мы в конце пути, и я держу Джека. Вы, наверно, знаете, как надо действовать в конце. Я всегда думал, что будет пауза, время, чтобы в последний раз собраться с мыслями, и кто-нибудь, может, захочет что-нибудь сказать и подаст знак. Будет небольшая задержка, как если бы вы сели за стол с иностранцами и стали озираться по сторонам, потому что не знаете, принято ли у них читать молитву. Но я не медлю. Я вынимаю из-под плаща банку, Джек Артур Доддс, и ничего не говорю, просто зажимаю ее под локтем и отвинчиваю крышку, точно все остальное уже сделано, и тут дождь начинает ослабевать, как будто он устроил перерыв, чтобы нам можно было спо-

койно развеять прах, и это само по себе уже знак, больше не надо. Мы в конце. Я спросил: «Чем он занимался в конце?», и Эми ответила: «Сидел в кровати, слушал радио, а потом, сказала сестра, он снял наушники, так спокойно, аккуратно, и сказал: „Ну вот. Теперь все в порядке“, и она на минутку вышла по какой-то надобности, а когда вернулась, он был уже мертвый». Я отворачиваю крышку и сую ее в карман, потом становлюсь спиной к ветру, протягиваю вперед руку с банкой и говорю: «Давайте» — словно предлагаю им коробку с леденцами или раздаю паек. Не торопитесь, каждый по очереди, две руки зараз туда не пролезут. Ленни берет первым, вынимает горсть — кое-что просыпается у него между пальцами, — и Вик говорит: «Вытрите руки насухо» — и сам вытирает свои платком, и мне ясно зачем. Это чтобы Джек не прилип к нам, чтобы часть Джека не осталась на наших руках. Но у меня и платка нет, не сообразил как-то. Сегодня тем более, мне это и в голову не пришло — платок захватить. Потом Вик опускает внутрь руку и достает свою порцию. Потом Винс поддергивает вверх рукав, но мешкает, точно желая сказать: «После тебя, Рэйси», потому что он-то ведь делает это по второму разу, он уже брал из этой банки,

а может, просто потому, что решил пропустить меня вперед. Но я не хочу передавать мокрую банку, ее не так легко удержать, и поэтому говорю: «Давай, Винси, давай». И он достает горсть, и они все подходят к краю с подветренной стороны Пирса, вытянув руки и сжав их в кулак, словно собираются отпустить на волю маленьких пташек, но мы должны сделать это вместе, так что они ждут меня. Вик говорит:

— Я бы на вашем месте не подходил слишком близко к краю. Ветром все унесет, не волнуйтесь, — точно мы такие дураки, что даже этого не понимаем. Того гляди начнет раздавать спасательные жилеты. И я чувствую, что должен сделать это быстро, как семена сеют, только одной свободной рукой, поэтому я подхожу к парапету, прикрывая банку от ветра, опускаю туда руку и поднимаю горсть праха к ее горловине. Он мягкий и зернистый одновременно и почти белый, он как мягкий белый песок на пляже. Потом сразу вытаскиваю руку и бросаю. Кажется, мы все бросили вместе, хотя на остальных я не смотрю. Я смотрю на то, что бросил.

— Прощай, Джек, — говорю я. Я говорю это ветру. И они повторяют: «Прощай, Джек».

Вик не ошибся. Ветер подхватывает все и уно-

сит в одно мгновение. Только что было, и вот уже нет. Потом я снова беру банку обеими руками, мельком заглядываю внутрь и говорю: «Давайте, давайте», и все они собираются около меня, чтобы взять еще по горсти. Нам четверым здесь, пожалуй, на два захода с лишком. Они снова по очереди запускают туда руки. Вторая попытка. И я делаю то же самое, и мы опять бросаем вместе: тонкий белый след, как струйка дыма, перед тем как исчезнуть, и несколько чаек кидаются вниз непонятно откуда и снова уносятся, точно их обманули. Потом я вижу, что по третьему разу всем не достанется, и начинаю черпать из банки сам, они вроде бы не возражают. Я черпаю и черпаю, моя рука как зверек, который роется в норке, и знаю, что под конец надо будет перевернуть банку и постучать по дну, как делают, когда кончается коробка с кукурузными хлопьями. Одна горсть, две, больше нету.

— Прощай, Джек, — говорю я. Небо и море и ветер смешались в одно целое, но если бы и не смешались, я видел бы то же самое из-за пелены, которая застит мне глаза. Лица Вика и Винса кажутся белыми пятнами, но лицо Ленни похоже на маяк, а вдалеке видны огни Маргейта. Можно стоять в конце Маргейтского пирса и смотреть

прямиком на Страну Грез. Потом я бросаю последнюю горсть, и чайки опять возвращаются проверить, и я опрокидываю банку и трясу ее, как будто собираюсь и банку отправить в море, послание в бутылке, Джек Артур Доддс, спасите наши души, и прах, который я нес у своей груди, который был Джеком, еще совсем недавно одним из нас, уносит ветер, подхватывает и уносит, и прах становится ветром и ветер становится Джеком из которого сделаны все мы.